

ISSN 2686-7494

Два века

РУССКОЙ
ИЖИСКИ

ISSN 2686-7494

ISSN 2686-7494

Журнал включен
в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ
Журнал включен в базу Scopus

Scopus®

Два века **Two centuries**
русской классики **of the Russian classics**
[Dva veka russkoi klassiki]

Научный журнал Academic Journal
Выходит с 2019 года Is published since 2019

2024 Том 6 № 3 2024 Volume 6 No. 3

Учредитель и издатель: Founder and publisher:
Институт A. M. Gorky
мировой литературы Institute
им. А. М. Горького of World Literature
Российской of the Russian
академии наук Academy of Science

Два века
РУССКОЙ
КЛАССИКИ

Редакционная коллегия журнала «Два века русской классики»



Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Андреева Валерия Геннадьевна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Виноградов Игорь Алексеевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Редакционная коллегия

Гулин Александр Вадимович (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Гуминский Виктор Мирославович (Институт
мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва, Россия),
Ивинский Александр Дмитриевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Троицкий Всеволод Юрьевич
(независимый исследователь, г. Москва, Россия), Воропаев Владимир Алексеевич
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия),
Генералова Наталья Петровна (Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия), Захаров Владимир Николаевич
(Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Российский фонд
фундаментальных исследований, г. Москва, Россия), Коровин Владимир Леонидович
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия),
Лебедев Юрий Владимирович (Костромской государственный университет, г. Кострома,
Россия), Михайлова Наталья Ивановна (Государственный музей А. С. Пушкина, г. Москва,
Россия), Мосалева Галина Владимировна (Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск, Россия), Николаева Евгения Васильевна (Московский педагогический
государственный университет, г. Москва, Россия), Николаева Светлана Юрьевна (Тверской
государственный университет, г. Тверь, Россия), Федоров Алексей Владимирович
(издательство «Русское слово», г. Москва, Россия), Чернышева Елена Геннадьевна
(Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия)

Международный редакционный совет

Авидзба Василий Шамониевич (научно-исследовательский центр «Абхазская
энциклопедия», г. Сухум, Абхазия), Гини Джузеппе (Университет им. Карло Бо, г. Урбино,
Италия), Донсков Андрей Александрович (Славянская исследовательская группа при
университете Оттавы, г. Оттава, Канада), Кавачца Антонелла (Университет им. Карло Бо,
г. Урбино, Италия), Луцевич Людмила Федоровна (Варшавский университет,
г. Варшава, Польша), Олджай Тюркан (Стамбульский университет, г. Стамбул, Турция),
Саверченко Иван Васильевич («Институт литературоведения им. Янки Купалы»
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь),
Рафаэль Гусман Тирадо (г. Гранада, Испания)

The editorial board of the journal “Two centuries of the Russian classics”



Editor-in-Chief

Marina I. Shcherbakova (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Valeria G. Andreeva (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Igor' A. Vinogradov (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Editorial Board

Alexander V. Gulin (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Victor M. Guminsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Alexander D. Ivinsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Vsevolod Yu. Troitsky (Independent Researcher, Moscow, Russia),
Vladimir A. Voropayev (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Natalya P. Generalova (Institute of Russian Literature (The Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia),
Vladimir N. Zakharov (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Foundation for Basic Research, Moscow, Russia),
Vladimir L. Korovin (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Yuriy V. Lebedev (Kostroma State University, Kostroma, Russia),
Natalya I. Mikhaylova (State Museum of A. S. Pushkin, Moscow, Russia),
Galina V. Mosaleva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia),
Evgenia V. Nikolaeva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia),
Svetlana Yu. Nikolaeva (Tver State University, Tver, Russia),
Alexey V. Fedorov (Russian Word publishing house, Moscow, Russia),
Elena G. Chernysheva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia)

International Editorial Council

Vasily Sh. Avidzba (Abkhazian Encyclopedia Research center, Sukhum, Abkhazia),
Giuseppe Genya (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Andrey A. Donskov (Slavic Research Group at the University of Ottawa, Ottawa, Canada),
Antonella Cavazza (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Lyudmila F Lutsevich (Warsaw University, Warsaw, Poland),
Oldzhay Tyurkan (Istanbul University, Istanbul, Turkey),
Ivan V. Saverchenko (Institute of Literary Criticism of Janka Kupala of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus),
Raphael G. Tirado (Granada, Spain)

Содержание

Русская литература XVIII–XIX столетий

- 6** **Ивинский А. Д.** О «Новых лирических опытах» М. Н. Муравьева
- 30** **Жданов С. С.** Пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи (на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова)
- 64** **Кузьмина М. Д.** Образ Петербурга в письмах А. И. Герцена 1839 г.
- 82** **Киселева И. А.** Эпистолярная организация как смысловой код стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик»
- 98** **Подосокорский Н. Н.** История в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского
- 126** **Федорова Е. А., Любарец В. В.** Тема отрочества в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского: аксиологический подход А. А. Ухтомского
- 144** **Богданова Т. А.** Братья М. Н. и Н. Н. Глубоковские. Проект бесцензурной «приличной» газеты для лиц духовного сословия
- 174** **Крижановский Н. И.** Poleмика М. О. Меншикова с Д. С. Мережковским о А. С. Пушкине: к пониманию статьи «Клевета обожания»
- 196** **Скорородов М. В.** Символика вишневого сада: между коммерческим проектом, усадьбой и дачей

Текстология. Источниковедение

- 216** **Крашенинникова О. А.** К творческой истории торжественных проповедей митрополита Стефана Яворского
- 240** **Сагарова С. Н.** Лесков и Екклесиаст: источниковедческий аспект проблемы

Научная жизнь

- 256** **Казин А. Л.** Открытая самобытность как преодоление нигилизма

Contents

Russian Literature of the 18th–19th Centuries

- 6 **Alexander D. Ivinskiy.** On “New Lyrical Experiments” by M. N. Muravyov
- 30 **Sergey S. Zhdanov.** Spatial Images of the Liminal South-West of the Russian Empire (Based on “Travel Notes Across Russia” by M. P. Zhdanov)
- 64 **Marina D. Kuzmina.** The Image of St. Petersburg in A. I. Herzen’s Letters in 1839
- 82 **Irina A. Kiseleva.** Epistolary Organization as a Semantic Code of M. Yu. Lermontov’s Poem “Valerik”
- 98 **Nikolay N. Podosokorsky.** History in the Life and Work of F. M. Dostoevsky
- 126 **Elena A. Fedorova, Victoria V. Liubarets.** The Theme of Adolescence in the Works of L. N. Tolstoy and F. M. Dostoevsky: Axiological Approach of A. A. Ukhtomsky
- 144 **Tatiana A. Bogdanova.** Brothers M. N. and N. N. Glubokovsky. Project of an Uncensored “Decent” Newspaper for People of the Clergy
- 174 **Nikolay I. Krizhanovskiy.** Polemics of M. O. Menshikov with D. S. Merezhkovsky on A. S. Pushkin: Towards an Understanding of the Article “The Slander of Adoration”
- 196 **Maxim V. Skorokhodov.** The Symbolism of the Cherry Orchard: Between a Commercial Project, a Manor and a Dacha

Textual Criticism. Source Study

- 216 **Olga A. Krasheninnikova.** On the Creative History of the Solemn Sermons by Metropolitan Stefan Yavorsky
- 240 **Sofia N. Satarova.** N. S. Leskov and Ecclesiastes: Sources of the Writer’s Knowledge About the Old Testament Book

Scientific Life

- 256 **Alexander L. Kazin.** Open Originality as Overcoming Nihilism

© 2024. А. Д. Ивинский

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук г. Москва, Россия

О «Новых лирических опытах» М. Н. Муравьева

*Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского
научного фонда № 23-28-00664, <https://rscf.ru/project/23-28-00664/>*

Аннотация: Статья посвящена анализу «Новых лирических опытов» М. Н. Муравьева. Этот сборник, написанный в 1776 г. и хранящийся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, состоял из восьми од и лишь частично был опубликован Л. И. Кулаковой. В данной работе в научный оборот вводятся два текста Муравьева: «Ода третья. На торжество мира 1775 г.» и «Ода седьмая. К Н. А. Львову». Эти произведения позволяют приблизиться к реконструкции авторского замысла, который состоял в том, чтобы переосмыслить современную ему одическую традицию и наметить пути реформирования жанра. Каждая ода представляла собой опыт игрового, пародийного обыгрывания приемов какого-то известного автора, в диапазоне от М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова и В. П. Петрова до И. И. Хемницера и Н. А. Львова. Таким образом Муравьев предьявлял претензию на роль крупного современного поэта и показывал, что привычные образы и приемы устарели. Создавая свои сложные оды-пародии, Муравьев ориентировался на «русские» оды Вольтера, написанные в 1760–1770 гг.

Ключевые слова: М. Н. Муравьев, ода, М. М. Херасков, В. И. Майков, В. П. Петров, Вольтер, Ф. Блондель, Ж.-Ф. Вовилье.

Информация об авторе: Александр Дмитриевич Ивинский, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9007-3996>

E-mail: ivinskij@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 28.05.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 24.07.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Ивинский А. Д. О «Новых лирических опытах» М. Н. Муравьева // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 6–29. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-6-29>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 6–29. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 6–29. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Alexander D. Ivinskiy

A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

On “New Lyrical Experiments” by M. N. Muravyov

Acknowledgments: This work was carried out at IWL RAS with financial support from the Russian Science Foundation, project no. № 23-28-00664, <https://rscf.ru/project/23-28-00664/>.

Abstract: The article examines “New Lyrical Experiences” by M. N. Muravyov. This collection, written in 1776 and kept in the Department of Manuscripts of the Russian National Library, consisted of eight odes and was only partially published by L. I. Kulakova. This research introduces two of Muravyov’s texts into scientific circulation: “The Third Ode. On the Triumph of Peace in 1775” and “The Seventh Ode. To N. A. Lvov.” These works allow us to approach the reconstruction of the author’s idea, which, from our point of view, consisted in rethinking the contemporary odic tradition and charting ways to reform the genre. Each ode was an experience of parodying the techniques of famous authors: M. V. Lomonosov, M. M. Kheraskov, V. P. Petrov, I. I. Chemnitz, N. A. Lvov, etc. Thus, Muravyov laid claim to the role of a major modern poet and showed that the usual ode’s images and techniques were outdated. Apparently, when Muravyov created this group of odes-parodies, he focused on the “Russian” odes of Voltaire, written in 1760–1770.

Keywords: M. N. Muravyov, ode, M. M. Kheraskov, V. I. Maikov, V. P. Petrov, Voltaire, F. Blondel, J.-F. Vauvilliers.

Information about the author: Aleksandr D. Ivinskiy, PhD in Philology, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9007-3996>

E-mail: ivinskij@gmail.com

Received: May 28, 2024

Approved after reviewing: July 24, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Ivinskiy, A. D. “On ‘New Lyrical Experiments’ by M. N. Muravyov.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 6–29. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-6-29>

Поэзия М. Н. Муравьева неоднократно привлекала внимание известных исследователей [Гуковский; Кулакова 1939; Кулакова 1967; Кочеткова; Топоров и др.], однако до сих пор во всей полноте она не только не проанализирована, но и не собрана и не опубликована, т. к. десятки его текстов рассеяны по архивам Москвы и Санкт-Петербурга. При этом оды Муравьева нечасто становились предметом специального анализа (показательно, что даже в работе, претендовавшей на описание истории и функционирования жанра в XVIII в., его тексты оказались проигнорированы [Алексеева]). Данная статья посвящена «Новым лирическим опытам» Муравьева, небольшому сборнику стихов, который поэт подготовил в 1776 г., однако так и не напечатал, и является частью большого проекта по изданию творческого наследия Муравьева, которым мы занимаемся в ИМЛИ РАН¹.

Рукопись «Новых лирических опытов» хранится в ОР РНБ², сборник состоит из восьми од. По каким причинам издание не состоялось, мы не знаем; отметим, однако, что со второй половины 1770-х гг. Муравьев печатался крайне неохотно, тем важнее любое указание на его творческие планы, идеи и проекты. «Новые лирические опыты» — один из трех подобных опытов: также поэт составил план сборника «Мечты

¹ В 2019 г. мы опубликовали более 30 неизвестных стихотворений и вариантов и редакций известных стихотворений Муравьева, отобрав их из «Записной книги» поэта, которая хранится в ОР РГБ. Среди них, в частности, отметим «Оду I», «Оду на случай Кагульския битвы», «Оду к И. П. Тургеневу», «Оду к А. М. Брянчанинову» (1774), «Оду» (по первой строчке: «Сопутница покоя ночь») [Ивинский 2019]. В другой большой подборке стихотворений Муравьева мы сосредоточились на публикации переводов Муравьева из Горация, Овидия, Лукана, Марциала, Катуллы и др. — это еще более 30 текстов [Ивинский 2022].

² РНБ. Ф. 499. № 30. 1772-1801. Л. 2–6.

1776» и сборник «*Pièces fugitives*» [Топоров: 73–74]¹. Таким образом, перед нами один из важнейших творческих замыслов Муравьева второй половины 1770-х гг.

В 2013 г. к судьбе «Новых лирических опытов» попыталась привлечь внимание научной общественности С. А. Сионова. В своей статье она отметила, что «сборник 1776 года практически мало изучен, мало кому известен» и поэтому необходимо «открытие» «данных произведений молодого автора» [Сионова: 43]. Далее С. А. Сионова кратко пересказала содержание нескольких од и привела короткие цитаты из них. При этом отметим, в списке использованной литературы мы находим только указания на рукопись, хранящуюся в ОР РНБ. По прочтении статьи могло возникнуть ощущение, что исследователи ранее не обращались к этому источнику и просто не знали о его существовании. Это, конечно же, не так: Л. И. Кулакова, много десятилетий работавшая с рукописным наследием Муравьева, назвала этот труд одним из «переломных»: с ее точки зрения, в это время поэт отступил от «классицизма», о чем свидетельствовала «ломка жанровых границ», так как «все произведения еще названы одами, хотя большую часть они выходят за пределы всех типов оды» [Муравьев 1967: 29]. Кулакова напечатала шесть из восьми од в подготовленном ею собрании стихов Муравьева в томе «Библиотеки поэта» [Муравьев 1967: 149–159]. Парадоксальным образом Сионова в своей статье, претендовавшей на «открытие» сборника Муравьева, подробно остановилась именно на тех текстах, которые опубликовала Кулакова.

Кажется, это недоразумение объясняется тем, что в самом авторитетном на сегодняшний день собрании стихотворений Муравьева [Муравьев 1967] мы не найдем сборника «Новые лирические опыты»,

¹ Ср. ценные указания В. А. Западова: «Из восьми стихотворений, составляющих эту рукопись, лишь одно под названием «Желание зимы» автору удалось позднее напечатать в «СПб. Вестнике» (1778). Сохранился план сборника Муравьева «Мечты 1776 года», составленный, по-видимому, в конце 1776 или 1777 г. В сборник предполагалось включить пять стихотворений из «Новых лирических опытов» и, кроме того, элегию «Ночь», стихотворение «Око» (в позднейшей редакции «Зрение») и «Эпистолу к Н.Р.Р***», т. е. к Рожешникову. Три последних, наиболее автобиографичных, личностных стихотворения из «Новых лирических опытов», обращенных к Дмитревскому, Львову и Хемницеру, не были включены в план» [Западов: 308].

потому что, во-первых, напечатаны не все оды — только шесть из восьми текстов (об этом ниже), а во-вторых, цельность сборника нарушена, причем, по-видимому, вопреки воле Л. И. Кулаковой. Дело в том, что редакция издания не стала выделять эти тексты в особый цикл, свое решение она обосновала в крайне странном примечании: «Во избежание путаницы со сб. “Оды” редакция “Библиотеки поэта” считает необходимым в заглавиях стихотворений сб. “Новые лирические опыты” порядковые номера снять» [Муравьев 1967: 319]. Почему два сборника, которые назывались по-разному, должны были вызвать путаницу, остается загадкой. Стоит ли говорить, что своим решением редакторы путаницу только усугубили? Таким образом, лишь из примечаний читатель мог узнать, что Муравьев мыслил эти тексты как единый сборник. При этом третью оду Л. И. Кулакова по каким-то причинам опустила в принципе, нигде это не оговорив, а на седьмую лишь сослалась, назвав ее первой редакцией стихотворения «Прискорбие стихотворца. К***. В 1777 году», опять же не приведя его текст.

Итак, важнейший цикл Муравьева действительно выпал из поля зрения исследователей; нам представляется необходимым сформулировать задачу по восстановлению первоначального замысла Муравьева (и, по-видимому, Л. И. Кулаковой) и напечатать тексты в том виде, в котором он считал нужным это делать. Кроме того, мы считаем, что публикация Л. И. Кулаковой должна быть дополнена двумя текстами: «Ода третья. На торжество мира 1775 г.»¹ и «Одна седьмая. К Н. А. Львову»² (см. <1> и <2> в приложении к данной статье).

Только напечатав эти произведения, мы можем попытаться приблизиться к пониманию концепции Муравьева. С нашей точки зрения, «Новые лирические опыты» — своеобразная остроумная светская шутка, опыт иронического переосмысления русской одической традиции, пародийное переосмысление возможностей жанра, в основе которых лежат литературная игра и стилизация. Дело в том, что каждая ода была посвящена какому-то поэту, «классику» или современнику: писатель мог быть упомянут в заглавии или прямо назван в тексте, если же не происходило ни первое, ни второе, то обыгрывались легко узнавае-

¹ РНБ. Ф. 499. № 30. 1772–1801. Л. 3–4.

² РНБ. Ф. 499. № 30. 1772–1801. Л. 5 об.–6.

мые образы и приемы, причем это делалось так нарочито, что читатель не мог не узнать адресата такой игры.

Так, первая ода была обернулась диалогом-полемикой с В. И. Майковым. См. показательную концовку стихотворения:

Вот, Майков, плод твоих советов!
Жалей питомца своего,
Преступник он своих обетов
И наставленья твоего.
Но ты мне склонным покажися
И на того не раздражися,
Сердечно любит кто тебя;
Услышь: коль ты меня не любишь,
Так знай, что тем меня ты губишь
И ненавижу я себя [Муравьев 1967: 150].

«Питомец» оказался «преступником» своих «обетов», поэт, хоть и любил «сердечно» своего «учителя», но не следовал его принципам, декларируя собственную независимость, несмотря на показную «ненависть» к себе (об этом ниже).

Вторая ода явно обыгрывала поэтику Ломоносова: одическая строфа, высокая лексика, церковнославянизмы — все это читатель легко идентифицировал. Однако ключ к тексту — образ «любезной тишины» из последней строфы [Муравьев 1967: 152], отсылающий, разумеется, к «возлюбленной тишине» из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

В третьей оде, не напечатанной, как мы указывали выше, Л. И. Кулаковой, Муравьев обыгрывал приемы и образы произведений В. П. Петрова.

Четвертая ода — вариация на нравоучительные сочинения Хераскова (и, возможно, Сумарокова): об этом свидетельствуют легко узнаваемые мотивы быстротечности жизни, «увядшего цвета», «тщеты», своеобразной мрачной элегичности, пропитанной масонскими ассоциациями:

Вотще заржавит меч и возвратится в ножны,
Вотще от яростных укроется валов,
Вотще от непогод мы будем осторожны:
Все снидем в мрачный ров [Муравьев 1967: 152].

Ср.:

Однако ж, о судьбы! коль буду я порочен,
О милосердии к вам дланей не простру,
Да рок мой ни на миг не будет мне отсрочен,
Пускай я млад умру [Муравьев 1967: 153].

Пятая, шестая и седьмая оды посвящены И. И. Хемницеру, И. А. Дмитриевскому и Н. А. Львову соответственно. При этом только последний, восьмой текст, вошедший в сборник, Муравьев в 1778 г. опубликовал в «Санкт-Петербургском вестнике» (Ч. 2. С. 403), что, очевидно, говорит о его особой значимости для поэта. Возможно, Муравьев именно его считал своеобразной литературной декларацией, открывавшей новые пути развития традиционной оды.

Почему Муравьев предпринял подобный опыт именно в 1776 г.? Дело в том, что это важнейший год в творческой биографии Муравьева¹. Молодой человек впервые был предоставлен самому себе, начал полноценную взрослую жизнь в столице, почувствовал себя писателем. В это время он служил в полку, хотя своими обязанностями явно тяготился, регулярно посещал академические лекции, занимаясь самообразованием, много читал, писал и общался с виднейшими авторами эпохи: М. М. Херасковым, В. И. Майковым, Н. И. Новиковым, Н. А. Львовым, С. Г. Домашневым, В. Е. Адодуровым, А. А. Барсовым, П. А. Алексеевым и др., наконец вступил в «Вольное российское собрание».

Муравьев познакомился с Майковым, по-видимому, еще в 1772 г. Совсем юношу в большой литературный мир ввели родственники — А. А. Муравьева (урожденная Волкова), вдова Н. Е. Муравьева, и ее

¹ Ключевой источник для реконструкции биографии Муравьева этого периода — его письма к отцу Н. А. Муравьеву и сестре Ф. Н. Муравьевой, которые мы подготовили к печати.

брат А. А. Волков, известный переводчик и драматург. Так, на форзаце одной из тетрадей, хранящихся в ОР РНБ, Муравьев записал: основные «вехи» своей биографии, среди которых находим указание встречу с автором «Елисея» 24 ноября 1772 г.: «1772 ноября 24. Капр<ал>. Обед с Вас. Ив. Майковым у Анны Андреевны <Муравьевой>»¹. Майков, в свою очередь, мог открыть Муравьеву двери в дом Хераскова. В упомянутой выше рукописи из ОР РНБ находим, кажется, самое раннее упоминание имени Хераскова — 1 января 1773 г.: «1773 января 1. Фуриер... В это время вышли басни мои. Мих. Матв. Херасков у Вас. Ив. Майкова в доме попрекал мне, что я не читал их никому из них прежде печати. Один вечер был я с батюшкой у М<ихаила> Матв<еевича> Хераскова, коему читал перевод “Федры” <...> Мы ужинали. Майков, Фонвизин, Храпов<ицкий> Васил<ий> <...>»². Таким образом, к 1776 г., когда Муравьев начал самостоятельную жизнь в Петербурге, молодой поэт был знаком с Майковым и Херасковым более трех лет. Отметим, что общение с Херасковым уже совершенно неформальное, вряд ли ошибемся, если предположим, что знакомство произошло раньше, возможно, тоже в 1772 г. Кроме того, подчеркнем и стремление Муравьева к творческой независимости, проявившееся в нежелании советоваться с известными авторами, эта черта характера станет во многом определяющей в жизни писателя, возможно, именно она привела к отказу от печати «Новых лирических опытов».

В 1776 г. «старые» отношения укреплялись. Так, из письма от 24 ноября 1776 г. мы узнаем, что Муравьев провел вечер у Майкова: «Делать, еще ничего не делал, а все разъезжаю. Тот день, как я к вам писал, поехал вечером к Василью Ивановичу Майкову, которой приказывает вам свое почтение. Он меня принял по-прежнему хорошо. У него стоит Аполлон Андреевич Волков, которые собирались тогда в Клоб, которого Василий Иванович Майков директором. Он же заводит Концерт»³.

Тесно общался Муравьев и с Херасковым; в том же письме от 24 ноября 1776 г. читаем: «<...> поехал я к Хераскову, которого приемом я чрезмерно доволен. Спрашивал о вас, о моих обстоятельствах, благодарил за мои стишки к нему, которые у меня видал, расспрашивал

¹ ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 27. [I].

² Там же.

³ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 49. Л. 3.

у меня, что я делаю, разговаривал и рассуждал со мною, с такою ласкою и кажется откровенностию, что я довольно благодарить не могу. Просил меня к себе отобедать <...>»¹. И далее см. письмо от 28 ноября 1776 г.: «Нынешний день обедал я у Василья Ивановича <Майкова>, а третьего дня у Михайло Матвеевича Хераскова, которому я читал своего Болеслава и переводных элегий Овидия. Он мне сказывал свои мнения, так как прежде и Василий Иванович, о стихосложении моем и ободряет меня продолжать. Государыня изволила пожаловать пять тысяч для ободрения Драматических сочинителей. Элегии мои ему очень нравятся, и ему бы хотелось, чтоб мой перевод был внесен в общество, а не Рубанов, которого он не любит. Завтра ввечеру буду у него, и он мне обещал читать свою Руссиаду <так!>, эпическую поэму, которой уже готовы восемь песней, а всего будет двенадцать. Он ее четыре года уже делает»².

В то же самое время формировались и новые связи. Не менее важным, а возможно, и гораздо более значимым стало знакомство с Н. А. Львовым, который направлял учебу начинающего писателя, давал книги, вдохновлял на изучение нового; см., напр.: «Ник.<олай> Александрович <Львов> много принимает участия во мне <...>»³. Увлечение итальянскими языком и культурой, конечно, прямое следствие этих отношений.

Еще одно знаковое знакомство состоялось с И. А. Дмитриевским. Муравьев мечтал о славе драматурга, долго и мучительно писал свою трагедию «Болеслав», которую, впрочем, так и не закончил; мнение известного литератора и актера было ему чрезвычайно важно, и Дмитриевский не скупился на похвалы; см., напр.: «Я, слава богу, здоров и весел, а особливо потому, что Дмитриевской хвалил мою трагедию»⁴; ср.: «Это правда, Дмитриевский ободряет меня продолжать мою Трагедию; он обнадеживает, что ее представят»⁵.

Итак, в 1776 г. Муравьев был погружен в литературную жизнь: он общался с крупнейшими авторами, надеялся на развитие собственного

¹ Там же. Л. 3 об.

² Там же. Л. 5.

³ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 48. Л. 48.

⁴ Л. 90 об.

⁵ Л. 96.

таланта и грезил возможными успехами. «Новые литературные опыты», как нам представляется, должны быть рассмотрены именно в этом контексте претензий молодого поэта на новый статус в современном ему литературном мире. Этот несостоявшийся сборник — знак претензий Муравьева на свое место на Парнасе.

В 1775 г. Муравьев напечатал сборник «Оды» [Муравьев 1775], работа над которым демонстрирует стремление молодого поэта к творческой независимости, а также показывает его сложное отношение как к прославленным классикам, так и к известным современникам, в первую очередь, отметим ушедшую в подтекст полемику с А. П. Сумароковым, М. М. Херасковым и В. И. Майковым; ср.: «Первоначально «Ода седьмая» («Восприял я лиру в длани...»), декларирующая интерес поэта к природе, была явно ориентирована на ломоносовский «Разговор с Анакреоном», но при этом звучала полемично по отношению как к Анакреону и М. В. Ломоносову, так и к Хераскову, воздействие которого ощутимо в первых стихотворениях сборника. По каким-то причинам Муравьев вычеркнул стихотворение и сочинил новую «Оду седьмую» достаточно традиционного содержания. Возможно, он сделал это после поэтического «диалога» с В. И. Майковым в начале 1775 г. (см. «Сонет к Василию Ивановичу Майкову» и ответный «Сонет к Михаиле Никитичу Муравьеву»). Майков рекомендовал Муравьеву следовать в поэзии Сумарокову. Тем не менее, подчеркнуто вопреки совету наставника, «Ода десятая. Весна. К Василью Ивановичу Майкову» представляет собой пейзажное стихотворение «во знак чувствительной души» [Западов: 307]¹.

«Новые лирические опыты» развивают многие идеи «Од» 1775 г., причем, как представляется, Муравьев не мог не учитывать ни «Новых од» Хераскова [Херасков 1762], ни «Разных стихотворений» Майкова

¹ См. также: «Не решившись открыто полемизировать с Ломоносовым и противоречить Майкову, он зачеркнул эти искренние строки, написал «Оду седьмую», потом «Оду... на замирение» и т. п. Но перелагая в рифмы военный устав, вводя в оды новые мотивы, образы, строфику, он понимал, что написанное им далеко от истинной поэзии и чуждо его дарованию. <...> Унаследовав от Хераскова склонность к морализованию, Муравьев не во всем солидарен и с этим своим учителем <...> Для ученика Ломоносова неприемлемо отрицание разума. Он не способен увидеть зло в чтении, знании» [Кулакова 1967: 23, 24].

[Майков 1773]. Кризис оды оформился уже к рубежу 1760–1770 гг., когда в русской литературной журналистике, особенно во «Всякой всячине», общим местом стали насмешки над незадачливыми поэтами, которые создавали неубедительные «хвалебные песни», столь же неискренние, сколь и бесталанные. Эти дискуссии привели в итоге к той революции в поэзии, которую совершил Г. Р. Державин своей «Фелицей» [Ивинский 2023]. Муравьев, понимая все ограничения классической оды, искал свой путь, при этом он явно симпатизировал Ломоносову и сторонился Сумарокова; этим, по-видимому, нужно объяснить майковский «Сонет к Михаилу Никитичу Муравьеву» и «ответ» Муравьева в «Новых лирических опытах», который мы привели выше:

И бог Невы хоть нас, как мню, не позабудет,
Но более скорбеть о пении не будет,
Когда ты тщание свое употребишь,
Чтоб был подобен слог певцов приятных слогу,
Как Сумароков всем к тому явил дорогу,
То пением своим, поверь, не согрубишь [Майков: 305–306].

Логично предположить, что не надо убеждать в следовании Сумарокову сторонника или даже ученика классика; следовательно, антисумароковская позиция Муравьев беспокоила его старшего товарища (об отношении Муравьева к Сумарокову см. подробнее: [Ивинский 2018]).

При этом подчеркнем, что Муравьев, обыгрывая в «Новых лирических опытах» приемы известных авторов, во-первых, демонстрировал свое литературное мастерство и предъявлял претензию на роль большого поэта, а во-вторых, ярко раскрывал излишнюю «привычность», «шаблонность» давно всем известных образов, подчеркивая тем самым необходимость обновления жанра. Но Муравьев не «опускался» до прямой критики, как светский человек, он ограничился шуткой, поэтической шалостью, показывая друзьям и учителям, что «ученик» давно перерос своих менторов и может легко и остроумно обыгрывать их приемы.

В. Н. Топоров убедительно показал новаторство Муравьева-поэта: «Муравьев был достаточно чуток к веяниям нового и, безусловно, честен, чтобы не “подделываться” даже под великого Ломоносова. Продолжая его, хоть и по нисходящей линии, Муравьев — и именно

это нужно поставить ему в заслугу, во всяком случае с точки зрения истории русской поэзии — “расшатывал” созданный в России Ломоносовым одический канон. <...> Муравьев, возможно и не осознавая этого, работал, как тот крот, что прорывает под землей путь, который в следующем поколении выйдет наружу и, возможно, вскоре станет нормой, но новой» [Топоров: 58]. Более того, как отмечал исследователь, «целый ряд од (номинальных) были далеки от всего того, что в то время связывалось со спецификой этого жанра, и даже противоречили ей» [Топоров: 76]. Следует в целом согласиться с общим выводом Топорова о том, что Муравьев в 1770 г. во многом «опередил время» и «предчувствовал» Державина. Справедливы также и рассуждения исследователя о размытии жанровых границ оды, которая теперь строилась как результат сложной контаминации образов, мотивов и приемов различных форм (идиллических, элегических) — «неких иных — не одических — начал» [Топоров: 76]. Однако при этом история русской оды не может рассматриваться линейно, ведь помимо или параллельно «новаторской» линии развития жанра вполне успешно существовала «традиционная»: ни Державин, ни Николев, ни Карамзин не отказывались от классических приемов восхваления императора.

Яркий пример подобного подхода — публикуемая ниже «Ода третья. На торжество мира 1775 г.» Муравьева, которая, очевидно, выпадает из концепции Топорова¹, так как является совершенно классической торжественной одой, которую могли бы написать и Ломоносов, и Сумароков, и Майков. Более того, как мы уже писали выше, ее поэтика напоминает тексты В. П. Петрова. Главный герой муравьевской оды — П. А. Румянцев, к нему неоднократно обращался автор:

Гремят военные раздоры,
Я там, Румянцов, зрю тебя,
Румянцов, россов предводитель,
Иль то Тифея победитель?

¹ Ср. также: «<...> с принципиальным новаторством художественного метода Муравьева, очевидно, и была связана неудача с публикацией «Новых лирических опытов», равно как и последующих поэтических сборников» [Западов: 308].

См также:

Румянцов, праздник сей прекрасный,
Румянцов дал нам сей покой;
Один промчался вопль согласной
Над славной Ингерской рекой.

Годом ранее, в 1775 г., Петров написал оду «Его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому»; кроме того, он тогда же напечатал свою знаменитую «Оду ея императорскому величеству Екатерине Второй, самодержице всероссийской на заключение с Оттоманскою Портою мира». Муравьев интересовался творчеством Петрова и позднее дорожил знакомством с ним. Приведем один пример: в письме от 5 июня 1778 г. Муравьев писал отцу: «Третьяго дня же весь вечер был я в Летнем саду, где многих видел. Петров принял меня отменнее, нежели когда-нибудь, хвалил мою *Рощу*¹, сказывал, что полюбилась она очень К.<нязю> Григорию Александровичу <Потемкину>, которой ее читал»². Нет ни малейших сомнений в том, что Муравьев знал оды «карманного стихотворца» Екатерины II. Более того, в «Мыслях, замечаниях, отрывках» Муравьева Петров оказался в одном ряду с такими важными для него авторами, как А. П. Сумароков, М. М. Херасков, В. И. Майков: «Сказывают, что Сумароков ни о чем не говаривал чаще и лучше, как о стихах. Михайло Матвеевич говорил о стихотворстве с удовольствием <...> Василий Иванович Майков целой день бывал занят забавами общества и никогда не заговаривал сам о стихах. <...> Василий Петрович Петров, сколько я знаю, не говорит никогда о стихах. Но можно ль, делая их также множество выразительных и мастерских, об них не мыслить?» [Муравьев 1820: 316–317].

Возвращаясь к концепции Топорова, мы хотели бы отметить, что дело отнюдь не только в том, что Муравьев был «реформатором», который «прорывал» новый путь. С нашей точки зрения, остроумие Муравьева заключалось в том, чтобы показать, что внешне совершенно «традиционная» ода в духе Петрова, попадая в игровой контекст «Новых лирических опытов», могла прочитываться совершенно ина-

¹ Речь о стихотворении М. Н. Муравьева «Роща» (1777).

² ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. 51. Ч. 74г. Л. 59.

че: читатель мог воспринимать ее как демонстрацию возможностей и ограничений давно устоявшейся эстетики.

Муравьев не был первым, кто попытался приемами светского остроумия «остранить» классическую поэтику оды. Нам представляется, что он мог опираться на сочинения Вольтера 1760–1770 гг. Особенно его внимание должны были привлечь «русские» оды великого просветителя: «Galimatias Pindarique sur un carrousel donné par l'impératrice de Russie» (1766) и «Ode Pindaro-Eutraplique au sujet de la guerre présentée en Grèce, par le secrétaire du prince Dolgoruki, juin 1770». Как справедливо указала Т. И. Смолярова, «обе пиндарические оды Вольтера были напрямую связаны с российской историей и политикой, обе одновременно являлись и одами, и пародиями на оду» [Смолярова]. «Галиматья» и «Eutrapélie», т.е. остроумная шутка (подробнее см.: [Смолярова]), — приемы, которые Вольтер использовал для того, чтобы перестроить современную ему оду, а кроме того, переосмыслить известную дискуссию о Пиндаре, которая разделила Н. Буало и Ш. Перро, один из ключевых эпизодов спора о древних и новых.

Муравьев в 1770-е гг. активно прибегал к «галиматье» в своих письмах; так, например, в приписке к сестре 4 августа 1776 г. он писал: «Si vous ne déchiffrez pas mon Galimathias <выделено нами. — А. И.>, tant mieux pour moi» (этому вопросу мы посвятили отдельное исследование; см.: [Ивинский 2018]). Кроме того, Муравьев как образованный человек и как переводчик Буало прекрасно был осведомлен о споре древних и новых, более того, среди его рукописей, которые хранятся в ОР РНБ, находим упоминания знаменитой книги Ф. Блонделя «Comparaison de Pindare et d'Horace» [Blondel], а также сочинения Ж.-Ф. Вовилье «Essai sur Pindare» [Vauvilliers]. Написанная за год до «Поэтического искусства» Буало, работа Блонделя во многом сформировала репутацию Пиндара в конце XVII в. и предопределила многочисленные дискуссии по этому вопросу на рубеже веков [Смолярова]. Мы не знаем, как глубоко Муравьев погрузился в чтение Блонделя: в библиотеке Муравьева эта книга отсутствует¹. Книга Вовилье была написана практически на 100 лет позже и представляла собой не только историко-литературного эссе, но и опыт перевода произведений Пиндара. Ссылке на них в рукописи предшествует то ли выписка, то ли конспект Муравьева,

¹ Благодарим за консультацию М. В. Ленчиненко.

озаглавленный «Перечень рассуждения об оде»¹. Возможно, предполагался перечень *рассуждений* об оде, в котором сочинения Блонделя и Вовилье должны были быть не единственными. Этот замысел не реализовался, а небольшой текст (менее одной страницы), который сохранился, показывает интерес Муравьева к теоретическим проблемам современной оды: так, например, он выписал (по-своему переработал?) рассуждения об одическом восторге, о композиции и строфике. Этот «конспект», написанный, по-видимому, в промежутке между серединой-второй половиной 1770-х гг. и первой половиной 1787 г.², не находит прямого соответствия с текстами Блонделя и Вовилье. Возможно, это размышления самого Муравьева, навеянные чтением французских литераторов (см. <3> в приложении к данной статье). С нашей точки зрения, не так важна степень оригинальности данного текста, сколько сам факт интереса Муравьева к подобным сюжетам.

При этом спор о Пиндаре неминуемо подводил Муравьева к вопросу о другом классике русской литературы — В. К. Тредиаковском. Именно он в «Рассуждении об оде вообще», во многом вопреки французской традиции, «приравнял» Пиндара к Горацию: «Подлинно, Пиндар, лирический пиит на греческом языке, и Гораций, подобного ж искусства на латинском, толь совершенно писали оды, что желающий ныне в том иметь успех не может им не последовать» [Тредиаковский: 157]³. И далее: «Они только одни умели сочинять столь чудесно, когда, чтоб изъяснить разум свой, как будто б он был вне себя, прерывали с умысла последование своей речи и, дабы лучше войти в разум, выходили, буде позволено так сказать после Боало-Депрео, из самого разума, удаляясь с великим старанием от исправного порядка, который имел бы отнять всю соль, весь сок или, лучше, самую душу у лирической поэзии» [Тредиаковский: 157]. Муравьев относился к Горацию чрезвычайно серьезно, считал его едва ли не лучшим поэтом («<...> и сам Гораций, если бы он не был первой из Лириков» [Муравьев 1820: 315]), много его

¹ ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 37. Л. 40.

² Так, например, на л. 37 об. рукописи находим пометку: «1778 года января 2» (ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 37), на л. 40 он записал свой «конспект». А на л. 39 об. читаем заметку, помеченную 22 мая 1787 г. (ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 39 об.).

³ См. указанную выше работу Смоляровой. Другая точка зрения: [Алексева: 128].

переводил и воспринимал не просто как «классика», но как поэта, изучать которого необходимо, чтобы достичь успеха в современной словесности. Новатор и экспериментатор, Муравьев был «римлянином», глубоким знатоком и любителем античной культуры [Ивинский 2021]. Вопрос об отношении Муравьева к Тредиаковскому требует изучения, однако отметим, что, несмотря на сомнительную репутацию, Тредиаковский оставался актуальным автором, к произведениям которого обращалась, например, Екатерина II [Ивинский 2023: 55–65]. Если же вспомнить «антисумароковскую» позицию Муравьева, то обращение к текстам Тредиаковского не должно удивлять.

Итак, публикуемые в данной работе произведения Муравьева позволяют приблизиться к реконструкции авторского замысла «Новых лирических опытов», который, с нашей точки зрения, состоял в том, чтобы переосмыслить современную ему одическую традицию и наметить пути реформирования жанра. Каждая ода представляла собой опыт игрового, пародийного обыгрывания приемов какого-то известного автора в диапазоне от Ломоносова, Хераскова и Петрова до Хемницера и Львова; при этом молодой поэт по-своему учитывал опыт Тредиаковского, которого, по-видимому, считал до некоторой степени актуальным писателем. Так Муравьев предъявлял претензию на роль крупного современного поэта и показывал, что привычные образы и приемы устарели. Создавая свои сложные оды-пародии, Муравьев ориентировался на «русские» оды Вольтера, написанные в 1760–1770 гг. Мы не знаем, почему Муравьев не напечатал свой цикл, может быть, он не нашел понимания у своих старших друзей, может быть, он оказался не удовлетворен результатом. В любом случае перед нами крайне любопытная страница в истории русской оды, и она позволяет усложнить наши представления о функционировании жанра в России.

Приложение

<1>

Ода третья.

На торжествование мира 1775 г.

Как Этны пламенной заклепы,
Когда покоились давно,

И только зелия свирепы
Ея снедали мрачно дно.
Внезапу сера воспалится,
Потухша паки искра тлится,
В пещерах слышен рев и стон,
Громады движутся, бьются,
И вихри огненны вьются,
И с шумом мчатся реки вон.

Так грудь, восторгом востороплена,
Кипит и хочет бунтовать,
И духа праздностию тленна¹,
<По>зорны ризы разорвать:
<Тол>кает, яростью теснится,
<Я> трепещу и Лира мнится,
<Др>ожит и произносит стон;
<О,> Феб! уж я не препираюсь,
<Пре>стань: я к Лире простираюсь,
<Как>ой, какой взыграть мне тон?

Кругом меня восстали горы?
Почто зрю в Фракии себя?
Гремят военные раздоры,
Я там, Румянцов, зрю тебя,
Румянцов, россов предводитель,
Иль то Тифея победитель?
Одеян молнией, как он;
Речет: и движется громада,
Речет: и вержет Энцелада,
Хотевша сдвинуть Пелион.

О как сей взор меня прельщает²,
Пребудем... *буйный мчится бог,*

¹ Далее лист надорван с левого края, поэтому начала следующих семи строк — результат реконструкции.

² Первоначально: «О как мя взор сей насыщает».

Меня с собою похищает,
И мчит, где я не зрю дорог.
Нам громка путь являет слава,
Куда летит, везде забава,
От смертных гонит скорбну тень;
Граждан я зрю веселы лики,
Селян усердны слышу клики;
Какой здесь торжествуют день?

Румянцов, праздник сей прекрасный,
Румянцов дал нам сей покой;
Один промчался вопль согласной
Над славной Ингерской рекой.
Взвились полки и в строи стали,
И в громах молнии заблестали,
Перебегая по главам;
Приял Петрополь ощущение
И уклонялся в восхищенье
Победоносным знаменам.

Се¹ Финской Понт в утехах тонет,
Любуясь сим прекрасным днем,
К Петрополю спешит и стонет,
Что нет Екатерины в нем.
Однако, чувствуя отраду,
Усердный вал стремится ко граду,
Которым он прославлен стал,
Бьет в брега, гордясь тем флагом,
Которого с Архипелагом
Средьземный Понт вострепетал.

Монархиня! к тебе взываем,
Внемли: мы молимся судьбе,
Мы верны длани воздаем,
Мы к богу плачем о тебе.

¹ Первоначально: «А».

Так мать скорбит, желая сына,
Которого делит пучина,
На том берегу с ней целый год;
На брег она сейчас всходит¹,
И с плачем смутным слез не сводит,
С ужасных ей и милых вод.

Но слов твоих закон священный
От сердца мы стремимся чтить
И жалобы не просвещенной
Своей любви воспретить.
Готовы наши слезы литься,
Мы души нудим веселиться,
За тем, что хочешь ты того;
Но в час, когда пред богом станешь,
Иль ты, иль нас ты не вспомняешь²
Лишенных взора твоего?³

<2>

Ода седьмая. К Н. А. Львову

Львов! Узнаешь ли ты лиру,
Кою часто ты слышал?
Вспоминаешь ли ее, зря сиру,
Что на ней я воздыхал,
Что в ней часто глас мятежной
Услаждался трелью смежной,
С стоном тихим чередясь?
Феб меня отчаявает:
Ах! во мне не познавает
Он питомца рассердясь.

¹ Первоначально: «Она всяк час на пристань всходит».

² Первоначально: «Иль ты, иль ты не вспомняешь»

³ РНБ. Ф. 499. № 30. 1772–1801. Л. 3–4.

Ах! а я еще ласкался,
Не привычен на волне,
Что я, коим увлекался
Ветр послужит в пристань мне!
Как тогда я огорчился,
Как впервые помрачился
Вал, далече от берегов?
Я желал себя обратно
И оплакивал стократно
Пременившихся богов.

Облак темной вдруг развился,
Посреде стал Аполлон,
Раз еще мне, раз явился,
Грозен, яр, явился он,
Я пал ниц и ужаснулся¹

Ах! Не будет уязвенно,
Лаврами чело мое
И мгновенье мной сплетенно,
Не получит бытие,
Что мои ах! песни чтущей
Девы юности цветущей
Умилилися глаза
И чтоб сладко похищенна
Со ланит ее священна
Уронила слеза².

¹ На этом строфа обрывается. Далее в рукописи находим несколько вариантов еще одной строфы, предположительно имеющей отношение к данной оде. В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что почерк этой последней строфы совпадает с почерком следующей оды VIII. Возможно, они писались в одно и то же время.

² РНБ. Ф. 499. № 30. 1772–1801. Л. 5 об.–6.

<3>

Перечень рассуждения об оде

Что есть ода? Сколько родов оныя? Что есть восторг? Единство намерения в чем состоит? Как должно согласовать единством намерения отступления которые особливо украшают <?> лирическое стихотворство? Должно удивить воображение: а не разуму доказывать. Восхищение предполагаемое отменяет ее от всех прочих родов стихотворений. В эпосе только спокойно лицемерие <?>: здесь восторг furor. Должны быть заблуждения воображения; но <прелест>ного и где чувство бывает судия его. Воображения богатство не во множестве прерванных картин, но в удобном и живом представлении, чтобы чтец сам помогал себя обманывать. Чтобы ему ничего не стоило то ж вообразить, чтоб ему сладостно было воображение сего. Чтоб всякое слово возбуждало за собою ряд воображений, неотменно долженствующих восстать в человеке. Наконец чтоб чтец принужден был еще более вообразить, нежели читает, т. е. чтобы сам объят был тем же восторгом, который обладал творцом, и захотел бы по следам стихотворца сам быть создателем новых картин. Мы подражаем всему тому, что нам нравится. Просто философической оды нет, а философическая только в том, когда великие истины мечтали величественного и прельщающего с восторгом изъясняются. Механизм <так!> лирического стихосложения так же совокупляется с существом стихотворения, в важном ходе его должен быть измерен, важен, постоянен. Беспорядочен, когда вкушает вспыльчивость воображения. В неравных стихах должно быть наблюдение отношение. Разность отношения целого к половине и целого к двум третям должно быть чувствительно на слуху. Но и здесь также тот случай, что искусство бывает худо, когда чересчур видно. Ухо привыкает к возвращению стоп и рифм в каком бы то порядке ни было и помнит череду всякого: таким же образом, как привыкает оно ожидать рифмы по прошествии нескольких времен. Есть чтецы, которые тому причины не знают, но чувствуют лишнюю стопу или недостаток. Важной оде принадлежит симметрия стоп. Строфы необходимы, чтоб скорее были переходы из картины в другую.

Comparaison de Pindare et d'Horace. Blondel. Essai sur Pindare avec une analyse raisonné des odes de ce Poète. 1772¹.

¹ ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 37. Л. 40.

Список литературы

Источники

Западов В. А. Муравьев Михайла Никитич // Словарь русских писателей XVIII века. СПб.: Наука, 1999. Вып. 2. С. 305–313.

Майков В. И. Разные стихотворения. СПб.: Тип. Гос. воен. коллегии, 1773. Ч. 1–2.

Майков В. И. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. 509 с.

Муравьев М. Н. Оды лейбвардии Измайловскаго полку сержанта. СПб.: Тип. Академии наук, 1775. 30 с.

Муравьев М. Н. Полн. собр. соч.. СПб.: В тип. Российской академии, 1820. Ч. 3: Статьи. 324 с.

Муравьев М. Н. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1967. 396 с.

Петров В. П. Ода ея императорскому величеству Екатерине Второй, самодержице всероссийской на заключение с Оттоманскою Портою мира. М.: Печатана при Императорском Московском ун-те, 1775. 21 с.

Третьяковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб.: Наука, 2009. 672 с.

Херасков М. М. Новые оды. М.: Унив. тип., 1762. 74 с.

Blondel F. Comparaison de Pindare et d'Horace. Paris: Chez Claude Bardin, 1673. 291 p.

Vauvilliers J-F. Essai sur Pindare, contenant une traduction de quelques odes de ce poëte, avec une analyse raisonné & des notes historiques, poétiques & grammaticales. Paris: Chez Paul-Denis Brocas, 1772. 343 p.

Исследования

Алексеева Н. Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб.: Наука, 2005. 371 с.

Алехина Л. И. Архивные материалы М. Н. Муравьева в фондах Отдела рукописей // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М.: Книга, 1990. Вып. 49. С. 4–87.

Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л.: Худож. лит., 1938. 313 с.

Ивинский А. Д. М. Н. Муравьев и А. П. Сумароков (по материалам ОПИ ГИМ и ОР РГБ) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2018. № 2. С. 198–210.

Ивинский А. Д. Из предыстории арзамасской галиматъи: письма М. Н. Муравьева и В. В. Ханькова (по материалам ОПИ ГИМ) // Болдинские чтения-2018. Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. С. 102–113.

Ивинский А. Д. Поэтическое наследие М. Н. Муравьева: к истории текста ранних стихотворений. По материалам ОР РГБ // От истории текста к истории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2019. Т. 2. С. 9–51.

Ивинский А. Д. М. Н. Муравьев и античные поэты: неопубликованные переводы // Studia Litterarum. 2021. Т. 6, № 2. С. 358–385. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2021-6-2-358-385>

Ивинский А. Д. Переводы М. Н. Муравьева из античных авторов (по материалам ОР РГБ) // Документально-художественная литература в России XVIII–XIX вв. М.: ИМЛИ РАН, 2022. С. 83–129. <https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0680-2-83-129>

Ивинский А. Д. Русская литература XVIII в. и культурный проект Екатерины II. М.: Водолей, 2023. 400 с.

Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма. Эстетические и художественные искания. СПб.: Наука, 1994. 286 с.

Кулакова Л. И. М. Н. Муравьев // Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук. 1939. Вып. 4. С. 4–42.

Кулакова Л. И. Поэзия М. Н. Муравьева // Муравьев М. Н. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1967. С. 5–49.

Лазарчук Р. М. Литературная и театральная Вологда 1770–1800-х годов: Из архивных разысканий. Вологда: Легия, 1999. 238 с.

Сионова С. А. «Новые лирические опыты» Михаила Никитича Муравьева на страницах архива поэта // Михаил Муравьев и его время. Посвящение Союзу трех Поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила Муравьева. Казань: РИЦ, 2013. С. 45–53.

Смолярова Т. И. Миф о поэте мифа. Пиндар в России и во Франции. URL: <https://textarchive.ru/c-1916933-pall.html> (дата обращения: 23.04.2024).

Топоров В. Н. Из истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2003. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев. Введение в творческое наследие. Кн. 2. 928 с.

References

Alekseeva, N. Iu. *Russkaia oda. Razvitie odicheskoi formy v XVII–XVIII vekakh* [*Russian Ode. Development of the Odic Form in the 17th–18th Centuries*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005. 371 p. (In Russ.)

Alekhina, L. I. “Arkhivnye materialy M. N. Murav’eva v fondakh Otdela rukopisei” [“Archival Materials M. N. Muravyov in the Collections of the Department of Manuscripts”]. *Zapiski Otdela rukopisei Gosudarstvennoi biblioteki SSSR im. V. I. Lenina* [*Notes from the Department of Manuscripts of the State Library of the USSR Named after V. I. Lenin*], issue 49. Moscow, Kniga Publ., 1990, pp. 4–87. (In Russ.)

Gukovskii, G. A. *Ocherki po istorii russkoi literatury i obshchestvennoi mysli XVIII v.* [*Essays on the History of Russian Literature and Social Thought of the 18th Century*]. Leningrad, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1938. 313 p. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. “M. N. Murav’ev i A. P. Sumarokov (po materialam OPI GIM i OR RGB)” [“Muravyov and A. P. Sumarokov (On Materials from the Department of Written Sources at the State Historical Museum and of the Manuscript Department of the Russian State Library)”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*, no. 2, 2018, pp. 198–210. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. “Iz predystorii arzamasskoi galima’i: pis’ma M. N. Murav’eva i V. V. Khanykova (po materialam OPI GIM)” [“From the Prehistory of Arzamas Gibberish: Letters of M. N. Muravyov and V. V. Khanykov (Based on the Materials of the OPI GIM)”]. *Boldinskie chteniia-2018* [*Boldino Readings-2018*]. Nizhnii Novgorod, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod Publ., 2018, pp. 102–113. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. “Poeticheskoe nasledie M. N. Murav’eva: k istorii teksta rannikh stikhotvoreniy. Po materialam OR RGB” [“The Poetic Legacy of M. N. Muravyov: Towards the History of the Text of Early Poems. Based on the Materials of the RSL”]. *Ot istorii teksta k istorii literatury* [*From the History of Text to the History of Literature*], vol. 2. Moscow, IWL RAS Publ., 2019, pp. 9–51. (In Russ.)

Ivinskii, A. D. “M. N. Murav’ev i antichnye poety: neopublikovannyye perevody” [“M. N. Muravyov and Ancient Poets: Unpublished Translations”]. *Studia Litterarum*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 358–385. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2021-6-2-358-385> (In Russ.)

Ivinskii, A. D. “Perevody M. N. Murav’eva iz antichnykh avtorov (po materialam OR RGB)” [“M. N. Muravyov’s Translations from Ancient Authors (Based on the Materials of the RSL)”]. *Dokumental’no-khudozhestvennaia literatura v Rossii XVIII–XIX vv. [Documentary and Fiction Literature in Russia in the 18th–19th Centuries]* Moscow, IWL RAS Publ., 2022, pp. 83–129. <https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0680-2-83-129> (In Russ.)

Ivinskii, A. D. *Russkaia literatura XVIII v. i kul’turnyi proekt Ekateriny II [Russian Literature of the XVIII Century and the Cultural Project of Catherine II]*. Moscow, Vodolei Publ., 2023. 400 p. (In Russ.)

Kochetkova, N. D. *Literatura russkogo sentimentalizma (Esteticheskie i khudozhestvennye iskaniiia) [Literature of Russian Sentimentalism (Aesthetic and Artistic Quests)]*. St. Petersburg, Nauka Publ., 1994. 282 p. (In Russ.)

Kulakova, L. I. “M. N. Murav’ev” [“M. N. Muravyov”]. *Uchenye zapiski Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriiia filologicheskikh nauk*, issue 4, 1939, pp. 4–42. (In Russ.)

Kulakova, L. I. Poeziia M. N. Murav’eva [“Poetry of M. N. Muravyev”]. *M. N. Murav’ev. Stikhotvoreniia [M. N. Muravyev. Poems]*. Leningrad, Sovetskii pisatel’ Publ., 1967, pp. 5–52. (In Russ.)

Lazarchuk, R. M. *Literaturnaia i teatral’naia Vologda 1770–1800-kh godov: Iz arkhivnykh razyskanii [Literary and Theatrical Vologda of the 1770–1800s: From Archival Research]*. Vologda, Legiia Publ., 1999. 238 p. (In Russ.)

Sionova, S. A. “Novye liricheskie opyty’ Mikhaila Nikiticha Murav’eva na stranitsakh arkhiva poeta” [“‘New Lyrical Experiments’ by Mikhail Nikitich Muravyov on the Pages of the Poet’s Archive”]. *Mikhail Murav’ev i ego vremia. Posviashchenie Soiuzu trekh Poetov: Gavriily Derzhavina, Nikolaia Lvova i Mikhaila Murav’eva [Mikhail Muravyov and his Time. Dedication to the Union of Three Poets: Gavriila Derzhavin, Nikolai Lvov and Mikhail Muravyov]*. Kazan, RITs Publ., 2013, pp. 45–53. (In Russ.)

Smoliarova, T. I. *Mif o poete mifa. Pindar v Rossii i vo Frantsii [The Myth of the Poet of Myth. Pindar in Russia and France]*. URL: <https://textarchive.ru/c-1916933-pall.html> (Accessed 23 April 2024). (In Russ.)

Toporov, V. N. *Iz istorii russkoi literatury [From the History of Russian Literature]*, vol. 2: *Russkaia literatura vtoroi poloviny XVIII veka. M. N. Murav’ev. Vvedenie v tvorcheskoe nasledie [Russian Literature of the Second Part of 18th Century. M. N. Muravyov. Introduction to Creative Heritage]*, book 2. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury Publ., 2003. 928 p. (In Russ.)

© 2024. С. С. Жданов

Новосибирский государственный технический университет
г. Новосибирск, Россия

**Пространственные образы
лиминального Юго-Запада Российской империи
(на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова)**

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-28-01431, <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>*

Аннотация: В статье рассмотрены пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи, которые представлены в травелоге «Путевые записки по России» М. П. Жданова и включают в себя репрезентацию Харьковской, Екатеринославской (Новороссии), а также Полтавской, Киевской и Черниговской губерний (Малороссии). Описания этих трех локальных типов даны с точки зрения хозяйственной, исторической и повседневно-бытовой (в том числе образовательной) сфер. Выделены лейтмотивы новизны, дикости, неупорядоченности, малолюдности, проектности, которые характерны для изображения юго-западной России. В этом плане пространство Новороссии представлено прежде всего как степное, фронтальное и подлежащее колонизации. Киевский же топос характеризуется изменчивостью, сочетанием старого и нового элементов. Отмечены отличия ждановской рациональной манеры повествования от традиции репрезентации пространства «полуденной России».

Ключевые слова: М. П. Жданов, Украина, Новороссия, Малороссия, имагология, пространство, травелог, сентиментализм, русская литература.

Информация об авторе: Сергей Сергеевич Жданов, доктор филологических наук, доцент, Новосибирский государственный технический университет, пр-т К. Маркса, д. 20, 630073 г. Новосибирск, Россия, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, ул. Плеханова, д. 10, 630108 г. Новосибирск, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8898-6497>

E-mail: fstud2008@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 10.05.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 02.07.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Жданов С. С. Пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи (на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова) // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 30–63. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-30-63>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 30–63. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 30–63. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. **Sergey S. Zhdanov**

Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russia

Spatial Images of the Liminal South-West of the Russian Empire (Based on “Travel Notes Across Russia” by M. P. Zhdanov)

Acknowledgments: This work was carried out with financial support from the Russian Science Foundation, project no. 24-28-01431, <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

Abstract: The paper deals with spatial images of the liminal South-West of the Russian Empire that are presented in “Travel Notes across Russia” by M. P. Zhdanov and include a representation of Kharkiv, Ekaterinoslav (Novorossiya), as well as Poltava, Kyiv, and Chernihiv (Little Russia) provinces. The description of these three local types unfolds from the point of view of economic, historical, and everyday spheres (including education). The article highlights the core motifs of novelty, wildness, disorder, scarcity of people, and projectness typical for the southwestern Russia image. In this regard, the space of Novorossiya appears primarily as a steppe, a frontier, and a subject to colonization. At the same time, the Kyiv topos appears variable and combines old and new elements. The article emphasizes the differences between Zhdanov’s rational narration manner and the tradition of representing the “noonday Russia” space.

Keywords: M. P. Zhdanov, Ukraine, New Russia, Little Russia, imagology, space, travelogue, sentimentalism, Russian literature.

Information about the author: Sergey S. Zhdanov, DSc in Philology, Associate Professor, Novosibirsk State Technical University, K. Marx Ave., 20, 630073 Novosibirsk, Russia, Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotnogo St., 10, 630108 Novosibirsk, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8898-6497>

E-mail: fstud2008@yandex.ru

Received: May 10, 2024

Approved after reviewing: July 02, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Zhdanov, S. S. “Spatial Images of the Liminal South-West of the Russian Empire (Based on ‘Travel Notes Across Russia’ by M. P. Zhdanov)” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 30–63. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-30-63>

Украинская образность, в том числе образность пространственная, представленная в русской литературе XIX в., не раз становилась объектом исследования в работах, имеющих то или иное отношение к литературоведческой имагологии. Среди них можно назвать диссертации И. Булкиной [Булкина] и Т. А. Васильевой [Васильева], монографии О. С. Крюковой [Крюкова] и А. В. Марчукова [Марчуков], а также статьи В. С. Киселевой и Т. А. Васильевой [Киселев, Васильева], О. В. Кублицкой [Кублицкая], А. А. Сторожевой [Сторожева]. Несмотря на это, проблематика репрезентации украинского пространства в русской литературе XIX в. еще имеет некоторое количество лакун, связанных с недостаточной исследованностью отечественных травелогов, в которых затрагивается тема маркированного украинскостью/малороссийскостью пространства.

Одним из таких малоисследованных текстов являются «Путевые записки по России, в двадцати губерниях: С. Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Симбирской» М. П. Жданова. Данный текст эпизодически, наряду с травелогами иных авторов, упоминается в исследованиях Е. И. Анненковой, Д. Р. Гоперхоевой [Анненкова, Гоперхоева] и Е. Г. Милюгиной, М. В. Строганова [Милюгина, Строганов]. Кроме того, ждановские «Путевые записки...» послужили материалом для анализа образности Нижнего Новгорода в работе Е. И. Никаноровой [Никанорова]. Украинская же образность в этом тексте, насколько нам известно, ранее нигде не рассматривалась.

Итак, цель нашего исследования до некоторой степени созвучна идее Г. Башляра о составлении «кадастра утраченных ландшафтов» [Башляр: 31]. Она заключается в аналитическом описании имажи-

нально-географического пространства, относящегося к юго-западным границам Российской империи в тексте Жданова. Попутно заметим, что во избежание терминологической путаницы мы в дальнейшем не будем оперировать понятием украинскости, поскольку в рассматриваемом травелоге слово «Украина» нигде не упоминается. Вместо этого автор прибегает в своем пространственном описании к административному членению современной ему Российской империи, упоминая Харьковскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Киевскую и Черниговскую губернии, а также феномены Малороссии и Новороссии. Соответственно, исходя из авторской логики, мы будем говорить о новороссийском, малороссийском и отдельно харьковском пространственных типах, включая их общие и различные характеристики. Кроме того, в ряде случаев мы прибегаем к сопоставлению ждановского текста с «Письмами из Малороссии» А. И. Левшина, гораздо более известным травелогом, являющимся одним из ключевых для русской словесности XIX в. относительно складывания украинской образности [Киселев, Васильева: 20–21].

Действительно, между этими двумя текстами есть достаточно много различий, как формальных, так и сущностных. Если левшинские «Письма...» сосредоточены практически исключительно на малороссийском пространстве, куда автором включены Киев, Полтавская и Черниговская губернии, то ждановский травелог при меньшем объеме связанного с нашей темой текстового фрагмента имеет бóльший пространственный «охват», объединяя, что указывалось выше, репрезентации Малороссии в составе Киева, Полтавщины и Черниговщины, как у Левшина, но также Новороссии (Екатеринославской губернии) и Харьковской губернии. Различны и нарративы травелогов. «Письма...» можно отнести к «просветительскому варианту сентиментального путешествия» [Киселев, Васильева: 22]. «Путевые записки...» же написаны в подчеркнуто фактографической, лишенной литературных изысков манере. Более того, в предисловии Жданов специально противопоставляет свой текст сентименталистскому, а также предромантическому/романтическому нарративам: «...не теряю надежды, что меня не поставят наравне с сочинителями сентиментальных или ужасных повестей...» [Жданов: III]. Природа нарративов во многом обуславливает и различия в предмете и характере описания имагинально-географических объектов. Левшина в изображении Малороссии прежде всего

интересует, во-первых, пространство исторической памяти, описываемое в возвышенной, патетической манере, о чем заявлено непосредственно во введении «Писем...» («Древняя История Российская давно возбуждала во мне желание видеть Малороссию, знаменитую многими великими происшествиями. Россиянину, думал я, непροститительно не быть в Киеве, не взглянуть на Полтаву, — и спешил осмотреть памятники славы предков наших»¹ [Левшин: I]), а во-вторых, пространство ахронной демиприродной (деревенской) идиллии («полуденной России»), связанное с аркадским мифом в его сентименталистской вариации и вообще образом изобильного «южного» пространства. При этом в левшинском травелоге также наличествует хозяйственная сфера малороссийского пространства, «рассредоточенная» в эпизодических авторских замечаниях по ходу повествования и в наибольшей степени сконцентрированная в последней («экономической») главе, которая по своему стилю и содержанию сильно контрастирует с сентименталистским нарративом основного текста, т. е. исторический и идиллический элементы у Левшина являются ядром репрезентации Малороссии, а хозяйственный (а также повседневно-бытовой) — периферией. Ровно наоборот устроено ждановское повествование, что автор определяет еще во вступлении: «...главнейшею целью, для которой мне случилось объехать в 1838 и потом в 1839 годах несколько губерний, было наблюдение за состоянием в нашем отечестве сельского хозяйства и в особенности садоводства, ...очень естественно, что и в записках моих я обратил наибольшее внимание на сии два предмета» [Жданов: II–III]. Здесь хозяйственная сфера составляет фокус описания, который дополняют «некоторые замечаниями о быте жителей наших уездных и губернских городов» и «несколько воспоминаний исторических» [Жданов: III]. Наконец, еще одним важным различием между текстами является степень «вовлеченности» авторов в юго-западное лиминальное пространство России. Хотя Левшин исходит, по С. В. Киселеву и Т. А. Васильевой, из «презюмции единства Украины и России» [Киселев, Васильева: 25], репрезентация Малороссии характеризуется частичной остраненностью описания, т. е. определенной степенью чужести малороссийскости по отношению к великороссийскости.

¹ Здесь и далее орфография и пунктуация текстов Левшина и Жданова приближены к современным.

Жданов же в гораздо большей степени чувствует себя в лиминальном пространстве «как дома». Во-первых, насколько можно понять из текста, его дом буквально близок к Харьковской губернии, видимо, владения родителей находились в Курской губернии, часть территории которой (Белгородчина) исторически связаны с Харьковщиной в рамках территории условной Слобожанщины. Весьма характерным образом автор предваряет описание Харьковской губернии сценой заезда к родителям, где дома в деревне названы «хатами», а он сам определяет себя как «паныча» [Жданов: 95]. Также Жданов закончил Харьковский университет в 1832 г. [Автобиографический очерк...: 347] и приобрел в том же году землю в Новороссии, в Новомосковском уезде [Жданов: 129]).

Исходя из имманентного членения территорий в тексте, охарактеризуем каждую из них. Локус Харькова представлен тремя сферами, две из которых основные — образовательная и хозяйственная, а третья — повседневная — дополняющая в репрезентации. Образовательная сфера представлена локусами университета, пансионов и института благородных девиц, маркируемыми привлекательностью и значимостью в рамках российского Юга: «Здания Университета, Института... очень хороши. Харьков славится как средоточие образованности южной России. Сюда помещики привозят сыновей для определения в пансионы, Гимназию и Университет, малолетних дочерей в пансионы и Институт <...> Институт благородных девиц очень хвалят» [Жданов: 100–101]. Локус Харьковского университета охарактеризован новизной («Университет недавно основан (в 1805 году)») и особо выделен как место высокого (непровинциального) уровня обучения («Из заграницы выписаны были профессора, известные европейскою ученостью») и подготовки управленческих кадров для империи («...есть уже люди, из его воспитанников, занимающие важнейшие государственные должности — губернаторов, директоров, сенаторов» [Жданов: 101]). В то же время локус противопоставлен пространству столичного обучения: здесь, на своего рода фронтире, связи значат меньше, чем личные заслуги, поэтому «...молодые люди учатся здесь с большим прилежанием: они менее рассеяны, чем в столицах; сверх того, имея в виду, что на службе помогут им только их собственное знание и усердие, полагаются единственно на свои способности и дарования» [Жданов: 101].

Что касается хозяйственной сферы Харьковской губернии, то Жданов выделяет овцеводство, улучшению которого «харьковские помещики» уделяют «особенное внимание», «свеклосахарную промышленность» [Жданов: 102], развитие которой, по мысли автора, должно способствовать совершенствованию культуры потребления, когда «... русские и малороссийские поселяне будут употреблять сладкие напитки более, чем крепкую горелку», а также садоводство, находящееся здесь «в довольно хорошем состоянии» [Жданов: 103]. При этом репрезентации садоводства в тексте частично присущ мотив дикости, неупорядоченности: плодовые деревья встречаются не только в деми-природных локусах садов, но «груш, яблок, слив... много даже в диком состоянии, в лесах» [Жданов: 103]. Кроме того, острашению подвергается мотив южности¹ (благоприятного климата) для земель не только Харьковщины, но также Новороссии и даже Малороссии²: «...с некоторого времени климат южной России значительно изменился, сделался гораздо суровее. Многие жалуются на истребление морозами нежнейших садовых растений. До 1826 года в Харьковской губернии (в Изюмском уезде) разводились довольно большие виноградники, а ныне не только в этой губернии, но и в Екатеринославской виноград пропадает от морозов. <...> у одного помещика Славяносербского уезда замерзло в степи 150 овец; пастух едва остался жив» [Жданов: 103]. В целом как для харьковских, так и для екатеринославских не до конца освоенных в хозяйственном отношении земель характерен мотив становления/развития.

Наряду с Харьковом в пространстве губернии представлены топорсы Чугуева и Изюма. В рамках хозяйственной сферы они охарактеризованы прежде всего как локусы добычи «известкового камня для мощения улиц»: «Этот камень ломают в горах, между Чугуевым и Изюмом» [Жданов: 104]. Также сообщается о локусе горы в имении изюмского помещика, «в которой много блестящих камней», сравниваемых

¹ Сравним с левшинской характеристикой южной части Малороссии: «...на свободном воздухе зреют Испанские вишни, спелет шелковица и грецкие орехи, растут каштаны и виноград <...> Большею частью сады наполнены яблоками, сливами, грушами» [Левшин: 196–197].

² Так, описывая Яготин под Киевом, Жданов замечает, что в местном шелковичном саду «деревья много потерпели от зимы 1837 года» [Жданов: 148].

«с хорошими стразами или алансонскими камнями» [Жданов: 106]. Пространство Изюмского уезда описано и как южный демиприродный ландшафт, сходный мотивами изобилия, привлекательности с репрезентациями малороссийской деревенской идиллии, но описанный в гораздо более умеренных тонах, чем в сентименталистском нарративе: «Выехав из города, надобно подняться на крутую гору, с которой открываются превосходные виды <...> С левой стороны виден Донец, обширные пажити с тучными стадами, леса и несколько деревень, расположенных на горе; с правой — крутой обрыв, зеленый бархатный луг, а также в отдалении село с красивым господским домом. В Изюмском уезде некоторые помещики разводят виноград на горах, имеющих склон к югу» [Жданов: 105]. Топос же Славянска маркирован как место минеральных вод [Жданов: 105].

В рамках повседневной сферы Харьков охарактеризован амбивалентно. Так, «Харьков с северной стороны, ... не имеет хорошего вида» [Жданов: 99]; мотив привлекательности отрицается и относительно локусов местных лавок: «...если бы они были выстроены в одном месте на площади, могли бы служить украшением города; но в настоящем положении, разбросанные по разным местам, они не имеют особенно хорошего вида» [Жданов: 100]. С другой стороны, «с полтавской дороги» город «представляет живописную картину» [Жданов: 100]. Мотивом визуальной привлекательности маркированы ранее упоминаемые университет и институт, а также присутственные места, которые «очень хороши» [Жданов: 100]. Тот же мотив актуализирован в следующих характеристиках: «прекрасный вид на город», «красивые дома» [Жданов: 101]; большая аллея университетского сада «очень красива» [Жданов: 102]. Встречается в репрезентации Харькова и мотив масштабности, свойственный губернскому городу: «...большие каменные здания украшают улицы Московскую и Залопанскую, частью Сумскую и городскую площадь» [Жданов: 100]; «обширная площадь, за Харьковом (рекою)» [Жданов: 101]. Наконец, здесь отмечен мотив регулярности/упорядоченности урбанистического топоса: «Город расположен довольно правильно» [Жданов: 100]; ботанический сад, «правильно и хорошо расположенный» [Жданов: 102]. Рекреационный аспект харьковской повседневной сферы также амбивалентен. С одной стороны, он маркирован провинциальностью, когда общественная жизнь оживляется в основном во время ярмарок, на которые в том числе съезжаются

маргинальные элементы-шулера, желающие «пользоваться простотою степовичков» [Жданов: 100]. С другой — автор отмечает, что «В Харькове можно приятно жить; по крайней мере все способствует к тому: местопребывание генерал-губернатора, хорошее общество, ученые люди, артисты, театр, вблизи Чугуевские военные поселения, снабжающие собрания офицерами, и особливо дешевизна квартир и жизненных припасов» [Жданов: 104].

Описание маркированного армейскостью Чугуева («корпусная квартира здешних поселенных войск») в повседневной сфере мало отлично от репрезентации губернской столицы. За исключением, разумеется, мотива масштабности¹ Чугуев характеризуют мотивы привлекательности и упорядоченности: «очень красивый городок»; «дома хотя однообразны, но хорошей наружности»; «красивый мост»; «улицы проведены правильно» [Жданов: 104]. То же можно сказать и об описании Изюма («небольшой, но хорошенький городок», неподалеку от которого Северный Донец «красиво» извивается «в зеленых роскошных лугах») и Славянска («довольно обширное, хорошее местечко» [Жданов: 105]).

Своеобразным пограничным пунктом между Харьковщиной и Новороссией в тексте выступает город Бахмут. Его новороссийскость определена, с одной стороны, наличием элемента еврейскости («В первый раз мы увидели Евреев, потому что здесь уже Новороссия, в которой позволено им жить»), а с другой — иным, более удобным устройством почтового сообщения («такая исправность была для нас чрезвычайно приятна после непрерывных остановок на почтах Харьковской губернии» [Жданов: 106]). Последняя территория в этом плане отнесена к подмножеству «великороссийских замосковных губерний», от которых отлична Новороссия, «где прогоны платятся несколько более против, по 8 к. за лошадь на каждую версту» [Жданов: 107].

В повседневной сфере репрезентация Бахмута сходна с описанием Славянска: «отстроен хорошо, просторно» [Жданов: 106]. То же можно сказать и о лаконичных изображениях двух других уездных городов Екатеринославской губернии: «Павлоград и Новомосковск порядочно отстроены»; окрестности последнего «цветут баштанами (арбузные и тыквенные поля)» [Жданов: 124].

¹ Масштабностью в Чугуеве отмечен лишь военный локус: «Для корпусного начальника и штаба построено огромное здание» [Жданов: 105].

В связи с Новомосковском как хозяйственным пространством также упомянута местная ярмарка, «очень значительная, особенно по торговле скотом» [Жданов: 124]. Но в наибольшей степени данная сфера отражена в относящемся к Славяно-Сербскому уезду топосе Луганска, образ которого заслоняет образ уездного Славяно-Сербска, упоминаемого, но не описываемого в ждановском тексте. В рамках луганского пространства наибольшей значимостью для автора выступают локусы Луганского литейного завода и «луганской же образцовой фермы сельского хозяйства», учрежденной в 1820 году [Жданов: 110].

Репрезентация обоих локусов отличается рациональностью и функциональностью. По сути, единственной эстетической характеристикой литейного завода в тексте является упоминание, что он «красиво расположен на горе, при речке Луганке» [Жданов: 107]. Далее же следует описание межрегиональных экономических связей завода в рамках империи (из-за отсутствия железной руды «в здешнем крае» завод «снабжается сибирским чугуном, привозимым сюда гужом из Таганрога», а плавка осуществляется «каменным углем, который добывается в двух местах Донского края») и производимой продукции: «...преимущественно отливаются снаряды для черноморского Флота, как-то: ядра, картечи и систерны; кроме сего делаются печи, надгробные доски и другие вещи» [Жданов: 107]. Но и в изображение завода Жданов вносит столь близкую ему сельскохозяйственную тематику. Во-первых, подчеркивает, что здесь не делают столь необходимые для Новороссии косы, «один из предметов первой необходимости здешнего края», куда на «косовицу» приходит «множество народа» «из великороссийских и малороссийских губерний» «и при всем том не успевают скашивать всей травы» [Жданов: 108]. Это маркирует здешние земли, «степи новороссийские» (и донские) мотивами новизны, неосвоенности, сопротивляющейся антропному вмешательству дикости в гораздо большей степени, чем на территории Харьковщины: «На новых степях, где растет бурьян и трава деревьев, очень много ломают кос» [Жданов: 108]. Во-вторых, образ потенциального аграрного пространства, характеризующегося на современный момент неосвоенностью, актуализируется в связи с упоминанием бурения силами завода артезианского колодца: «Безводные степи... новороссийские возвысились бы по крайней-мере одну третью против настоящей ценности, если бы открыта была вода, годная хотя бы для пойла скота» [Жданов: 110].

Неосвоенным пространством является и локус реки Северный Донец. Лишь в 1838 г. по нему впервые для нужд завода открыли судоходство: «одна барка пришла из Таганрога с чугуном, а другая из Лисичьей балки (выше Славяносербска) с каменным углем», причем автором подчеркнуто, «что река очень засорена корчами и потому ход судов затруднителен» [Жданов: 123].

В еще большей мере образ фронта наложен на репрезентацию Новороссии в связи с описанием луганской казенной фермы. В частности, здесь актуализирован мотив колонизации, в том числе инонациональными силами. Так, ферма сначала была «отдана была в управление иностранному фермеру Стиссеру» [Жданов: 110], а потом передана «иностранцу Крестлингу»¹ [Жданов: 120]. Иностранность локуса луганской фермы подчеркнута и в образах применяемых здесь орудий труда: «Землевозделывание производится иностранными орудиями: магдебургским и бельгийским плугами, редко плугом изобретения Стиссера, экстириаторами, катками и боронами с железными гвоздями. <...> Телеги здесь употребляются большие, на высоких колесах (немецкие), в которые запрягают две и четыре лошади немецкою упряжью» [Жданов: 120]. Характерно и обращение во фронтальном пространстве

¹ Кроме того, в тексте упоминаются «немецкие поселенцы на Молочных Водах» (Таврической губернии), которые «развели большие сады от дерев, полученных из Екатеринославского сада» [Жданов: 128], а также «иностранцы поселенцы на Молочных Водах», выведшие «превосходные стада овец» [Жданов: 129]. Также иностранные поселенцы противопоставлены новороссийским помещикам: первые, в отличие от вторых, не пренебрегают шелководством, которое «доставляет» «большие выгоды» [Жданов: 130]. Отмечено и то, что локусы, заселенные «иностранцами» в Екатеринославской губернии, «представляют пример благоустроенных сельских общин» [Жданов: 126]. Впрочем, наряду с примерами освоения фронта иностранцами, травелог содержит в «сжатом» виде сюжет неудачи иностранца в России, как в лесковской «Железной воле»: Стиссер, «не знавший России, ни южного ее края в особенности», бросает ферму, не сделав ничего, за исключением «опытов разведения красильных растений», при этом насмешив «своею безобразною немецкою упряжью» «простодушных малороссиян, которые указывали на него пальцами» на ярмарках [Жданов: 121]. Наконец, образом иностранных поселенцев отмечен и Константиноград Полтавской губернии, где те занимаются «садоводством, мелкою фабричною промышленностью и торговлею» [Жданов: 134].

Новороссии к теме американскости, выраженной в образе новых сельскохозяйственных культур, которые должны разводиться на ферме — сортов американского табака: «Табак разводится здесь различных сортов, каковы: золотолиственный, виргинский, мариландский и другие, выписанные Министерством Финансов из Америки» [Жданов: 115]. Описание фермы подчеркнуто функционально и лишено даже тех минимальных черт идиллии, которыми отмечены пейзажные описания Харьковской губернии: дом для фермера, «для других чиновников — два флигеля, а для живущих здесь срочно крестьян — особые дома; кроме того, конюшни, сараи, амбары и прочие службы» [Жданов: 110]. По сути, пространство фермы изоморфно пространству завода в их цели освоения Новороссии, сформулированного в варианте фермы как «развести красильные и торговые растения, ввести лучшие способы земледелия и усовершенствованные земледельческие орудия» [Жданов: 110]. Далее Ждановым приводятся пространные (на несколько страниц) описания подлежащих выращиванию здесь сельхозкультур. При этом мотив дикости/неупорядоченности новороссийского пространства характеризует и сам локус луганской фермы: «...в настоящем положении Луганская образцовая ферма в отношении земледельческом ничего почти не имеет образцового» [Жданов: 110]. Кроме того, это актуализирует отрицание мотива культуры в ее исконном значении (как земледелия) в степном пространстве¹: «в Екатеринославской губернии еще рано думать о плодопеременных системах. Едва ли третья часть всех земель ее распахана; остальная состоит из девственных степей, с которых часто не успевают скосить травы» [Жданов: 121]. Новороссия как фронт в ждановском тексте характеризуется также мотивами малонаселенности и неразвитости (наряду с земледелием) скотоводства: «Потребности этого края суть: увеличение народонаселения, усиление и улучшение скотоводства всех родов...» [Жданов: 121]. Новороссия здесь есть пространство в становлении,

¹ Аналогично новороссийские степи представлены в описании Лысой горы, находящейся «вверх по течению Донца»: «Я всходил на нее и наслаждался прекрасными видами: за рекою, где начинается земля Донских Козаков, разбросано несколько станиц (деревень); с других сторон только дикие, пространные степи» [Жданов: 124], т. е. Земля войска Донского в большей степени упорядоченное антропоное пространство, чем Новороссия.

проектное, по сути, имеющее потенциал развития, но до сих пор не реализовавшее их: «Екатеринославская губерния, находясь близ морей Черного и Азовского, имея климат благообразный, большое количество земли и в некоторых местах, каковы уезды Павлоградский и Новомосковский, отличного свойства глубокий чернозем, может достигнуть цветущего состояния в отношении сельского хозяйства» [Жданов: 129]. Как проектное пространство она выступает местом вложений капитала, извлечения больших прибылей: «Выгоды от различных отраслей домоводства привлекают туда капиталы в значительном количестве. Цена на земли возрастает неимоверно. <...> Капиталы, употребленные на приобретение меринсов, вырочались в два и три года...» [Жданов: 129].

Отличием в изображении губернского Екатеринослава от иных городских топосов Харьковской и Екатеринославской губернии является наличие пространства исторической памяти, которое закономерно маркировано эпохой Екатерины II. Историческая сфера воплощена в ряде локусов: стоящий на горе собор «на том месте, где Императрица... предполагала построить величественный, огромный храм», «простая пирамида» возле собора, надпись на которой отмечает место стоянки императорской кареты, а также «бывший Потемкинский дворец» [Жданов: 125]. Ждановское описание последнего напоминает левшинское изображение имени Румянцева-Задунайского в Ташани. Для обоих мест характерен мотив заброшенности, актуализирующий, в свою очередь, мотив бренности земной славы: «...полы сгнили, балки рушатся, штукатурка внешняя обвалилась, но внутренняя еще цела. В таком состоянии находится дом, принадлежавший некогда человеку, достигшему славы, почестей, богатства, едва только возможных для подданного. Суета сует и всяческая суета!»¹ [Жданов: 125]. При этом образ Потемкина выстроен как образ цивилизатора, упорядочивателя диких степных земель: «Потемкин, бывший Екатеринославским Генерал-Губернатором, сделал много пользы для здешнего края: безлюдные степи, где кочевали некоторые дикие орды Печенегов, Половцев, Татар, заселены при нем людьми, вышедши-

¹ Сравните с описанием ташанского «замка» у Левшина: «...одна половина обращена пожаром в груды камней, а другая приближается к своему разрушению. Двор зарос дикою травой <...> везде видимы были следы времени; все возвещало скорое падение последних остатков сего величественного здания» [Левшин: 36–37].

ми из других губерний и иностранцами» [Жданов: 126].

Наиболее же упорядоченным локусом Екатеринослава выступает казенный сад, где наблюдается «отличный порядок»; «в куртинах правильно насажены разные плодовые деревья», а кусты «ровно» подстрижены [Жданов: 126]. Источником упорядочивания выступает *genius loci*, «садовник, иностранец Гуммель, страстный любитель природы», который «употребил половину лет жизни своей (около тридцати лет) на приведение его в настоящее положение» [Жданов: 126]. Наряду с упорядоченностью, сад маркирован мотивами масштабности и чистоты: «Широкие и длинные дороги... содержатся в чистоте...» [Жданов: 126]; «Все питомники очищены от травы...» [Жданов: 127]. При этом пространство сада — это место не сенсуалистских наслаждений в рамках сентименталистского нарратива, а торжествующей рациональности, подобное луганской ферме: сад совершенствуется по намеченному тридцать лет назад плану, а также является местом науки (опытов по селекции растений) и извлечения прибыли: «...Екатеринославский же содержится собственными средствами. При Гуммеле продано из этого сада разных плодовых дерев до трехсот тысяч; кроме сего, продажа плодов приносит также значительный доход» [Жданов: 128].

За исключением локуса сада повседневная сфера Екатеринослава описана весьма скупо, ограничивается лаконичным изображением «большой, широкой улицы» и домов на ней: «частный, в котором помещаются присутственные места, начальника губернии, казенной палаты, дворец и другие» [Жданов: 125]. Пространство Екатеринослава отличается тихой провинциальностью по сравнению с Харьковом, где есть места и для образования, и для развлечения: «В Екатеринославле живут только служащие чиновники, немногие купцы и Еврей-ремесленники. Квартиры недорого, продовольствие дешево; на рынке насыпаны кучи тыкв, арбузов, дынь, яблок, груш и слив» [Жданов: 129].

Кроме того, в пространстве Екатеринославской губернии Ждановым даны две бытовые сценки, относящиеся к усадебным локусам. Первая — это сцена свадьбы, свидетельствующая об известной фронтальной простоте местных обычаев. Причем основным местом торжеств выступает не дом, где не могут поместиться все гости, а специально построенный «на скорую руку сарай», завешанный «древесными ветвями», с особой «отгородкой для музыкантов» [Жданов: 130]. По окончании свадьбы гости помещаются в «особых квартирах», локус

которых отмечен как специфически малороссийский и новороссийский: «Как при большом съезде нельзя поместить всех в дом, то для сего очищают несколько дворовых или крестьянских изб» [Жданов: 131]. Впрочем, несмотря на простоту, автором зафиксирован и налет цивилизации: «уездные барышни» имеют любезные манеры, хорошо танцуют, а некоторые даже говорят по-французски, что есть влияние цивилизаторских центров — «Харьковских и Екатеринославских пансионов» [Жданов: 131]. Вторая сцена провинциальных нравов связана с катанием на лодке по реке Орели. В целом оно описано достаточно безыскусно, в фактографическом духе всего травелога: «Отплыв версты две, мы вышли на берег, гуляли по шелковой траве, бегали, играли. Закипел самовар; хозяйка разлила чай, потом вместе с другими подружками сделала вареники, и мы все, расположившись на ковре, пили, ели, шумели и пели песни» [Жданов: 132]. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что это одно из немногих мест в рассматриваемом нами фрагменте ждановского текста, где нарратор вводит в пейзажное изображение элементы ониризма, ярко эмоционально окрашенного: «Близ нас страшно пылал костер, вечерний мрак возбуждал воображение: мы представляли разные картины — разбойников, кочующих диких народов¹ и т. п. Возвращались мы уже при лунном свете: месяц любовался собою в чистых водах Орели, деревья являли свою тенью какие-то привидения...» [Жданов: 132].

Выше говорилось, что за исключением Екатеринослава пространства Харьковской и Екатеринославской губерний практически полностью лишены описаний исторического пространства. Обратную картину мы наблюдаем в ждановском изображении Малороссии. Показательна в этом плане репрезентация лиминального (по отношению к Новороссии) Константиноградского уезда Полтавской губернии, который в современном своем виде мало чем отличим от новороссийского степного фронта и характеризуется малолюдством и неосвоенностью: «Въезжая в Полтавскую губернию Константиноградским уездом, нельзя думать, чтобы эта губерния была одна из многолуднейших в России. Здесь еще много обширных степей, нетронутых плугом или сохой...» [Жданов: 133]. Тем не менее, город Константиноград связан с

¹ Отметим, что и в онирической сфере новороссийскому лиминальному пространству свойственны черты маргинальности, дикости (образы «разбойников, кочующих диких народов»).

пространством исторической памяти. Это не обычный уездный топос, но бывший «губернский город», маркированное фигурой Петра I¹ место, имевшее «славу», которая «по учреждении губерний Харьковской и Полтавской» «померкла» [Жданов: 133].

«Петровскими» топосами Полтавщины также выступают Лубны и, разумеется, сама Полтава. Если Левшин связывает историческое пространство Лубен с древнерусским хронотопом, маркированным «славной победой над половцами» в 1107 г. [Левшин: 22], то для Жданова это место, которое было определено Петром как «рассадник аптекарских растений», где «донные существует» аптекарский сад, в котором «заготовляется большое количество врачебных припасов для военных аптек»² [Жданов: 146]. Также выделен локус дома, «в котором была аптека, учрежденная Императором Петром I», и сохранились «сосуды с царским гербом» и «изразцовая печь» [Жданов: 146].

Образ Петра, очевидно, имеет для автора особое значение, что наглядно демонстрирует описание Полтавы, отличающееся значительной (по сравнению с остальным рассматриваемым текстовым фрагментом) эмоциональностью, приближающейся по уровню исторического пафоса к левшинскому тексту, что подчеркнуто, например, использованием трех подряд восклицательных предложений, вводящих читателя в «полтавский» текст: «Полтава и Петр! Видишь Полтаву, думаешь о Петре! Вот Шведская могила, свидетельница грозной битвы!» [Жданов: 136]. Масштабность могильного локуса подчеркивает значимость

¹ Как представляется, Жданов здесь допускает историческую неточность. Автор выделяет в пространстве Константинограда локус Белевской крепости, сохранившейся в его время в виде «высоких валов», и «донные» существующего сада, разведенного возле нее по приказу «Петра Великого» [Жданов: 133]. Но, насколько нам известно, решение о строительстве Украинской линии, частью которой была Белевская крепость (начало возведения — 1731 г.), было принято по указу Военной коллегии в 1830 г., тогда как Петр умер в 1725 г. Характеристика садового локуса Константинограда в тексте отличается амбивалентностью: с одной стороны, он наделен положительными чертами «живописного вида» и «очень хорошего местоположения», с другой — маркирован неупорядоченностью: «Ныне сад в большом беспорядке: не огорожен, не вычищен» [Жданов: 134].

² Левшин с Петром аптекарский локус не связывает, сообщая лишь об «огромной аптеке», доставляющей «лекарства на армию» и «заведенных при ней обширных ботанических садах» [Левшин: 23].

связанных с ним исторических событий, он также маркирован традиционным образом последнего приюта, объединяющим бывших противников: «И теперь она высока, до семи сажень; но что было сто тридцать лет тому назад? Сколько трупов скрывает в себе этот безмолвный кров? сколько Русских, сколько Шведов?» [Жданов: 136]. Более того, репрезентация Полтавы приближена, насколько это возможно для ждановского текста, к сентименталистскому нарративу в сцене молитвы нарратора на могиле: «Молитву и я произнес, пав к воздвигнутому на могиле кресту, и молитва моя была от глубины души; невольно капнувшая слеза подкрепила ее» [Жданов: 136]. Этой же чувствительностью характеризуется и описание надписи на кресте, оставленной Петром, образ которого связан с мифопоэтикой и получает божественный (в общем-то нехристианский) статус: «Что написано на кресте, обитом железными листами, чьи слова, чьи мысли? Его, его, нежного, сердобольного, самоотверженного Петра!»; «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ваше!»; «Как не обожать этого земного бога, как не сожалеть о преждевременной кончине его?» [Жданов: 136].

Помимо могилы, Жданов выделяет иные «петровские» локусы Полтавы: место «близ леса, прилегающего к монастырю», где располагалась шведская артиллерия, левая сторона Зеньковской дороги, место расположения русской артиллерии, мельница, «из которой Карл XII, во время сражения, посылал приказания», «маленький домик», в котором отдыхал «по окончании битвы Царь Петр» и «на месте коего, для памяти, поставлена каменная, простая пирамида», а также очень ветхая на момент написания текста «церковь Спаса», где Петр «благодарил Всевышнего за одержанную победу» [Жданов: 137]. Все эти локусы петровской эпохи обладают особой значимостью для автора и представляют собой медиационное пространство, где сливаются прошлое, настоящее и будущее: «Старые памятники более занимательны, более любопытны, чем новые. Самые развалины, обломки, поросшая трава, мох — увеличивают красоту их: рождая думы о давно прошедшем, они погружают в мечты о будущем» [Жданов: 137–138].

Данная значимость истории актуализирует в тексте ocasionальную и до некоторой степени «тавтологическую» оппозицию «петровские локусы петровской эпохи — петровский локус александровской эпохи». Речь идет о противопоставлении в авторском сознании более

древних (и, соответственно, более исторических) мест относительно новому памятнику полтавской битве, сооруженному при Александре I: «Я с бóльшим удовольствием смотрел на церковь Спаса, на пирамиду, чем на новый памятник, воздвигнутый на... не могу сказать прямо, где, прежде на площади, а ныне в цветнике, в саду или в лесу, как вам угодно. Действительно, увидев памятник, вы не можете без объяснения сказать, где он стоит» [Жданов: 138]. Неопределенность положения снижает образ памятника, который тем более остранен, поскольку ослаблена его основная функция — служить визуальным напоминанием об историческом событии: памятник, частично загороженный кустарниками и «высокими тополями», можно видеть только из одного положения, «с других же сторон, за деревьями, он не заметен» [Жданов: 138]. При этом описание исторического артефакта нейтрально: «Памятник состоит из пьедестала и колонны, на которой парящий орел держит лавровый венок. Вокруг памятника железная ограда; изпод нее выдаются жерлами взятые у Шведов пушки» [Жданов: 138]. Заметим, что некоторая амбивалентность образа данного памятника присутствует и в левшинском тексте, где значимость локуса противопоставлена его внешнему виду: «Обелиск прекрасный и отделан очень хорошо; но памятник великих дел, долженствующий в роды родов возвещать славу России и мужество верных сынов ее, должен быть сам по себе величествен. К сожалению, в нем этого недостает» [Левшин: 4–5].

В целом ждановская репрезентация Полтавы отмечена амбивалентностью. С одной стороны, пейзажные демиприродные панорамы города с акцентом на его визуальную привлекательность приближаются к образцам сентименталистской идиллии: «Полтава лежит на высоком берегу реки Ворсклы. Маленькие домики, разбросанные по покатости, и зеленеющие между ними сады представляют живописные виды. Величественный, отдельно стоящий на крутой горе монастырь и великолепный дом Института благородных девиц рисуются в противоположных сторонах города» [Жданов: 139]. Также отмечены удачное монастырское расположение, с которого можно «наслаждаться превосходною панорамною», и «единственное местоположение» и «несравненные, чудесные виды» институтского сада¹ [Жданов: 139]:

¹ Полтавский сад при училище садоводства описан иначе. Акцент сделан не на идилличность, а на функциональность, характерную в целом для описаний демиприродных локусов в ждановском тексте: «Сад... раз-

«Ворскла с небольшими озерами и заливами, песчаники, зелень лугов, разнообразные леса, деревни, мост чрез реку, дорога на Харьков, тихо движущиеся по ней ленивые малороссийские обозы; внизу на отлогости пригородные хижины, налево монастырь, направо самая высокая над Ворсклою Булановская гора, покрытая лесами...: это одно из лучших местоположений, какие только можно встретить» [Жданов: 139]. С другой стороны, в описании «лучших казенных зданий города» «хорошей архитектуры», «каковы: дома генерал-губернатора, гражданского губернатора, присутственных мест, полиции, гимназии, дворянского собрания и кадетского корпуса», мотив их визуальной привлекательности ослаблен: «Все эти строения..., стесненные в одном месте и закрытые высокими деревьями, ...не имеют никакого вида. Подъезжая к городу с заречной стороны, вы их совсем не видите, с других сторон представляются только задние их части» [Жданов: 138]. Также повседневная сторона образа Полтавы отмечена глубокой провинциальностью и скукой: «Частных больших домов в Полтаве нет, и квартиры, особенно большие, чрезвычайно дороги... Помещики¹ здесь не живут и общество состоит из одних служащих» [Жданов: 141–142]; ярмарка «весьма обыкновенна» [Жданов: 142]; «В Полтаве... скучно жить, особенно молодым людям...» [Жданов: 145–146].

Из «непетровских» топосов упомянут замечательный «историческими воспоминаниями» Переяславль, связанный, как и у Левшина, с древнерусскими сюжетами борьбы с печенегам и половцами (в том числе, поединка неназванного по имени Усмошвеца), а также злодеяний Святополка: «По Трубежу некогда кочевали Печенеги и Половцы; здесь же наш малорослый Русский в поединке с Печенегом-великаном

деляется на старый и на вновь разведенный. Первый служит преимущественно для гулянья жителей, а во втором разводятся виноград, плодовые деревья, кустарники, цветы, арбузы, дыни и огородные овощи. <...> Отсюда помещики и другие владельцы садов могут получать по самым дешевым ценам окулированные деревца» [Жданов: 140–141].

1 При этом местная элита («общество дворян Полтавской губернии») отмечена мотивом «любви к просвещению», что воплощено в локусах Института и Кадетского корпуса [Жданов: 142]. Также, наряду с училищем садоводства, в Полтаве упомянута «школа чистописцев» «для бедных сирот», которые «по окончании курса учения отсылаются в присутственные места отдаленных губерний» [Жданов: 141].

решил дело в пользу Владимира. На берегу Альты совершилось убийство набожного Бориса, по приказанию злодея Святополка, и там же разбиты потом нанятые Святополком Печенегии...» [Жданов: 147].

Среди «неисторических», по Жданову, топосов Полтавщины выделено селение Карловка (имение графини Разумовской), охарактеризованное мотивом упорядоченности: «Имение это можно считать образцовым по введенному порядку и устройству во всех частях сельского хозяйства. Здесь поселяне живут в довольстве, дома их хорошо отстроены и при многих находятся садики» [Жданов: 134]. Мотивами упорядоченности и визуальной привлекательности маркировано и селцо Отрада¹, между Пирятиным и Переяславлем, «принадлежащее генералу Селецкому»: «Тополевая аллея привела меня к прекрасному дому <...> Сад в отличном порядке, строения прочны, красивы...» [Жданов: 147]. Практически «пусты» в семиотическом смысле топосы полтавских городов Хороля и Пирятина. Про первый сказано, что он «красиво» расположен на берегу незначительной речки², и большее внимание уделено находящемуся в его окрестностях «прекрасному селению Вешняки, принадлежащему г. Оболенскому, с хорошим господским домом», т. е. описывается локус, аналогичный Карловке и Отраде: «Дома поселян, окруженные садами, построены однообразно, просто и с большими окнами» [Жданов: 147]. Пирятин и вовсе лаконично описан как «незначительный городок» [Жданов: 147].

В репрезентации Киевской губернии наибольшее место, разбирается, занимает образ Киева. Из прочих киевских топосов, помимо

1 Закономерно, что отбор локусов, достойных описания, определяется установкой автора на упорядоченное и отличающееся роскошью пространство. Заметим здесь, что число таких локусов-имений возрастает в Малороссии как более освоенном топосе по сравнению с Новоросси-ей. Еще одним таким дворянским имением является Яготин в Киевской губернии, ранее принадлежавшее графу Разумовскому, а затем княгине Репниной, где нарратор подмечает «прекрасный, великолепный» «господский дом» с множеством «картин отличных итальянских художников» и «довольно великий» по размерам шелковичный сад [Жданов: 148].

2 В отличие от ждановского текста, в левшинском травелогe Хороля характеризуется наличием пространства исторической памяти, связан с древнерусской историей как пограничный пункт, отделявший русских от половцев [Левшин: 15].

Ягодина, упомянут, но не описан, как и у Левшина, Борисполь, проезжаемый путешественником по дороге в столицу губернии, т. е. речь идет о локусе дороги. Отсюда нарратор впервые видит Киев, представленный одним и наиболее значимых своих локусов — колокольней Киево-Печерской лавры: «Проехав от м. Борисполя верст десять, я увидел слева золотую главу¹, блестящую в лазурной синеве за вершинами деревьев» [Жданов: 148]. Чуть большее внимание уделено дороге через Бровары, благодаря культурному бэкграунду, семиотической значимости этого места как медиационного по отношению к Киеву, куда стремились богомольцы. Здесь следует отметить три момента. Во-первых, это еще большее приближение к Киевской лавре как господствующего над прочей территорией значимого локуса, места чаяний: «По мере приближения к Броварам, последней станции, показались и все золотые главы этой церкви. Как величественно возвышается колокольня среди группы золотых глав! Она владычествует над всею окрестностью! Чудесный вид!» [Жданов: 149]. Во-вторых, это остраненный образ броварских песков как тягостного пути, преодолеваемого, чтобы попасть в сакральный город. Этот образ мы встречаем у того же Левшина: «Мечтания мои [о древнем Киеве – авт.] исчезли, когда я увидел, что лошади не только не могли нас мчать; но вытянув шеи, едва тащились по глубокому песку, между ужасными соснами, может быть, современными миру» [Левшин: 87]. Жданов же описывает пространство броварских песков не как дикое/древнее, но новое/упорядоченное: «Я думал уже о скуке наступающей дороги глубокими песками, о которых так много говорят богомолки. Как же велико было удивление мое, когда вдруг карста наша покатила по гладкой дороге, убитой щебнем, одним словом: по шоссе! <...> Радуйтесь, богомольцы, ... не бойтесь Броварских песков, — они остались по сторонам дороги!» [Жданов: 149]. В-третьих, автор отрицает образ

¹ В левшинском травелогe описание этого локуса отмечено крайней эмоциональностью: «...мы увидели Киев; увидели — и изумились величественным зрелищем высокой и крутой горы, на которой посреди многих златоглавых церквей и едва видимого в отдалении города, возвышался ужаснейшей величины колосс, блистающая вершина коего, казалось, была сокрыта в облаках» [Левшин: 85]. Вообще, «утренний пейзаж с видом на Лаврскую колокольню» есть «канонический зачин киевского путешествия-паломничества» [Булкина: 48].

маргинальных, разбойничьих Бровар¹, связанный с локусом дикого леса: «Не бойтесь также разбойников, живших в дремучих Броварских лесах, — теперь эти леса превратились почти в кустарники, в которых и дикого зверя не найдешь» [Жданов: 149]. Впрочем, упорядоченность локуса киевской дороги не является полной. Это, как и Новороссия, пространство в становлении, долженствующее восторжествовать над дикостью в будущем: «Шоссе доведено почти до Днепра, чрез который прямо построится мост, и дорога поведет в гору <...> мы должны были повернуть с шоссе... и познакомиться со старыми песками» [Жданов: 149].

Мотив обновления затрагивает и само пространство Киева. Если Левшин противопоставляя древний Киев, величественный образ которого сформировался в его сознании до посещения прежней столицы, современности, не дотягивающей до него («Я видел весь Киев, и... красота его нимало не соответствует прежнему величию, что нынешний Киев нельзя сравнить с древним» [Левшин: 94–95]), то Жданов показывает город обновляющимся: «В городе видна необыкновенная деятельность; много строится казенных и частных зданий» [Жданов: 150]; «строится Университет — огромное здание! <...> Расположение Киева во многом изменяется: Печерская часть... совсем уничтожается; множество новых домов строят по горам, прилегающим к Крещатику и в Старом городе, до сего времени совершенно оставленном» [Жданов: 160]; «в последние годы... город чрезвычайно улучшился: срыты во многих местах горы, проведены правильные улицы и построено довольно хороших домов» [Жданов: 161]. При этом образ генерал-губернатора графа Левашова определен как основной центр киевских преобразований. Из негативных последствий автором отмечена обусловленная масштабным строительством дороговизна киевской жизни. Новый Киев противопоставлен провинциально-тихому Киеву недавнего прошлого, который «славился дешевизною и удобствами к жизни, так что множество старичков, живущих пенсией, поселились здесь, желая провести остаток дней своих под кровом святыни» [Жданов: 161].

Как и Левшин, Жданов не обходит стороной сакральное пространство Киева, представленное различными церквями и Киево-Печер-

¹ В левшинском тексте Бровары связаны с мотивом *memento mori*: здесь нарратора и его спутника чуть не застрелили в ночи из пистолета.

ской лаврой. Закономерна и актуализация в священном пространстве мотива любви к отеческим гробам: Никольская церковь маркируется «могилой Аскольдовой» [Жданов: 149]; Успенский собор — «мощами св. Владимира» [Жданов: 154]; церковь Великомученицы Варвары — «мощами ее» [Жданов: 157]; Десятинная церковь¹ — захоронениями Владимира с супругой и св. Ольги, «гробами священными», истребленными «во времена Батя» [Жданов: 157]; Софийский собор — «гробницей Ярослава» [Жданов: 160]. Особо выделена Киево-Печерская лавра как «святыня России», «монастырь первоклассный, древнейший по происхождению» [Жданов: 150]. При этом ее смысловым центром выведены «пещерах Св. Антония и Св. Феодосия» в качестве наиболее значимых для русской культуры локусов, общеизвестных по «рассказам тетюшек, бабушек» «в детстве» чуть ли не каждого россиянина [Жданов: 151]. Автор достаточно подробно описывает как устройство пещер, похожих «на правильные горные шахты», так и обряд поклонения мощам святых угодников, помещенных в гробницы «в ственных углублениях» [Жданов: 151]. При этом, в отличие от Левшина, Жданов не утруждает себя наименованием большей части мощей, замечая лишь, что «в обеих пещерах считается до 150 угодников», и упоминая особо только «преподобного Нестора, древнейшего нашего летописца», и «Илью Муромца, славного богатыря своего времени, окончившего жизнь в монашестве» [Жданов: 153]. Отсутствие мощей Св. Антония и Феодосия объясняется ссылкой на легенду о взятии их на небо. В целом описание локуса пещер в ждановском тексте более отстраненное и рациональное (не сравнить с изображением «петровских» мест в Полтаве). Автор даже приводит маргинальную версию возникновения пещер², ставших основой лавры, что вряд ли можно представить

1 Обновлению подвергается и локус Десятинной церкви, причем повторно (первое произведено Петром Могилой). Если во время посещения Киева Левшиным храм был разрушен, то на момент ждановского визита церковь подверглась «возобновлению», благодаря «курскому помещику Анненкову, пожертвовавшему для сего до двухсот тысяч рублей» [Жданов: 159], «в наружной отделке уже кончена» [Жданов: 158].

2 Помимо маргинального образа разбойничьего Киева, связанного также с вышеупомянутыми Броварами, монолитность православного киевского пространства нарушает упоминание «великолепного, построенного в новейшем вкусе католического костела» [Жданов: 157].

в пространстве сакрального Киева в тексте Левшина: «Народное предание гласит, что здесь в древние времена жили разбойники, которые и ископали видимые ныне пещеры. Это весьма правдоподобно», т.е. эта версия фактически уравнивается с версией о пещерах, «ископаемых в горе отшельниками» во времена княжения Изяслава [Жданов: 153]. К этой же эпохе Жданов относит и первоначальное построение церкви Андрея Первозванного, связанное с сюжетом явления апостола на киевские земли: храм «стоит на самой вершине горы, господствующей над Подолом, той самой горы, где некогда св. Первозванный Апостол водрузил животворящий крест, предсказав будущую славу нашей древней столицы» [Жданов: 157–158].

Несколько большей эмоциональностью проникнуто описание еще одного сакрального локуса киевского пространства — Крещатика: «Знаете ли, друзья мои, где я тогда был, на каком священном месте? Я был на месте, где Владимир крестил Киевлян в Православную Греческую Веру!» [Жданов: 156]. Это событие воплощает построенная в 1802 г. киевлянам и часовня с почитательной надписью «Владимиру Святому, просветившему Россию» и образами «Спасителя — резной, св. Ольги, Св. Владимира, Бориса и Глеба» вокруг «колодезя» [Жданов: 156]. Данный локус провоцирует переход нарратора в онирическое пространство, описанное, впрочем, без подробностей.

Попутно отметим, что Ждановым, снова в отличие от Левшина, пространство исторической памяти в рамках киевского топоса ограничено временем Древней Руси, с которым связаны все антропные образы исторической сферы, кроме Петра Могилы. Более того, в ждановском Киеве фактически отсутствуют маркеры не только доимперской, но и недавней имперской истории XVIII в. Если Левшин перечисляет подарки российских императоров и Шереметьева киевским церквям, особо выделяя локусы могил Румянцева-Задунайского, а также Кочубея и Искры, то автор «Путевых записок...» данный темпоральный слой просто игнорирует. Зато упоминаются локусы Вышгородской горы, где «процветал некогда прекрасный Вышгород, который Ольга как невеста Великого Князя получила от героя Олега в вено» [Жданов: 155], и «речки Лыбеди, названной «по имени сестры Кия, Щека и Хорива» [Жданов: 160].

В целом, по сравнению с левшинским текстом, степень сакральности киевского топоса в ждановском тексте снижена. Например,

Киево-Братский монастырь вовсе упоминается в связи с рядом стоящей академией, образ которой отмечен через связь не со святостью, а просвещением: «в середине» Подола «Киево-братский монастырь с академией, которой одолжены своим образованием столь много ученых в нашем отечестве» [Жданов: 157]. То же можно сказать и относительно локуса лаврской библиотеки, имеющей «многие древние книги и редкие рукописи» [Жданов: 154]. Лаврская же колокольня оценивается как эстетический объект «прекраснейшей архитектуры», «одно из произведений знаменитого Растрелли» [Жданов: 154]. Если Жданов в ее описании занимается прозаическим сравнением ее высоты с другими высотными объектами Российской империи («Вышина колокольни 301 фут, или 43 сажени, следовательно, она выше Ивана Великого 76 и ниже Петропавловского шпиля 39 футами» [Жданов: 154]), то Левшин, поднявшись на ее верх, предается сакрально-онирическому визионерству: «...я не был занят земным. Душа моя парила под облаками и возносилась до жилищ горних» [Левшин: 133].

Больше Левшина Жданов старается задать рациональный план устройства современного, в том числе «повседневного» города: «Киев разделяется на три отдельные части: Печерскую, Старый город и Подол. Печерская, самая южная часть города и низшая по течению Днепра, очень дурно отстроена. В этой части запрещено теперь строить новые и чинить старые дома, потому что вся она отходит под крепостную эспланаду...» [Жданов: 150]. Также задан мотив масштабности пространства Киева, сопоставляемого с Москвой: «По обширности своей, Киев напоминает белокаменную матушку-Москву» [Жданов: 161].

Несколько подробнее Левшина Жданов описывает сферу повседневного (несакрального) Киева. К его локусам относится находящийся напротив лавры арсенал, окруженный «красивыми пирамидами» из «бомб и картечи» и «группами стоячих пушек» «по углам» [Жданов: 154]. Достаточно подробно, но сухо изображено устройство «бывшего дворца», превращенного в «заведение искусственных минеральных вод» [Жданов: 155], и сада при нем. Кроме того, в киевском пространстве выделены административно-хозяйственные локусы: «лучшее здание в городе», где находятся присутственные места [Жданов: 154], «Биржа, или контрактный дом, — обширное и красивое здание, в котором каждый год в январе месяце собирается множество купцов, по-

мещиков и капиталистов, для совершения разных сделок по торговым и хозяйственным делам», «особый гостиный двор» и торговая площадь [Жданов: 157]. В целом, повседневное пространство Киева, за исключением дороговизны жизни, охарактеризовано положительно и даже сближено по своим свойствам со столичным (непровинциальным): «В Киеве весьма приятно жить: общество очень хорошее, образованное. Я был на двух балах, которые поистине мало чем уступают столичным лучшего круга» [Жданов: 161]. Впрочем, в другом месте текста автор упрекает местную аристократию в непросвещенном хозяйствовании: помещики «туземные одно только знают — курить горелку и поить ею простодушных поселян» [Жданов: 162].

Пространство Черниговской губернии описано Ждановым меньше, чем в левшинском тексте, как в плане количества топосов, так и подробности их репрезентации, т. е. оно во многом семиотически «пустое». Так, образ Козельца представляет собой, по сути, «нулевое описание»: «Город... мы проехали ночью, в дождь, и я ничего не могу сказать о нем; да, вероятно бы, столько же сказал, если бы и видел» [Жданов: 164]. В целом, как и Левшиным, Ждановым отмечено наличие песчаных ландшафтов Черниговщины: «Дорога до самого Чернигова большею частью песчаная...» [Жданов: 164].

Пространство исторической памяти также представлено здесь слабее, чем при репрезентации Полтавской и Киевской губерний. Селение Лемяши маркировано в тексте как место рождения «знаменитого Разумовского» [Жданов: 165], В Седневе, «первой станции от Чернигова к Могилеву», пространство исторической памяти представлено, во-первых, локусом многочисленных «могил (курганов), напоминающих о бывших здесь... битвах между Русскими и Татарами», а во-вторых, сюжетом исторического анекдота о происхождении топонима: русские «отсиделись» за возами от напавших татар [Жданов: 169].

Образ Чернигова построен на остранении, контрасте между ожиданиями автора и наблюдаемым им пространством, а также между исторической и современно-повседневной его значимостью: «Судя по трем большим каменным церквям, далеко одна от другой стоящим, я полагал, что город должен быть большой; въехав же в него, увидел, что он очень невелик <...> Никак не ожидал я найти в таком бедном положении один из древнейших городов в России (он основан в X веке), который имел своих удельных князей» [Жданов: 165–166]. Соответственно,

топос характеризуется негативными мотивами маломасштабности и малонаселенности/пустоты, визуальной непривлекательности, неупорядоченности, бедности¹: «Хороших строений в Чернигове совсем нет; дома большею частью деревянные, низенькие, улицы немощенные, песчаные. <...> он совершенно пуст и более похож на уездный, чем на губернский город: не видно ни экипажей, ни людей...»² [Жданов: 166]. Помимо упоминания о древности и статусе столицы удельного княжества, историческое пространство Чернигова маркировано весьма слабо, общими фразами.

Кроме того, в целом охарактеризована хозяйственная сфера Черниговщины, сконцентрированная в первую очередь на производстве водки, из-за чего «леса в губернии год от году приходят в худшее состояние: винокурни чрезвычайно много потребляют лесного материала»³ [Жданов: 169], а также на выращивании табака (в Сосницком, Нежинском, Борзенском и Конотопском уездах) [Жданов: 167], «скотоводстве, пчеловодстве и садоводстве», которые здесь «в довольно хорошем состоянии» [Жданов: 168].

Таким образом, юго-западное лиминальное (провинциальное) пространство Российской империи в тексте представлено тремя основными локальными вариантами. Это репрезентации, во-первых, Харьковской губернии, во-вторых, Екатеринославской губернии как

¹ В левшинском тексте образу Чернигова свойственна бóльшая амбивалентность: с одной стороны, «его строение» «изрядное», с другой — автор «Писем...», как и Жданов, отмечает в городе «пустоту и малолюдство»: «Общество дворян, живущих в Чернигове очень невелико, а купечество чрезвычайно бедно» [Левшин: 139].

² Также в ждановском и левшинском текстах малороссийское пространство определено элементом еврейскости. В первом случае это касается конкретно топоса Чернигова, где нарратор не встретил никого, кроме евреев, «овладевших всеми лавочками, меняльными столиками и прочими промыслами» [Жданов: 166]. Левшин же распространяет еврейскость на всю территорию Малороссии, замечая, что та у евреев «на откупе» [Левшин: 152].

³ За двадцать с лишним лет до ждановской поездки Левшин замечает также в контексте распространенности винокурения в Малороссии, что «Черниговская Губерния, которая в теперешнем изобилии не чувствует, сколь драгоценен лес, множеством оных [винокурен — авт.] отличается во всей России» [Левшин: 199].

Новороссии, в-третьих, Полтавской, Киевской и Черниговской губерний как Малороссии. Кроме того, эпизодически упомянуты территории Таврической губернии и Земли войска Донского. Разумеется, формальное административно-территориальное членение не в полной мере соответствует семиотической дифференциации топосов в ждановском тексте, предполагающем «переходные» зоны между тремя вышеуказанными вариантами в рамках общего лиминального пространства. При этом его характеристика в травелоге осуществлена в рамках трех сфер: хозяйственной, повседневно-бытовой (тесно переплетенной с образовательной) и исторической. Особенностью ждановских «Путевых заметок...» является ключевой характер первой сферы при ослабленной выраженности третьей, что составляет яркий контраст, например, с левшинским малороссийским текстом.

В целом, пространственная лиминальность, наблюдаемая в травелоге Жданова, связана с комплексом мотивов новизны, дикости/неустроенности, неупорядоченности, малолюдности, а также устремленной в будущее проектности, которые преломляются и накладываются друг на друга в репрезентации выше заявленных локальных вариантов. Так, в пространстве Харьковской губернии мотив дикости актуализирован в локусах лесов, маркированных образами диких плодовых деревьев, что, с одной стороны, «провоцирует» мотив окультуривания как освоения пространства, а с другой — способствует до некоторой степени контаминации образов дикого леса и демиприродного сада¹.

Гораздо в большей степени мотивы новизны и дикости свойственны топосу Екатеринославской губернии, что определяет Новороссию как пространство фронта. Это касается неосвоенных, испытывающих недостаток в воде, людях, ряде ресурсов степных локусов,

¹ Сад как тип пространства амбивалентен и имеет два вектора «дрейфа» образа, что подчеркнуто В. Н. Топоровым: с одной стороны, при тенденции к упорядочиванию, снижению энтропии, образ сада может сливаться с образом дома, восходя к мифологеме Эдема, с другой — при «возрастании энтропии» [Топоров: 303] образ сада сближается с природно-хаотическим элементом, который может быть представлен образом дикого леса, опасного, неантропного локуса. Конечно, ждановский текст, весьма далекий от мифопоэтики, тем не менее маркирован рационалистической идеей прогресса, а значит, снижения энтропии, окультуривания дикого начала.

покрытых травами и бурьяном, сопротивляющихся усилиям косарей, но также речного локуса Северного Донца, судоходство по которому затруднено. Это богатая потенциями земля, проектное, устремленное в будущее место роста упорядоченности, а также населения, капиталов и т. п. Кроме того, данное пространство маркировано различными экспериментами по селекции растений и скота, бурению скважин с водой, применению новых способов хозяйствования и орудий производства. В этом плане значительное место в тексте занимает топос Луганска, наиболее подробно описанный по сравнению с прочими городами в рамках хозяйственной сферы Новороссии и представленный двумя локусами — литейного завода и казенной фермы, ставящей эксперименты по внедрению новых сортов сельскохозяйственных культур и способов земледелия. Неудивительно также, что фронтальный топос тесно связан с мотивом колонизации, как отечественной, так и иностранной. Инонациональный элемент сильно выражен в новороссийском пространстве, прежде всего в хозяйственной сфере. Также Новороссия маркирована еврейскостью, что роднит ее с Малороссией и противопоставляет Харьковской губернии. Наконец, в репрезентации Новороссии отмечен редкий для травелога «прорыв» в онирическое пространство (в рамках речной прогулки, т. е. попадания в относительно «дикий» локус), пронизанное романтической мифопоэтикой (образы разбойников, дикарей-кочевников, привидений).

Что касается пространства Малороссии, то оно гетерогенно. Константиноградский уезд Полтавской губернии по выраженности мотивов неосвоенности, малолюдности в большей степени походит на репрезентацию новороссийских топосов, в то время как остальная часть Полтавщины, а также Черниговщина изображены слабо затронутыми развитием, не маркированы мотивом новизны. Пространство Черниговской губернии при этом отличается большей энтропийностью, выраженной через негативные мотивы бедности, маломасштабности, малолюдности, малозначимости. Вообще, Черниговщина наименее подробно изображена в ждановском тексте. С другой стороны, в репрезентации Полтавщины менее выражена хозяйственная сфера, которая в травелоге является, как правило, основной при актуализации мотива освоения пространства. Образ Киевской губернии в этом смысле противопоставлен образам Полтавщины и Черниговщины, связан с мотивом обновления, который проявлен прежде всего в то-

посе самого Киева и его окрестностей. Мотив обновления выражается в образах новых строящихся локусов дороги на пути в город и домов в его рамках (в том числе локуса университета). Также изменение образа трудной/опасной дороги в Киев (на броварском участке) связано с уничтожением дикого локуса леса, связанного в прошлом с маргинальным образом разбойников. При этом хозяйственная сфера Киевщины (за пределами самого Киева) изображена скорее в негативном ключе: здесь, как и по всей остальной Малороссии, слишком большое внимание уделяется винокурению в ущерб новым формам и методам хозяйствования. В то же время в полтавско-киевском пространстве упоминаются маркированные упорядоченностью и привлекательностью имения большой аристократии.

Специфична ждановская репрезентация и по отношению к *loci communes* «южнорусского» текста русской литературы начала XIX в. — к образу Малороссии и вообще лиминальной «полуденной России» как идиллическому изобильному топосу, тесно связанному с аркадской мифопоэтикой. С одной стороны, Жданов действительно наделяет описываемое им пространство семантикой плодородного Юга. С другой — идиллическое начало оказывается фактически вытесненным функционально-рациональным элементом, подавляющим сентименталистский нарратив в пользу нейтрально-фактографического повествования. Также через описание хозяйственной сферы лейтмотивом является ужесточение климата «полуденной России». Подвергнутая смысловой «эрозии» идилличность, пожалуй, в наибольшей степени сохраняется в репрезентации Изюмского уезда и Полтавы.

Пространство исторической памяти весьма неравномерно представлено в трех анализируемых локальных вариантах. В рамках Харьковщины и Новороссии историчность практически отсутствует, если не считать описания губернской столицы, Екатеринослава, связанного с образами Екатерины II и Потемкина. Зато в пространстве Малороссии исторический элемент составляет важную, хотя и не столь экспрессивную, как и у Левшина, сферу изображения. При этом полтавские локусы (Константиноград, Лубны) в основном (за исключением Переяславля) связаны с крайне значимым для автора образом Петра, которому присвоен мифопоэтический статус «земного бога». Особо выделим репрезентацию Полтавы, проникнутую «петровской» образностью и наиболее приближенную, насколько это возможно

в рациональном ждановском повествовании, к сентименталистскому сверхэмоциональному нарративу. Переяславль же, Киев, Чернигов (и, вероятно, Седнев) маркированы связью с древнерусской историей, поданной, впрочем, в несколько отстраненной и остраненной (образ маргинально-разбойничьего и одновременно сакрального Киева) манере. Черниговские Лемяши связаны с образом другого екатерининского фаворита, Разумовского.

Что касается повседневно-бытового слоя, то большинство южно-русских городов в тексте отличаются тихой, порой скучной провинциальностью, включая губернские Екатеринослав, Полтаву и Чернигов, слабо отличающиеся от уездных топосов. На их фоне выделены Харьков как образовательный центр Юга России и Киев как образовательный и экономический центр. Образ последнего по масштабности, дороговизне жизни и уровню развлечений сближен со столичными образами Москвы/Петербурга.

Список литературы

Источники

Автобиографический очерк писательницы Елизаветы Шаховой — монахини Марии (1822–1899) / Публ. Е. М. Аксененко // Ежегодник Рукописного отдела на 2002 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 344–365.

Жданов М. П. Путевые записки по России, в двадцати губерниях: С. Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Симбирской. СПб.: Изд. В. Полякова, 1843. 212 с.

Левшин А. Письма из Малороссии. Харьков: Университетская тип., 1816. 206 с.

Исследования

Анненкова Е. И., Гоперхоева Д. Р. Мотив «...проездиться по России» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя и путевых записках 1840-х гг.: травелог в школьном и вузовском обучении // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2020. № 195. С. 164–174. <https://doi.org/10.33910/1992-6464-2020-195-164-174>

Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 376 с.

Булкина И. Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное: дис. ... д-ра философии по русской литературе. Тарту, 2010. 2010 с.

С. С. Жданов. Пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи (на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова)

Васильева Т. А. У истоков украинофильства: образ Украины в российской словесности конца XVIII – первой четверти XIX века: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2014. 232 с.

Киселев В. С., Васильева Т. А. «Под отечественным небом странствую с мирною душою»: образ Украины в русских травелогах начала XIX в. (В. В. Измайлов, П. И. Шаликов, А. И. Левшин) // Имагология и компаративистика. 2015. № 2 (4). С. 20–42.

Кублицкая О. В. Структура пространства в прозе массового сентиментализма (на материале «Писем из Малороссии» А. И. Левшина) // Пушкинские чтения – 2023. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст. Материалы XXVIII Международной научной конференции. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2023. С. 112–117.

Крюкова О. С. Романтический образ Украины в русской литературе XIX века. М.: Наука, 2017. 125 с.

Марчуков А. В. Образ Украины в русском сознании. Николай Гоголь и его время. М.: Регнум, 2011. 294 с.

Милюгина Е. Г., Строганов М. В. Документальность травелога и способы обобщения (по материалам Тверского Верхневолжья) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. № 1. С. 66–79.

Никанорова Е. И. «Особый город»: образ Нижнего Новгорода в «Путевых записках по России» М. П. Жданова // Нижегородский текст русской словесности: художественное постижение национальной ментальности. Нижний Новгород: Изд-во НГПУ им. К. Минина, 2021. С. 48–53.

Сторожева А. А. Образ степи в сентиментальных травелогах начала XIX века // Литература Древней Руси и Нового времени: материалы XI всероссийской конференции. М.: МПГУ, 2021. С. 155–161.

Топоров В. Н. Ветхий дом и дикий сад: образ утраченного счастья // Облик слова. М.: Русские словари, 1997. С. 290–318.

References

Annenkova, E. I., and D. R. Goperkhoeva. "Motiv '...proezdits'ia po Rossii' v 'Vybrannykh mestakh iz perepiski s druž'iami' N. V. Gogolia i putevykh zapiskakh 1840-kh gg.: travelog v shkolnom i vuzovskom obuchenii'" ["Motif '...Travel Through Russia' in 'Selected Parts from Letters to Friends' by N. V. Gogol and Travel Notes of the 1840s: Travelogue in the School and University Education"]. *Izvestiia Rossiiskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta imeni A. I. Gertsena*, no. 195, 2020, pp. 164–174. <https://doi.org/10.33910/1992-6464-2020-195-164-174> (In Russ.)

Bashliar, G. *Izbrannoe: Poetika prostranstva [Selected Works: Space Poetics]*. Moscow, Rossiiskaia politicheskaiia entsiklopediia Publ., 2004. 376 p. (In Russ.)

Bulkina, I. *Kiev v russkoi literature pervoi treti XIX veka: prostranstvo istoricheskoe i literaturnoe [Kiev in Russian Literature of the First Third of the 19th Century: History and Literature Space: DSc Dissertation]*. Tartu, 2010. 213 p. (In Russ.)

Vasil'eva, T. A. *U istokov ukrainofil'stva: obraz Ukrainy v rossiiskoi slovesnosti kontsa XVIII – pervoi chetverti XIX veka [At the Origins of Ukrainophilia: Image of the Ukraine in Russian Literature of the End of the 18th – the First Quarter of the 19th Century: PhD Dissertation]*. Tomsk, 2014. 232 p. (In Russ.)

Kiselev, V. S., and T. A. Vasileva. "Pod otechestvennym nebom stranstvuui s mirnoiui dushoiu': obraz Ukrainy v russkikh travelogakh nachala XIX v. (V. V. Izmailov, P. I. Shalikov, A. I. Levshin)" ["Under the Fatherland Sky, I Travel with the Peaceful Soul': Ukraine Images in Russian Travelogues of the Early 19th Century (V. V. Izmailov, P. I. Shalikov, A. I. Levshin)"]. *Imagologiya i komparativistika*, no. 2, 2015, pp. 20–42. (In Russ.)

Kublitskaia, O. V. "Struktura prostranstva v proze massovogo sentimentalizma (na materiale 'Pisem iz Malorossii' A. I. Levshina)" ["Space Structure in the Prose of the Mass Sentimentalism (Based on 'Letters from Little Russia by A. I. Levshin)']. *Pushkinskie chteniia – 2023. Khudozhestvenne strategii klassicheskoi i novoi slovesnosti: zhanr, avtor, tekst [Pushkin Readings – 2023. Fiction Strategies of Classic and New Literature: Genre, Author, Text]*. St. Petersburg, Leningradskii gosudarstvennyi universitet imeni A. S. Pushkina Publ., 2023, pp. 112–117. (In Russ.)

Kriukova, O. S. *Romatcheskii obraz Ukrainy v russkoi literature XIX veka [Romantic Image of Ukraine in Russian Literature of the 19th Century]*. Moscow, Nauka Publ., 2017. 125 p. (In Russ.)

Marchukov, A. V. *Obraz Ukrainy v russkom soznanii. Nikolai Gogol' i ego vremia [Ukraine Image in Russian Mind. Nikolay Gogol and His Time]*. Moscow, Regnum Publ., 2011. 294 p. (In Russ.)

Miliugina, E. G., and M. V. Stroganov. "Dokumental'nost' traveloga i sposoby obobshcheniia (po materialam Tverskogo Verkhnevolzh'ia)" ["Documentalty of the Travelogue and Methods of Generalization (Based on Materials of the Tver Upper Volga Region)"]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*, vol. 158, no. 1, 2016, pp. 66–79. (In Russ.)

Nikanorova, E. I. "Osobyi gorod': obraz Nizhnego Novgoroda v 'Putevykh zapiskakh po Rossii' M. P. Zhdanova" ["Special City': Image of Nizhny Novgorod in 'Travel

Русская литература XVIII–XIX столетий

С. С. Жданов. Пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи (на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова)

Notes Through Russia' by M. P. Zhdanov"]. *Nizhegorodskii tekst russkoi slovesnosti: khudozhestvennoe postizhenie natsional'noi mental'nosti* [Nizhny Novgorod Text of Russian Literature: Artistic Comprehension of the National Mentality]. Nizhny Novgorod, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogica University Publ., 2021, pp. 48–53. (In Russ.)

Storozheva, A. A. “Obraz stepi v sentimental'nykh travelogakh nachala XIX veka” [“Image of Steppe in Sentimentalism Travelogues of the Early 19th Century”]. *Literatura Drevnei Rusi i Novogo vremeni* [Literature of Old Russia and New Times]. Moscow, Moscow Pedagogical State University Publ., 2021, pp. 155–161. (In Russ.)

Toporov, V. N. “Vetkhii dom i dikii sad: obraz utrachennogo schast'ia” [“Wrecked House and Wild Garden: Image of the Lost Happiness”]. *Oblik slova* [Appearance of the Word]. Moscow, Russkie slovari Publ., 1997, pp. 290–318. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-64-81>
<https://elibrary.ru/КМОРГУ>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"19"

© 2024. М. Д. Кузьмина

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена г. Санкт-Петербург, Россия

Образ Петербурга в письмах А. И. Герцена 1839 г.

Аннотация: В статье исследуются декабрьские письма А. И. Герцена 1839 г., которые он писал из Петербурга, прибыв туда впервые и проведя там десять дней. Главной темой обсуждения в указанных письмах стала Северная столица. В глазах Герцена 1839 г. Петербург предстает городом европейской культуры, которую он узнает как «свою» и восторженно принимает. Писатель очарован в ней отдельными локусами (Эрмитаж, театр, Медный всадник и т. п.) и определенными людьми (В. А. Жуковским, В. Г. Белинским). С другой стороны, Петербург видится Герцену аномальным и inferнальным, принципиально «чужим» для него пространством (с холодным высшим светом, равнодушной «толпой» «посторонних», неблагоприятными погодными и климатическими условиями), вызывающим у него ужас и отторжение. Создаваемый писателем образ Северной столицы — органичная часть Петербургского текста русской литературы.

Ключевые слова: А. И. Герцен, петербургские письма, эпистолярный, травелог, путевой дневник, образ Петербурга, inferнальное пространство.

Информация об авторе: Марина Дмитриевна Кузьмина, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ул. Большая Морская, д. 18, 191186 г. Санкт-Петербург, Россия; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, набережная реки Мойки, д. 48, 191186 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1293-800X>
E-mail: mdkuzmina@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 29.02.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 04.05.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Кузьмина М. Д. Образ Петербурга в письмах А. И. Герцена 1839 г. // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 64–81. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-64-81>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 64–81. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 64–81. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Marina D. Kuzmina

St. Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design,
Herzen State Pedagogical University of Russia
St. Peterburg, Russia

The Image of St. Petersburg in A. I. Herzen's Letters in 1839

Abstract: The article examines the December 1839 letters of A. I. Herzen, which he wrote from St. Petersburg, having arrived there for the first time and spent ten days there. The main topic of discussion in these letters was the northern capital. In the eyes of Herzen in 1839, St. Petersburg appears as a city of European culture, which he recognizes as “his own” and enthusiastically accepts. The writer is fascinated by certain loci (the Hermitage, the theater, the Bronze Horseman, etc.) and certain people (V. A. Zhukovsky, V. G. Belinsky). On the other hand, St. Petersburg appears to Herzen as an anomalous and infernal, a space that is fundamentally “alien” to him (with a cold high society, an indifferent “crowd” of “outsiders,” unfavorable weather and climate conditions), causing him horror and rejection. The image of the northern capital created by the writer is an organic part of the St. Petersburg text of Russian literature.

Keywords: A. I. Herzen, Petersburg letters, epistolary, travelogue, travel diary, image of Petersburg, infernal space.

Information about the author: Marina D. Kuzmina, PhD in Philology, Associate Professor, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Bolshaya Morskaya St., 18, 191186 St. Petersburg, Russia; Herzen State Pedagogical University of Russia, Moika Emb., 48, 191186 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1293-800X>

E-mail: mdkuzmina@mail.ru

Received: February 29, 2024

Approved after reviewing: May 04, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Kuzmina, M. D. “The Image of St. Petersburg in A. I. Herzen's Letters in 1839.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 64–81. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-64-81>

Статья посвящена изучению образа Петербурга по письмам А. И. Герцена от декабря 1839 г., написанным в течение десяти дней, которые он провел в Северной столице. Эти письма в статье рассматриваются в свете традиций, с одной стороны, травелогов, с другой стороны, Петербургского текста русской литературы. Травелогои, как известно, были очень популярны в России в 1800–1830-е гг. Они нередко облекались в форму частных писем. Впервые прибыв в Петербург, создавая его объективно-субъективный образ, Герцен развивал традиции путевой литературы. И вместе с тем делал это очень по-своему, переосмысляя их и выходя за их рамки. Исследователи Петербургского текста уделили его образу Северной столицы незаслуженно малое внимание и практически совсем проигнорировали письма 1839 г. — то, с чего этот образ начинался, в чем проявилось его разительное своеобразие и вместе с тем аутентичность. Задачу восполнить этот пробел выполняет предпринятое исследование.

Н. П. Анциферов начал свою знаменитую книгу «Душа Петербурга» с А. И. Герцена, с зарисованного им в «Былом и думах» образа Венеции, в котором он, по мнению исследователя, запечатлел ее «душу». По его же наблюдению, ранее писателю это удалось и в отношении Северной столицы. Н. П. Анциферов, правда, опирается на герценовские сочинения периода полемики западников и славянофилов и последующие. Он выделяет Герцена на фоне его современников: «К сожалению <...>, для обоих борющихся групп Петербург оставался только символом. Славянофилы не знали его лица и знать не хотели. <...>. Но и западники, защищавшие дело Петра, не знали души Петербурга, да и как-то не умели к ней подойти. В сущности, они не любили Петербурга <...>. Один Герцен сумел заглянуть в подлинный лик города...» [Анциферов: 97–98]; «...Герцен был слишком многогранен и чуток, чтобы душа Петербурга не взволновала <...> его» [Анциферов: 99]. В действительности же она стала открываться ему уже в 1839 г., когда

он впервые прибыл в Северную столицу и пробыл в ней десять дней (с 14 по 23 декабря), в течение которых ежедневно писал письма, рисуя в них ее образ и делаясь впечатлениями. Эти послания не попали в сферу внимания не только Н. П. Анциферова, но и В. Н. Топорова. Исследуя в своем знаменитом труде Петербургский текст русской литературы, ученый недооценил вклад в него Герцена, едва упомянув имя писателя, также в связи с воззрениями западников и славянофилов — и лишь отметив, что он наряду с Белинским создал «публицистический», отчасти «пред-историософский» образ Петербурга» [Топоров: 24]. В его декабрьских письмах 1839 г. этот образ еще не «публицистический» и не «пред-историософский», однако не менее интересный. Особенно любопытно, что в нем исподволь раскрываются глубинные смыслы образа города и Петербургского текста, выявленные в исследовании В. Н. Топорова на основе рецепции других литераторов.

В течение десяти декабрьских дней, проведенных в Петербурге, Герцен ежедневно писал своей молодой супруге Наталье Александровне, оставшейся во Владимире с их полугодовалым сыном. Ей адресовано шесть писем, некоторые из них создавались в течение нескольких дней. И лишь одно письмо было направлено другому адресату — их общему другу, жене владимировского губернатора Юлии Федоровне Курута. Все семь рисуют целостный образ герценовского Петербурга.

Создававшиеся ежедневно, письма к жене представляют собой, по точному наблюдению М. К. Перкаля, «...своеобразный дневник <...> пребывания в столице» [Перкаль: 31]. Надо отметить, что дневник одновременно личный и путевой. Сознательно или нет, Герцен развивает традиции обоих жанров в своем эпистолярном тексте. Приватные письма, как и личный дневник, предполагали непринужденность и доверительность, фиксирование и наблюдений, и впечатлений. Те же возможности давал путевой дневник и в целом травелог, очень популярный в первой трети XIX в. Характерно, что он зачастую облекался в форму приватного письма. Традиции травелога оказались наиболее актуальны для петербургских писем Герцена, поскольку он только что впервые и ненадолго прибыл в Северную столицу, находясь в ней в качестве гостя-путешественника.

В соответствии с этими традициями, молодой эпистолограф ориентирован на описание пути и сообщение впечатлений («Вот тебе подробности путевые. Поехал я 11-го в дилижансе, погода была скверная,

гостиницы зато прекрасные...» [Герцен 22: 61]), с одной стороны, подчиненное логике (это логика самой траектории движения, а также переход от внешнего к внутреннему, от очевидного к неочевидному, от панорамного к детальному и т. д.), а с другой — непосредственное, ведь свобода — неотъемлемая составляющая путешествия, тем более путевых записей в форме частных писем (ср.: «...я здесь еще не огляделся. <...> не сердись на мои бессвязные записки, дай устояться», «...все еще волнуется, беспорядок ужасный, много-много нового — образов и мыслей, ощущений и Бог знает чего; все это еще не приняло формы, неясно» [Герцен 22: 61]). Эти письма нацелены и на охват привычных для путешественников аспектов темы: погода, природа, пейзажи, архитектура, достопримечательности, культурная жизнь — театры, музеи. В традициях травелога, наконец, и сопоставление того нового, «чужого», что открылось взгляду, со «своим».

Тем очевиднее на фоне этих «топосов» путевых текстов — своеобразие герценовского. Молодой эпистолограф вроде бы посещает те же места, что и все приезжающие, однако то и дело отклоняется от общепринятого туристического маршрута под влиянием личных впечатлений, интересов и предпочтений. Так, почти сразу по прибытии он отправился в родное для супруги и, следовательно, дорогое для него самого пространство: дом, где прошло ее раннее детство. Заключение о нем делается объективно-субъективное, с акцентом на второй компонент: «...сегодня был я в вашем доме и ушел скоро, что-то грустен он, разваливается» [Герцен 22: 61], — столь значимый, что им определяется поведение автора письма («ушел скоро»), и обозначенное им состояние переносится на сам дом («что-то грустен он»). Еще одно место, также посещенное Герценом сразу по прибытии, — Сенатская площадь, связанная, понятно, с восстанием декабристов, событием, дорогим для молодого писателя, въехавшего в Петербург как раз в его годовщину — 14 декабря. Налицо очень характерный для Герцена синтез личного и сверхличного, общественно значимого. Сверхличному, гражданскому — служению Родине и человечеству — он смолоду, с момента клятвы на Воробьевых горах, посвятил свою жизнь; так что это служение принципиально неотделимо у него от личного, от всей жизни. Но если отзываться о доме детства в письмах супруге можно было совершенно свободно, то развивать тему памяти декабристов в переписке, которая, вероятно, будет перлюстрирована, тем более что он только что освободо-

дился из ссылки, — было невысказано. Она едва означена упоминанием о находящемся на площади на тот момент недостроенном соборе: «Хороша будет Исаакиевская церковь...» [Герцен 22: 61–62]. Как известно из написанных годы спустя «Былого и дум», Герцен поднял тему декабристов в тот же вечер, 14 декабря 1839 г., вернувшись в гостиницу и застав у себя двоюродного брата С. Л. Левицкого, в разговоре с ним, к ужасу своего посетителя.

Посещая общепринятые туристические места, Герцен их воспринимает глубоко лично. В обычном для путевой литературы сочетании объективного и субъективного акцент вновь делается на вторую составляющую. Так, из всех архитектурных достопримечательностей писателем выделен Зимний дворец, затмивший для него все остальные здания, оставшиеся как бы не увиденными и не описанными, вопреки традиции травелогов; так что полной картины Северной столицы в письмах нет: «Всего больше меня поразил Зимний дворец своей наружностью, я не смотрел, стоя у колонны, ни на главный штаб, ни на министерство, а на один дворец — лучше я ничего не видывал...» [Герцен 22: 61], «...одно здание привело меня в восторг — это Зимний дворец, дивно-чудное здание...» [Герцен 22: 63]. Из всех памятников увиден Медный всадник — и воспринят опять очень по-своему: «...чудно хорош и монумент Петра, но в нем мне именно все нравится, кроме Петра: какое-то натянутое, педантски-академическое положение, зато лошадь и огромная масса гранита как пьедесталь (так в тексте письма. — М. К.) великому царю выкупают все» [Герцен 22: 62]. Нельзя не заметить в этих словах иронию. В них изящно выражено герценовское непринятие монархии. Отринув фигуру Петра — центр, «душу» монумента, — гость-путешественник его восхваляет, принимая в нем, во-первых, «лошадь» (характерен выбор лексемы — «лошадь», а не «конь», за счет чего идет снижение образа, его дегероизация), во-вторых, «массу гранита», — восхваляет, разумеется, ехидно.

Характерно, что Герцена привлекают архитектурные и культурные артефакты. Как показал Ю. М. Лотман, это часть семиотики и символики Северной столицы, неотъемлемая часть облика которой — «камень», но «...не “природный”, “дикий” (необработанный), не скалы, искони стоящие на своих местах, а принесенный, обточенный и “человеченный”, окультуренный. Петербургский камень — артефакт, а не феномен природы» [Лотман: 32–33].

Эти общезначимые и общеизвестные артефакты молодой эпистолограф воспринимает и передает по-своему. Как можно видеть, то ощущения (в отношении Зимнего дворца), то суждения (в отношении Медного всадника) у него берут верх. С опорой на ощущения и суждения делаются промежуточные выводы: «...первое впечатление по въезде было не в пользу Петерб<урга>...» [Герцен 22: 64], «Я больше и больше вглядываюсь в Петерб<ург>. Ко многому привык, ко многому никогда не привыкну» [Герцен 22: 64]. Их своеобразие под пером Герцена — в предельной лаконичности, сдержанности и безоценочности. Он не спешил с выводами, желая проверить свои впечатления. В его письмах гораздо весомее роль умозаключений, чем у его современников, авторов многочисленных травелогов, что тем более примечательно, ведь он выступает в роли автора не травелога, а семейных писем, где мог бы дать волю впечатлениям. Уже в этих письмах он предстает писателем-мыслителем, которым он, как известно, и войдет в историю русской литературы.

Обычное для травелогов сопоставление «чужого», нового, впервые открывшегося взгляду, и «своего» играет, в этой связи, архиважную роль в письмах Герцена, но тоже репрезентируется очень своеобразно. В роли «своего» выступает не только и не столько московское, как можно было бы ожидать, сколько европейское. То есть традиция выворачивается наизнанку, ведь в соответствии с ней путешественник, прибывший на Запад, соотносил западные реалии с родными, русскими — скажем, с теми же московскими. Между тем Герцен в Европе на тот момент даже не был, только мечтал совместно с Натальей Александровной посетить ее. Одной из целей его поездки в Петербург было испросить разрешение на путешествие. И однако из письма в письмо повторяется: «Всего больше меня поразил Зимний дворец <...> — лучше я ничего не видывал даже на картинах, он что-то припоминает Эскуриал, впрочем» [Герцен 22: 61], «...может, одни Pallazzi в Венеции и Эскуриал могут стать с ним на одну доску...» [Герцен 22: 63], «...меня поразила Loggia Рафаэля, сделанная совершенно по ватиканской» [Герцен 22: 67]. Более того, соотносится не только петербургское с европейским, но и европейское с европейским. В таком ключе, например, эпистолограф отзывается о картинах, экспонируемых в Эрмитаже («Фламандская школа. Страсть люблю эти сцены, вырванные из клокущей около нас жизни, это другая сторона искусства. У итальянцев идеализация тела,

здесь — жизни» [Герцен 22: 67]) и о Зимнем дворце («...самый беспорядок этих пристроек, дополнений, разнохарактерность частей, — все придает ему то широкое, многообразное изящество, которое находим мы в трагедиях Шекспира» [Герцен 22: 63]). Это европейское, знакомое книжно, но превосходно. Оно стало неотъемлемой частью личности, ее культурного фонда — настолько непринужденно припоминается и становится мерилom для оценки нового; настолько восхищает — лейтмотивом звучит: «меня поразил», «поразила», «страсть люблю» и т. п. Это восторг не в отношении увиденного нового (в данном случае петербургского), как обычно бывает в травелогах, а в отношении «своего», в данном случае европейского. В Герцене уже к концу 1830-х гг. виден русский европеец, будущий западник.

Характерно, что при посещении театров его выбор пал на постановку пьесы Шекспира (в Александринском театре), выступления французской труппы (в Михайловском, где он посмотрел комедию «Фрискати, или Государственная тайна» и водевиль «Парижский мальчишка») и прославленной итальянской балерины Марии Тальони (на сцене Большого театра); перед отъездом он послушал оперу Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» (также в Большом). И в Эрмитаже гость-путешественник проявляет интерес к европейскому искусству. Он выделяет прежде всего шедевры Рафаэля, особенно «Мадонну». Обращает внимание на работы фламандского живописца Д. Тенирса, голландца А. ван Остаде и т. п. Правда, это была самая крупная коллекция Эрмитажа, насчитывавшая около восьмисот полотен. Наверное, она не могла не обратить на себя его внимания. Возможно, и в целом Петербург, проевропейский город, располагал новоприбывшего к рецепции в первую очередь плодов европейской же культуры. Либо это совпадения, которых, впрочем, многовато. Как бы то ни было, письма Герцена свидетельствуют о его интересе к западному искусству и о непрофессиональном, разумеется, но тем ценнее — знании этого искусства. Характерна его требовательность к себе, неудовлетворенность достигнутым — поверхностным, на его взгляд, — уровнем («Несколько картин Рафаэля — узнал ли бы я его без подписи? Из всех узнал бы одну (<...> это моя уозьть <...>) — Мадонна и старик Иосиф» [Герцен 22: 66]); характерны и, с одной стороны, стремление делать свои собственные наблюдения, выносить суждения о европейских произведениях искусства, с другой — желание выразить к последним личное отношение,

которое, как показывают письма, у него всегда имеет место. Суждения и впечатления под его пером обычно предстают нераздельными. В совокупности они выражают две дополняющие друг друга грани герценовского европеизма и еще раз свидетельствуют о глубокой укорененности, органичности у него этого умонастроения.

Интересно, что Герцен описывает свое посещение Эрмитажа в той же традиции, в какой Карамзин в «Письмах русского путешественника» и авторы последующих травелогов описывали посещение европейских галерей — в частности, Дрезденской. Удивительная на первый взгляд, эта его стратегия может быть объяснима тем, что его интересуют подобные экспонируемые в них европейские шедевры. Предшественники молодого эпистолога тоже стремились к сочетанию суждений и впечатлений, тоже отмечали, что исчерпывающая характеристика увиденного невозможна (ср. у Герцена: «...не жди ни описаний, ничего. Какой гигант должен быть тот, кто может сразу оценить, почувствовать, восхищаться 40 залами картин. Тут надобно месяц времени» [Герцен 22: 66]), тоже создавали его объективно-субъективные образы. Специфика герценовских — в том, что они менее объективны (это и понятно, ведь он пишет письмо к жене, а не травелог для широкого круга читателей с целью в том числе их просвещения), но одновременно и менее субъективны, по сравнению с запечатленными в частных письмах многих авторов. К примеру, Ивана Киреевского, который увидел в «Мадонне» свою сестру «Машку» [Киреевский: 292]. Совсем в другом ключе герценовская рецепция картины: «Чем дольше я всматривался в черты Мадонны, тем отраднее становилось в душе, слезы навертывались, какая кротость и бесконечность во взоре, какая любовь струится из него, вот так человеческое лицо есть отпечаток Божественного духа. И Ребенок очень хорош, Он как-то *задумчиво* (курсив Герцена. — М. К.) улыбается Иосифу...» [Герцен 22: 66–67]. Никакой фамильярности (несмотря на то, что в добрачной переписке он уподоблял «Мадонне» свою Наталью Александровну, на тот момент невесту; ср.: «...здорова ди ты, мой ангел, моя Мадонна?» [Герцен 22: 229], «Любовь — она одна должна была преобразить меня. И явилась ты — моя Мадонна!» [Герцен 22: 234]), низведения шедевра до бытового уровня — и вместе с тем никакой формализации. Герценовская рецепция искренняя, живая, личная (более живая и личная, чем в письмах Петра Киреевского), убедительная. Думается, ему удалось достичь оптималь-

ного для частного письма синтеза объективного и субъективного, при ведущей роли второго компонента. Его ведущая роль была обусловлена во многом тем, что это письма к супруге, автор и адресат — оба идеалисты (хотя к концу 1830-х гг. период их молодости и романтической восторженности завершился), для которых важнее всего душа и отнюдь не внешняя, а внутренняя жизнь. Более того, они планируют переезд в Петербург (по настоянию отца Герцена, И. А. Яковлева, полагавшего, что сын сможет там быстрее получить чин коллежского асессора, дававший дворянство и право наследовать имение) — соответственно, для них вопрос первостепенной значимости, насколько это их город, каково им будет там. Проведшая в Петербурге только первые годы жизни, Наталья Александровна его не помнила, не знала, так что автор писем составляет о нем объективно-субъективное представление с акцентом на второй компонент — для себя и для нее.

Въезжавший в Северную столицу, по точному наблюдению Е. Л. Румановской, с «романтическими ожиданиями» [Румановская: 306] (характерны строки из первого письма: «Петербург будет для меня великой поэмой, которую я буду читать...» [Герцен 22: 61]), Герцен, думается, в соответствии с ними же попытался увидеть город с его чарующей путешественника неоспоримо выигрышной стороны. Исследовательница справедливо заметила, что Зимний дворец описывается Герценом в письмах 1839 г. «...с эстетической, а не с политической точки зрения...» [Румановская: 306], тогда как «через 16 лет, рассказывая в “Былом и думам” об этой поездке и о пребывании на петербургской службе в 1840–1841 гг.», автор обрисует «ярчайшую картину монаршего и полицейского произвола, выражением которого стал в его произведении Петербург» [Румановская: 307], — обрисует, «...оставляя за скобками <...> архитектурные красоты...» [Румановская: 308]. Вообще образ Петербурга под его пером будет обретать, с одной стороны, многогранность, с другой — как ни парадоксально, однобокость. Он будет сильно политизироваться и оцениваться резко негативно [Перкаль; Румановская; Штейнгольд]. «Былое и думы», как и многие другие поздние сочинения Герцена, будут создаваться на Западе после эмиграции. Пока же, в России, в письмах, которые могут быть доступны для чужих глаз, Герцен, разумеется, не имел возможности свободно изъясняться. И, кроме того, он на тот момент, в десять декабрьских дней, проведенных в Северной столице, еще не открыл для себя в полной мере со-

средоточенную в ней «картину монаршего и полицейского произвола». Наблюдение Е. Л. Румановской справедливо в отношении не только Зимнего дворца. Одна из ярчайших особенностей образа Петербурга в герценовских письмах 1839 г. — его «эстетичность». Он строится очень выборочно: внимание эпистолографа сосредоточено на объектах культуры. Видя связь между залами Эрмитажа и трагедиями Шекспира, посещая постановки пьес последнего в театре, молодой романтик «читает» Петербург как «поэму», как книгу. Эстетическую сторону Петербурга он готов принимать даже с «восторгом».

Второе, что он готов принимать в Петербурге тоже с «восторгом», — это люди. Прибыв в Северную столицу, Герцен посещает родных, друзей, собратьев по перу: брата и сестру Натальи Александровны А. А. Яковлева (Химика) и А. А. Орлову, друга отца О. А. Жеребцову, В. А. Жуковского; видится и продолжает начатые в Москве споры с В. Г. Белинским.

Но ни «человеческая», ни «эстетическая» сторона Петербурга не повлияют на итоговое — отрицательное — заключение Герцена о нем, взвешенное, сделанное уже по выезде из него, в Москве. Оно основывается на сравнении с ней как со «своим» пространством, сравнении в ее пользу: «Я смертельно обрадовался, въехав в Москву. Москва не заменится в моей душе Петерб<ургом>, и не по одним воспоминаниям. Петербург, холодный, угрюмый, полурусский, покрытый туманом, совсем не то, что наша Москва, звонящая тысячью колоколами, народная. А климат Петерб<урга>! Я там не видал солнца; жить там всегда страшно и подумать» [Герцен 22: 68–69]. Это суждение подготавливалось исподволь.

От письма к письму под пером Герцена в образе Петербурга аккумулируются субъективные семы — странно, безрадостно, страшно: «...я в Петербурге, не странно ли...» [Герцен 22: 61], «...я уныл <...> я грустен, не пора ли домой?» [Герцен 22: 62], «Мы готовимся переехать сюда, много страшного в этом» [Герцен 22: 62], «...здесь ежели люди мешают мне меньше, нежели в Москве, так дома, улицы мешают, и не то чтоб я на них радовался, или чему-нибудь радовался, нет, как-то первое впечатление по въезде было не в пользу Петерб<урга>, и сердце сжалось, и до сих пор не доступно истинной радости...» [Герцен 22: 62], «Мне что-то страшна и даль от Владимира, и одиночество в этой огромной массе людей; должно быть, я скоро отсюда уеду. Я здесь не дома, в дили-

жансе я как-то привык жить, а здесь нет» [Герцен 22: 63], «Климат здесь для непривыкшего ужасный...» [Герцен 22: 67], «А климат Петербурга! Я там не видал солнца; жить там всегда страшно и подумать» [Герцен 22: 69], «Этот ужасный и решительный вопрос — Москва или Петербург (как место жительства. — М. К.) — так страшно явился, и требовал, как в военном суде, решения в 24 часа...» [Герцен 22: 69]. Налицо градация: странно — страшно — ужасно.

Петербург в глазах Герцена — город отсутствия основных составляющих жизни: воды («А моря нет, и Невы нет» [Герцен 22: 62] — декабрь, река покрыта льдом), солнца, света, тепла («...мне кажется, с тех пор, как я приехал, все продолжается одна вьюга, неба не видать, дни продолжаются 4 часа, и темным, холодным ночам не помогают газовые фонари» [Герцен 22: 67], «...солнце здесь живет бонтонно, встает в 10-м часу утра и такое бледное, торопливое, как все петербургские жители...» [Герцен 22: 63]); город, погруженный во тьму и холод. Обретшие экспансию, тьма и холод гиперболизируются. Петербург предстает непригодным для жизни (примечательна, в частности, нездоровая «бледность» жителей), inferнальным и фантазмагоричным.

Симптоматично, что в нем нет не только света и тепла, но и Невы — одного из неотъемлемых атрибутов, лица города, наряду с Зимним дворцом, Медным всадником, Невским проспектом. Последний Герцен вовсе не описывает, его как бы нет. Вместе с тем — то есть, то нет; и есть, и нет. Образ Петербурга предстает мерцающе-переменчивым, миражным. В какой-то момент эпистолограф признается, что испытал желание «...бежать к Неве, на Невский проспект...» [Герцен 22: 64]. Аналогично в отношении людей. Их как бы нет — герценовский Петербург ненаселен, пуст. Вместе с тем они есть: речь идет и об отдельных близких людях, с которыми состоялись бесценные встречи, и об «огромной массе людей», в которой «одинок», о «петербургских жителях», «бонтонных», «бледных» и «торопливых», под стать петербургскому солнцу. Они есть, их много, но они неживые — это холодный высший свет, «толпа», «посторонние» (последнее слово — одно из очень употребительных в герценовском лексиконе). Они вдвойне чужие новопривышему. Вероятно, по обеим причинам их как бы нет. Схожим образом эпистолограф изображает климатические условия — минус вдруг меняется на плюс. Правда, лишь в прогнозе, если он не обманет: «...все продолжается одна вьюга, неба не видать <...>. Зато обещают чудные

ночи в мае, на берегах Невы — и их-то мы увидим вместе, мой друг!» [Герцен 22: 67], «А климат Петер<бурга>! Я там не видал солнца; жить там всегда страшно и подумать. <...>. Но дело решено. И мы весною в Петерб<урге>, а Петер<бург> весною хорош, и у него есть майские ночи, лунные, приморские» [Герцен 22: 69]. «Лунные» белые ночи — парадокс, родившийся под пером никогда не видевшего белых ночей москвича, но парадокс, очень органичный в общем контексте петербургских писем Герцена, венчающий целую цепочку соприродных ему парадоксов¹.

Герценовский Петербург оказывается схож с его же Вяткой, местом недавней ссылки (и даже превосходит ее в отношении странно-страшного, поскольку она была inferнальна, но не фантазмагорична [Кузьмина 2011; Кузьмина 2012]), еще более — с гоголевским Петербургом. Автор писем по-своему вторит автору «Невского проспекта» (1835), «Носа» (1836) и других «петербургских» повестей, репрезентирующих гротескный, абсурдно-аномальный образ Северной столицы — пространства мертвяще-темного, холодного, странно-страшного, в котором возможны самые немыслимые превращения, — как, в частности, сформулировано в знаменитых строках первой из них: «Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект (метонимическое обозначение всего Петербурга. — М. К.), но более всего тогда, когда ночь стуженною массою наляжет на него <...>, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» [Гоголь: 45–46]. И, опять же, герценовский Петербург превосходит гоголевский в плане странно-страшного. В нем «продолжается одна вьюга, неба не видать». В нем не слышно никаких звуков — это зияюще-мертвая пустота. Город предстает inferнальным и гротескно-фантазмагоричным не потому, что он чиновничий, ориентированный на ложные — материальные — ценности (деньги, карьера), как

¹ Они не уйдут из герценовского образа Петербурга и годы спустя. Анализируя статью 1842 г. «Москва и Петербург», А. М. Штейнгольд обращает внимание на такие из них, как «фронты и разводы мирных военных занятий», «поэты в III отделении собственной канцелярии» и «III отделение собственной канцелярии, занимающейся поэтами» и пр. [Штейнгольд: 280].

в повестях Гоголя. Герцен и сам планирует там служить, подобно их персонажам. В его глазах Петербург инфернален и гротескно-фантастичен на экзистенциальном уровне — такова сама его природа, это ничем земным в достаточной степени не мотивировано, и это открывается душе (хотя, конечно, нельзя не учитывать того, о чем умалчивается в письмах, но что прочитывается между строк: в понимании их автора — это центр имперской власти, от которой и он сам, и не только он пострадал; и как еще пострадает в 1840-е гг., когда поселится в Северной столице). Ей открывается «душа Петербурга». Очень интересны многочисленные совпадения в герценовском образе Северной столицы с ее смыслами, выявленными в труде В. Н. Топорова на другом, «негерценовском» материале. Ср.: «...призрачный, миражный Петербург», неотделимый от «мифа и всей сферы символического» [Топоров: 7], «бесчеловечный» город, «бездна, “иное” царство, смерть» [Топоров: 8], город, вызывающий «метафизический страх», «ужас жизни» [Топоров: 30]; «эсхатологичный» город [Топоров: 47] и т. п.

Как можно видеть, «ужас» связан у Герцена по большей части с природной стороной Петербурга. Под его пером своеобразно и очень ярко преломилась отмеченная Ю. М. Лотманом «...вечная борьба стихии и культуры», реализуемая «...в петербургском мифе как антитеза воды и камня» («артефакта, а не феномена природы») [Лотман: 32].

Эстетическая сторона Северной столицы (Эрмитаж, театры) и близкие сердцу люди лишь отчасти примиряют — и одновременно принципиально не примиряют Герцена с Петербургом. Думается, постольку, поскольку, собственно, Петербургу не совсем принадлежат. И музейные экспонаты, и люди легко могут быть перемещены в другое пространство. Да даже и сейчас они представляют либо европейское, либо личное (родственные и дружеские связи) пространство — внутри петербургского. Симптоматично, что они и не учитываются Герценом в его итоговой оценке Северной столицы на страницах московского письма. Пребывание в этих двух внутренних — личном и европейском — пространствах стало для гостя-путешественника отдушиной во внешнем странно-страшном петербургском, попыткой выжить в нем, противостоять его мертвящему влиянию. Как еще более действенное «противоядие» Герцен воспринимает письма «своей Наташи» [Герцен 22: 64], возвращающие ему простор души (а то ведь по прибытии в Северную столицу у него «сердце сжалось» [Герцен 22: 64])

и замерло в этом состоянии), радость жизни. Символично, что именно после их получения и означенных внутренних преобразований путешественник начинает видеть исчезнувшие было Неву и Невский проспект («Пришел домой — твое письмо. Я прочел его — и точно, как бывало в Вятке, мне сделалось узко в комнате, захотелось бежать к Неве, на Невский проспект...» [Герцен 22: 64]). Мираж, фантазмагория Петербурга лишаются власти над ним. Наталья Александровна выполняет ту же функцию его спасения, что и в годы вятской ссылки (ср. в его письмах к ней того периода: «...твое письмо потрясло меня, и это не первый раз. Оттаял лед души моей» [Герцен 21: 48], «...твои записки на меня имеют дивное действие: это струя теплоты на морозе, дыхание ангела на мою больную грудь. Завидую твоей чистоте, святости твоей души» [Герцен 21: 50], «Отдаленный от всех друзей, один голос вызывал меня из тяжелого усыпления, и этот голос был не мужской, а чистый голос, святой голос девы, и эта дева — ты, да, твои записки всегда пробуждали меня...» [Герцен 22: 57] и т. п.), однако симптоматично, что этот сюжет и образно-метафорический ряд теперь в письмах не развиваются. Герцен постепенно изживает юношескую мечтательность.

Полномочия Натальи Александровны оказываются ограничены против петербургского пространства. Взяв над гостем-путешественником такую власть, Петербург подтверждал свою инфернально-фантазмагорическую сущность, отображенную в герценовских письмах. Пребывая в этом пространстве, их автор становится ему подобен — «перенимает» его онтологические качества. Петербург «угрюмый» [Герцен 22: 68] — и он «уныл», «грустен» [Герцен 22: 62], у него «сердце сжалось, и <...> не доступно истинной радости» [Герцен 22: 64]. Петербург «полурусский» [Герцен 22: 68] — и его влечет в Петербурге исключительно западноевропейское искусство. Петербург абсурдно-фантазмагоричен, парадоксален — и его поведение утрачивает логичность: несмотря на произведенное Северной столицей неприязненно-жуткое впечатление, Герцен принимает решение туда переехать. Очевидно, не в последнюю очередь надеется на спасительное сопребывание с ним в дальнейшем в этом городе «его Наташи» и их маленького сына; на то, что они создадут в петербургском свое пространство, способное противостоять петербургскому. Определяется очевидная градация: пространство души (одно на двоих, так как одна на двоих душа; ср. строки к нему его еще более восторженно-романтической, чем он сам,

супруги: «...ты со мною, во мне, <...> наши души одна душа...» [Из владимирской жизни: 74], — продолжавшие любимую тему добрачной переписки) — семьи — Петербурга. Градация, на первый взгляд, восходящая — по принципу расширения. В действительности же нисходящая, ведь, по убеждению обоих супругов, первые два больше третьего. «...Удивительно необъятна душа человека, — писал Герцен Наталье Александровне, — что может ее наполнить до краев? Океана мало, Петербурга мало; может одно — душа любящая» [Герцен 22: 62].

Пока же Герцен, разрывая путы петербургского пространства, в котором пробыл десять дней вместо планировавшихся трех недель, выбрался в Москву, где наполовину прозрел — составил его итоговую характеристику, однако не отказался от решения переехать туда с семьей. «...Вчера вечером очутился здесь, — пишет он жене из Москвы, — и все, что надобно, сделал, никто глазам не верит, что я в самом деле я, и не на Невском проспекте, а на Арбате. Любовь носит быстро, я летел к тебе, мой друг, и дни через четыре <...> поскачу во Владимир» [Герцен 22: 68]. Характерны выбранные автором этих строк «стремительные» глаголы — «очутился», «летел», «поскачу». Все три актуализируют нарративные стратегии волшебной сказки, называя действия, возможные в фантастическом, но никак не в реальном пространстве. Первый, «очутился», — в наибольшей степени: совершенно неожиданно и невероятно, вопреки законам физического мира, будто по мановению волшебной палочки. Второй — в меньшей, но тоже очень выраженной: «летел» — будто на ковре-самолете либо на птице. Третий — в еще меньшей степени: «поскакать» можно, конем, но можно и верхом на коне. Все три следующие друг за другом предиката как бы визуализируют постепенное высвобождение автора письма из власти фантазмагорического пространства и возвращение в реальный мир. Его, опять же в соответствии с традицией сказки, возвратившегося из пути-дороги после испытаний, ждет его любимая и семейное счастье. Вместе с тем примечательно, что два последних предиката — «лететь» и «скакать» — входят в число наиболее характерных, как показало исследование В. Н. Топорова, для Петербургского текста [Топоров: 61]. Влияние образа Северной столицы на Герцена оказалось неизгладимым.

В петербургском пространстве, куда он прибыл восторженным романтиком, с соответствующими ожиданиями, всего за десять декабрьских дней 1839 г., там проведенных, под его влиянием — Герцен начал

меняться, как свидетельствуют его письма: их содержание, система образов, сама тональность. Он изживал свой юношеский идеализм, обращаясь от мира мечты — к действительности. Приближался период кризиса и «разочарования» [Фреде], вместе с тем — период возмужания. Завершая в конце 1830-х гг. романтическую эпоху своей жизни, Герцен вступал в эпоху личностной и писательской зрелости.

Список литературы

Источники

Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 21, 22.

Гоголь Н. В. Невский проспект // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: АН СССР, 1938. Т. 3. С. 9–46.

Из Владимирской жизни Герценов. Письма мужа и жены (Публ. Е. С. Некрасовой) // Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1898. С. 68–102.

Киреевский И. В. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. СПб.: Росток, 2018. Т. 1. 608 с.

Исследования

Анциферов Н. П. Душа Петербурга. СПб.: Изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1922. 227 с.

Кузьмина М. Д. Категория пространства в письмах А. И. Герцена 1830-х годов // Десятые Герценовские чтения: материалы Всеросс. науч. конф.. Киров: Кировская областная научная б-ка им. А. И. Герцена, 2012. С. 120–141.

Кузьмина М. Д. «Инфернальный фон» провинции и рецепция жанра «путешествия» в повести А. И. Герцена «Записки одного молодого человека» // Русская литература XI–XXI веков: проблемы типологии, поэтики, интерпретации, перевода. Стамбул: Изд-во Фатих Университета, 2011. С. 158–173.

Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ученые записки Тартуского государственного университета. СПб.; Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1984. Вып. 664: Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам VIII. С. 30–44.

Перкаль М. К. Герцен в Петербурге. Л.: Лениздат, 1971. 215 с.

Румановская Е. Л. Петербург глазами А. И. Герцена // Печать и слово Петербурга (Петербургские чтения — 2007): сб. науч. тр. СПб.: СПГУТД, 2008. С. 306–314.

Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // *Топоров В. Н.* Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство, 2003. С. 7–118.

Фреде В. История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском кругу А. И. Герцена — Н. П. Огарева 1830–1840-х гг. (Пер. с англ. С. Силаковой) // Новое литературное обозрение. 2001/3. № 49. С. 159–190.

Штейнгольд А. М. Москва и Петербург в интерпретации В. Г. Белинского и

А. И. Герцена // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения — 2003). СПб.: Петербургский ин-т печати, 2003. С. 277–282.

References

Antsiferov, N. P. *Dusha Peterburga* [*The Soul of Petersburg*]. St. Petersburg, “Brokgauz-Efron” Publ., 1922. 227 p. (In Russ.)

Kuz'mina, M. D. “Kategoriia prostranstva v pis'makh A. I. Gertsena 1830-kh godov” [“The Category of Space in A. I. Herzen’s Letters of the 1830s”]. *Desiatye Gertsenovskie chteniia: materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii* [*The 10th Herzen Readings: Proceedings of All-Russian Scientific Conference*]. Kirov, Herzen Kirov Regional Scientific Library Publ., 2012, pp. 120–141. (In Russ.)

Kuz'mina, M. D. ““Infernal'nyi fon' provintsii i retseptsii zhanra ‘puteshestviia’ v povesti A. I. Gertsena ‘Zapiski odnogo molodogo cheloveka.’” [“The ‘Infernal Background’ of the Province and the Reception of the ‘Travel’ Genre in A. I. Herzen’s Story ‘Notes of a Young Man.’”] *Russkaia literatura XI–XXI vekov: problemy tipologii, poetiki, interpretatsii, perevoda* [*Russian Literature of the 11th–21st Centuries: Problems of Typology, Poetics, Interpretation, and Translation*]. Istanbul, Fatikh Universitet Publ., 2011, pp. 158–173. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. “Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda” [“Symbolism of St. Petersburg and Problems of Semiotics of the City”]. *Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta* [*Scientific Notes of Tartu State University*], issue 664: Semiotika goroda i gorodskoi kul'tury. Trudy po znakovym sistemam VIII [Semiotics of the City and Urban Culture. Works on Sign Systems VIII]. St. Petersburg, Tartu, Tartu State University Publ., 1984, pp. 30–44. (In Russ.)

Perkal', M. K. *Gertsen v Peterburge* [*Herzen in St. Petersburg*]. Lenngrad, Lenizdat Publ., 1971. 215 p. (In Russ.)

Rumanovskaia, E. L. “Peterburg glazami A. I. Gertsena” [“St. Petersburg Through the Eyes of A. I. Herzen”]. *Pechat' i slovo Peterburga (Peterburgskie chteniia — 2007)* [*The Press and Word of St. Petersburg (St. Petersburg Readings — 2007)*]. St. Petersburg, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design Publ., 2008, pp. 306–314. (In Russ.)

Toporov, V. N. “Peterburg i ‘Peterburgskii tekst russkoi literatury.’” [“St. Petersburg and the ‘St. Petersburg Text of Russian Literature.’”] Toporov, V. N. *Peterburgskii tekst russkoi literatury* [*St. Petersburg Text of Russian Literature*]. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2003, pp. 7–118. (In Russ.)

Frede, V. “Istoriia kollektivnogo razocharovaniia: druzhba, нравstvennost' i religioznost' v družeskom krugu A. I. Gertsena — N. P. Ogareva 1830–1840-kh gg.” [“The History of Collective Disappointment: Friendship, Morality, and Religiosity in the Friendly Circle of A. I. Herzen and N. P. Ogarev in the 1830s–1840s”]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 49, 2001/3, pp. 159–190. (In Russ.)

Shteingol'd, A. M. “Moskva i Peterburg v interpretatsii V. G. Belinskogo i A. I. Gertsena” [“Moscow and Petersburg as Interpreted by V. G. Belinsky and A. I. Herzen”]. *Pechat' i slovo Sankt-Peterburga (Peterburgskie chteniia — 2003)* [*The Press and Word of St. Petersburg (St. Petersburg Readings — 2003)*]. St. Petersburg, Saint-Petersburg Institute of Printing Arts Publ., 2003, pp. 277–282. (In Russ.)

© 2024. И. А. Киселева

Государственный университет просвещения
г. Москва, Россия

Эпистолярная организация как смысловой код стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик»

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-28-00207, <https://rscf.ru/project/24-28-00207/>*

Аннотация: Стихотворение Лермонтова «Валерик» рассматривается в аспекте духовной содержательности эпистолярного жанра. Определено, что специфической особенностью «Валерика» является местоименная организация текста. Посредством местоименных конструкций Лермонтов расставляет в стихотворении смысловые акценты. Организующие местоимения «я — вы — мы» не только моделируют ситуацию письма, но и выступают в функции маркеров ментального состояния. Ключевой для стихотворения оказывается интроспекция героя: лирический субъект испытывает сильнейшие ощущения и эмоции, размышляет над ними, постигает через события прошлого и настоящего свою сущность. Форма обращенного монолога в «Валерике» подразумевает разговор с адресатом, чему способствует речевая прозаизация текста. Документализм стихотворения сближает его с традицией письма как публицистического жанра и выводит за пределы изящной словесности в область литературы как опыта реальной жизни. В художественной системе Лермонтова духовный опыт напрямую связан с опытом человеческого взаимодействия. Эпистолярная форма стихотворения позволяет поэту раскрыть истинное предназначение поэзии, состоящее в духовном общении.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, «Валерик», диалог, жанр письма, кратическая ирония, рефлексия, родство душ.

Информация об авторе: Ирина Александровна Киселева, доктор филологических наук, профессор, Государственный университет просвещения, ул. Фридриха Энгельса, д. 21 а, 105005 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-0035>

E-mail: 79099227849@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 13.03.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 29.05.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Киселева И. А. Эпистолярная организация как смысловой код стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик» // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 82–97. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-82-97>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 82–97. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 82–97. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Irina A. Kiseleva
State University of Education
Moscow, Russia

Epistolary Organization as a Semantic Code of M. Yu. Lermontov's Poem "Valerik"

Acknowledgments: This work was carried out with financial support from the Russian Science Foundation, project no. 24-28-00207, <https://rscf.ru/project/24-28-00207/>

Abstract: The article examines Lermontov's poem "Valerik" in terms of the spiritual content of the epistolary genre. The specific feature of "Valerik" is the pronominal organization of the text. Using pronominal constructions, Lermontov places semantic accents in the poem. The organizing pronouns "I — you — we" not only model the situation of writing but also act as markers of the mental state. The character's introspection appears crucial for the poem: the lyrical subject experiences intense feelings and emotions, ponders them, and comprehends his essence through the events of the past and present. The form of the reversed monologue in "Valerik" implies a conversation with the addressee, which is facilitated by the verbal prosaization of the text. The documentary nature of the poem brings it closer to the tradition of the journalistic genre of writing and takes it beyond the limits of fine literature into the field of literature as a real-life experience. The textual, historical-cultural, structural-semantic, and axiological analysis of "Valerik" allows us to assert that in Lermontov's artistic system, spiritual experience is directly related to the experience of human interaction. The epistolary form of the poem allows the poet to reveal the true purpose of poetry, which consists of spiritual communication.

Keywords: M. Y. Lermontov, "Valerik," dialogue, genre of writing, socratic irony, reflection, kinship of souls.

Information about the author: Irina A. Kiseleva, DSc in Philology, Professor, State University of Education, Friedrich Engels St., 21 a, 105005 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-0035>

E-mail: 79099227849@yandex.ru

Received: March 13, 2024

Approved after reviewing: May 29, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Kiseleva, I. A. "Epistolary Organization as a Semantic Code of M. Yu. Lermontov's Poem 'Valerik.'" *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 82–97. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-82-97>

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Валерик» (1840) не раз становилось предметом обсуждения современников поэта и исследований литературоведов. Внимание было сосредоточено на поднимаемых вопросах «о смысле жизни, о судьбе человека» [Гинзбург: 58], на понимании Лермонтовым «не только событий, свидетелем и участником которых был воин-поэт, но и всего, что было пережито им перед лицом смерти» [Ермоленко: 66], на особой речевой интонации «Валерика», отличающейся «от обыкновенной прозаической только большей задушевностью и теплотой» [Эйхенбаум: 71]. Проблемой исследований оказывалось и уяснение особенности формы стихотворения, которое «дает нам не только жанровую картину боевой жизни, но и удивительнейшую страницу исповеди поэта» [Абрамович: 301]. Исследователи отмечали синтетическую природу «Валерика», подразумевающую «сочленение жанровых структур» [Ермоленко: 66], в котором «любовное послание смыкается с батальным очерком» [Виролайнен: 98], полагали, что в нем происходит «трансформация жанра дружеского послания» в «исповедь героя повествователя перед любимой женщиной» [Пульхриудова: 78]. То есть эпистолярная организация практически всегда оставалась на периферии исследовательского интереса, но выделялась как формообразующая. «Валерик», прежде всего, представляет собой частное письмо частному человеку, с которым автор имеет сильнейшую душевную связь, делится сокровенными размышлениями, объясняется как «перед собою» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166], а пушкинская реминисценция из письма Татьяны («Я к вам пишу») в начале текста «говорит об искренности и глубине чувства» [Киселева: 53].

О важности эпистолярной формы для понимания стихотворения позволяет говорить обращение к черновому автографу «Валерика», состоящему из двух листов, заполненных с двух сторон. Примечательно, что эпистолярную часть стихотворения Лермонтов полностью записывает на первом листе, размещая текст сначала по вертикали, а затем,

за неимением места, поперек на правой свободной поверхности листа, сопровождая строфы припиской «Окончание»¹. Такое плотное заполнение пространства листа может объясняться не только бытовой причиной — экономией бумаги в полевых условиях, но и следованием идеи создания смысловой цельности эпистолярных частей. Размещение начальных и заключительных строф на одном листе акцентирует важность самого феномена письма, вмещающего в себя и событийность, и эмоции, и философские размышления. Ситуацией внутреннего диалога, постоянным присутствием в сознании Лермонтова памяти Другого обусловлено и структурно-семантическое построение стихотворения: начало текста («я к Вам пишу») выливается в обращенный монолог (первые 36 стихов), который затем плавно переходит через созерцающее наблюдение-воспоминание (стихи 37–54) в рассказ-«киноленту» (стихи 55–240), призванную вызвать эмпатию читателя, заставить его прочувствовать состояние лирического героя, и, наконец, ироническая рефлексия заключительных стихов с присущими жанру письма этикетными формулами прощания и извинения (стихи 241–260).

Специфической особенностью «Валерика», во многом обусловленной его эпистолярной формой, является местоименная организация текста. Посредством местоименных конструкций Лермонтов расставляет в стихотворении смысловые акценты. Структурную доминанту стихотворения образуют личные местоимений — *я, вы, мы, он, они* — и их производные. В первых двух строфах стихотворения задается основная для структуры стихотворения местоименная оппозиция, воплощаемая в ситуации обращения «я» к «вы». Уже в первом стихе «Валерика», задающем всему дальнейшему повествованию форму обращенного монолога («Я к вам пишу случайно; право»), местоимение «я» не только моделирует ситуацию письма, но и выступает в функции маркера ментального состояния. Смысловой для стихотворения оказывается интроспекция героя — лирический субъект испытывает сильнейшие ощущения и эмоции, размышляет над ними, постигает через события прошлого и настоящего сущность себя: «Где я? Что я? В какой глуши?»; «Я вас забыть никак не мог»; «Влачил я цепь тяжелых лет»; «Забыл я шум младых проказ»; «Мой крест несусь я без роптанья»;

¹ Лермонтов М. Ю. «Я к Вам пишу...» (стихотворение, рукопись), 1840. НИОР РГБ. Ф. 500 (Лермонтов). К. 1. Ед. хр. 4. Л. 1.

«Я жизнь постиг» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166–167]. Сформировавшийся в зачине стихотворения тон скорбной рефлексии и далее является его ведущей модальностью. Лирический субъект представляет свою жизнь как книгу, над которой можно и нужно размышлять: «страницы прошлого читая // Их по порядку разбирая» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166]). В черновике этот аспект звучал еще явственнее, там поэт сравнивал себя с литературным критиком: «И их как критик разбирая»¹. Отказ поэта от образа критика в окончательном варианте, по всей вероятности, обусловлен достаточно негативным отношением Лермонтова к критике (как журналистике), выраженном в более раннем стихотворении того же года «Журналист, читатель и писатель», где журналист предстает угрожающим толпе в ее сиюминутном интересе: «Читает нас и низший круг: // Нагая резкость выраженья // Не всякий оскорбляет слух; // Приличье, вкус — все так условно; // А деньги все ведь платят ровно!» [Лермонтов 1954–1957. 2: 148]. Пафос литературно-критической оценки снижает доверительную модальность эпистолярно-исповедальной формы, которая отвечает смысловой содержательности текста, и это есть одна из причин его переработки. Критик, по мысли поэта, не способен представить всю глубину происходящего и изображенного, тогда как отрешенность ума («остынувшим умом») лирического рассказчика сочетается с жаром сердечной боли («Я вас никак забыть не мог!»), и тем самым его суждения оказываются более соответствующими истинной реальности. Подобное представление распространяется как на изображение частной жизни лирического героя, так и на сами события кровопролитной битвы между русскими и горцами. Сфера «я» в ситуации обращенного монолога, открывающего и замыкающего стихотворение, соответствует состоянию лирического субъекта, тоскующего от невозможности единения с возлюбленной, представляемой в различных формах местоимении «Вы» («к Вам пишу», «знать Вам также нету нужды», «Вас любил», «Вас помню», «Вас забыть не мог», «Вас забыть мне невозможно», «и Вам, конечно, все равно» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166–167]).

Одной из основных идей программного стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» является мысль о том, что «поэзия не теряет своей самооценности, но она теряет коммуникативную функ-

¹ Там же.

цию» [Вацуро: 321], и в этом состоит ее трагедия. Важность коммуникации выводится на первый план и в «Валерике». В стихотворении «Журналист, писатель и читатель» поэт готов отказаться от радости творчества, если оно приносит только эстетическое наслаждение и обусловлено лишь личными потребностями: «Но эти странные творенья // Читает дома он один, // И ими после без зазренья // Он затопляет свой камин» [Лермонтов 1954–1957. 2: 149]. Значимо, что целесообразность поэтического творчества вкладывается поэтом в уста читателя, готового приветствовать «Живое, свежее творенье!» [Лермонтов 1954–1957. 2: 148]. И в стихотворении «Журналист, писатель и читатель», и в «Валерике» Лермонтов утверждает истинное предназначение поэзии, состоящее в духовном общении. Форма обращенного монолога в «Валерике» подразумевает разговор с адресатом, чему способствует непосредственность выражения и речевая прозаизация текста, соответствующая ситуации искренности общения.

Смысловым центром собственно диалогической части «Валерика» являются размышления о «родстве души». Обозначенные поэтом напряженные отношения, выраженные в местоименной антинимии «я» — «вы», перерастают в суждение с местоимением «мы» в роли подлежащего: «Душою мы друг другу чужды», подытоженным горьким выводом: «Да вряд ли есть родство души» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166]. Однако этот вывод имеет оттенок риторического вопроса и далее по тексту нивелируется, во-первых, обращенным заявлением лирического поэта к возлюбленной: «Я Вас никак забыть не мог», во-вторых, его декларируемой причастностью к чувствам и действиям своих боевых товарищей: «Мы любовались на них», «Мы проходили темный лес», «Нам был обещан бой жестокий» [Лермонтов 1954–1957. 2: 168]).

В «Валерике» поэт не только обрамляет сюжетную линию в речевую стихию письма в начале и в конце текста, но и сами события передает глазами частного человека, который является очевидцем горестных событий, находящимся в той же ситуации угрозы всей своей жизни, как и его боевые товарищи, и военные противники. Перед нами участник исторических событий Кавказской войны, но взгляд изнутри акцентирует не столько исторические приметы времени, сколько личностные переживания смерти. Драматизм стихотворения усиливается и от щемящего чувства одиночества и тоски лирического субъекта «по родной душе», а сама форма письма обнаруживает частный план

человеческого существования. Здесь включаются в работу два звена: одно связано с горечью потерь в сражениях, другое — с грустью невозможности единения с любимым человеком.

Можно было бы сказать, что перед нами не столько воин, сколько страдающий человек, однако эти два плана неразрывно объединены в едином лирическом субъекте, который является одним из общего «мы». Раскрытие лирического поэта («я») происходит многосторонне и последовательно. Взгляд его переходит от сцены прощания солдат с их капитаном к созерцанию природы Кавказа («Окрестный лес, как бы в тумане, // Синел в дыму порохом» [Лермонтов 1954–1957. 2: 171]), останавливается на высоких горах, которые выступают своеобразным фоном событий, показывающим тщету желаний и переживаний человека: «А там вдали грядой нестройной, // Но вечно гордой и спокойной, // Тянулись горы — и Казбек // Сверкал главой остроконечной» [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]. Рефлексия лирического «я» разворачивается от полного отрицания возможности испытывать чувства («Но не нашел в душе моей // Я сожаленья, ни печали» [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]) до трагического вопроса о смысле человеческого противоборства («И с грустью тайной и сердечной // Я думал: жалкий человек. // Чего он хочет!.. Небо ясно...» [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]). При этом трагизм «Валерика» не уходит в атмосферу пацифистского бунта или уныния, так как освещается утверждаемой поэтом идеей вечной жизни, стоящей над всеми перипетиями и катастрофами времени: «И беспробудным сном заснуть // С мечтой о близком пробужденье» [Лермонтов 1954–1957. 2: 173]. И хотя эта умиротворяющая фраза дается лирическому герою через сильнейшую боль, усиливающуюся горечью потерь боевых товарищей, заключительные стихи «Валерика» говорят о высочайшей степени самообладания, выражающейся во всепрощающей в своем кенотизме самоиронии: «Теперь прощайте: если вас // Мой безыскусственный рассказ // Развеселит, займет хоть малость, // Я буду счастлив. // А не так? — Простите мне его как шалость // И тихо молвите: чудак!..» [Лермонтов 1954–1957. 2: 173]. Это же ироническое настроение и вместе с тем приятие жизни в ее целостности, со всей ее болью, можно увидеть и в письме Лермонтова к своему другу, брату адресата «Валерика» — А. А. Лопухину: «Может быть когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых

я был свидетелем. Варвара Александровна будет звать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, <...>, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну» [Лермонтов 1954–1957. 6: 457]. Поэтом движет желание высказать пережитое, притом что «описывать экспедиции не велят» [Лермонтов 1954–1957. 6: 455]. Однако для него важнее оказывается не описание событий само по себе, а передача своего духовного состояния. Важно в письме А. А. Лопухину и обращение к образу его маленького сына, невинному младенцу, продолжающему земной путь человечества, и к его супруге, которой, как и сестре А. А. Лопухина — В. А. Лопухиной — адресату «Валерика», как надеется адресант, он дорог.

Адресат/читатель не может воспринимать излагаемые события лишь как занимательную историю, хотя поэт и мотивирует свой рассказ тем, что тот «займет хоть малость» внимание адресата, уже потому, что через их очевидца — адресанта он оказывается эмоционально и мыслительно причастен к ним. Представляя окончание своего письма в форме сократической иронии, в которой «человек способен возвыситься над самим собой» [Шлегель 1: 87], Лермонтов парадоксальным образом утверждает чрезвычайную важность излагаемых событий. И в этом он ничуть не противоречит самой сущности иронии, в которой «высказывание, если его воспринимать буквально, оказывается очевидно неуместно», тогда как «естественной будет интерпретация, при которой значение высказывания противоположно его буквальной форме» [Серль: 337]. Ставя себя в ситуацию некоторой отрешенности, он тем самым еще более сближает себя с адресатом/читателем, включая его в свое сознание как часть, и вместе с тем утверждая невозможность его непричастности к эмоционально-смысловому переживанию изложенного.

Характерно, что вместо стихов 177–201 текста, принятого в качества дефинитивного, изображающих картину прощания солдат с умирающим капитаном, в черновике дается картина боя и представлен образ лирического героя, который прилег «на самом месте сечи» «без сил и чувств»¹. Один из вариантов черновика содержит и обращение к адресату письма: «Признаться вам, я изнемог»². То есть память об адресате

¹ Лермонтов М. Ю. «Я к Вам пишу...» (стихотворение, рукопись), 1840. НИОР РГБ. Ф. 500 (Лермонтов). К. 1. Ед. хр. 4. Л. 2 об.

² Там же.

не оставляет поэта даже в сюжетном поле основной части стихотворения. Он пытается приобщить его к своему опыту понимания ценности жизни и человеческих отношений. И если война видится поэтом в естественной жестокости, то образ военной жизни, военная доблесть у него получают однозначно позитивную оценку: военачальники предстают достойными своего статуса («Генерал // Вперед со свитой поскакал» «все офицеры впереди» [Лермонтов 1954–1957. 2: 168–169]), а простые солдаты не только верными присяге и своим командирам, но и людьми с живой чувствительной душой («мрачно, грубо // Казалось выраженье лиц, // Но слезы капали с ресниц...» [Лермонтов 1954–1957. 2: 171]). Именно ситуация войны в изображении Лермонтова априори связана с «тяжелой думой о конце» [Лермонтов 1954–1957. 2: 173], а значит и с размышлениями о вечности и духовной жизнью. Моделируя мышление адресата («В забавах света вам смешны // Тревоги дикие войны; // Свой ум вы не привыкли мучить // Тяжелой думой о конце...» [Лермонтов 1954–1957. 2: 173]) и иронически сталкивая в его сознании вечное и светскую суету, поэт показывает тем самым тщету последней и утверждает свое право на это письмо, и надежду на душевный ответ, иначе не было бы и смысла в самом факте письма.

Форма письма, объединяющая в целое представленные эпизоды из военной жизни, обусловлена настроением поэта, остро испытывающего на Кавказе необходимость общения с оставшимися на родине близкими, что не раз акцентируется в его письмах этого периода («Пожалуйста, не ленись: ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают» [Лермонтов 1954–1957. 6: 455]; «Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли?» [Лермонтов 1954–1957. 6: 457]). Кроме того, письмо открывает возможность изложить с максимальной точностью пережитые события и дать им свое понимание, перевести батальный образ «из сугубо описательного регистра в рефлексированное повествование» [Поташова 2023: 182]. При сопоставлении эпистолярного начала «Валерика» с письмами самого Лермонтова обнаруживается стилевое сходство в переходе от этикетной формулы обращения к собственно повествованию. Частотной в его письмах оказывается конструкция спонтанной речи «не знаю», позволяющая далее развивать сообщение (например, «Милый Алеша. Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, возвратился после 20-дневной экспеди-

ции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает» [Лермонтов 1954–1957. 6: 455].

С первого взгляда, выбор адресата («вы») для детального рассказывания о кровопролитной битве кажется не вполне оправданным — светской барышне могут быть непонятны и чужды эпизоды из военной жизни («В забавах света вам смешны // Тревоги дикие войны» [Лермонтов 1954–1957. 2: 173]), на что указал, в частности, Б. Г. Бобылев, говоря о несоответствии эпистолярной части стихотворения «принятым правилам легкого светского общения» [Бобылев: 527]. Однако это несоответствие снимается желанием говорить о сокровенном с самым личностно важным человеком («Я вас забыть никак не мог» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166–167]), и выбор жанра письма определялся «психологическим обликом той, к которой он обращен» [Зайцева: 115]. К адресату стихотворения — В. А. Лопухиной направлено немало поэтических обращений поэта, в одном из которых он признается: «Мы себя нашли один в другом, // И душа сдружилась с душою» [Лермонтов 1954–1957. 2: 178]. Именно «обращение к женщине, с которого начинается и которым завершается стихотворение, позволяет читателю войти в откровенный, полный задушевной простоты разговор очень близких друг другу людей» [Евчук: 21], и тем самым контакт автора и читателя приобретает особый доверительный характер. Кроме того, рассказ поэта рассчитан на чистоту восприятия адресата, обращение «я» к далекому от военных событий «вы» ориентировано на предельную откровенность в изъяснении переживаний и на восприимчивость неопытной души в лицезрении смерти и рассказа о трагизме смерти. И хотя поэт не раз акцентирует заведомое непонимание («И вам, конечно, все равно» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166]), он надеется на возможность быть услышанным в аспекте своего личностного онтологического бытия, иначе факт письма был бы бессмысленным.

Черновые варианты стихов «Валерика» зачастую более экспрессивны, чем окончательный текст черновика, стихи первой и последующей публикаций, по всей вероятности, сделанных со списков или же с недошедшего до нас беловика. Интонационные восклицания черновика подчеркивают ощущение неловкости взывания лирического субъекта к сопереживанию адресата: «Я к Вам пишу. Не странно ль! право» /

«Я к Вам пишу. Случайно! Право // Не знаю как и для чего»¹. При работе Лермонтова над текстом черновика восклицательная интонация риторических вопросов, обращенных одновременно к самому себе и к собеседнику, сменяется на рассудительный тон, представляющий действия поэта в глазах адресата: «Я к вам пишу случайно; право // Не знаю как и для чего» [Лермонтов 1954–1957. 2: 166]. Не содержит обилия восклицаний и первая публикация в «Утренней заре» [Лермонтов 1843: 66]. Если в первоначальном фразовом членении черновика логические акценты объясняются самим процессом начала письма, желанием сиюминутно выплеснуть свои эмоции, то затем, возвращаясь к работе над началом текста, поэт перерабатывает его уже в соответствии с пережитым опытом лирической рефлексии, и все стихотворение оказывается пронизанным единым настроением глубокой погруженности в размышления о бытии. Мыслительная ситуация назначения письма в окончательном тексте разворачивается далее в сложном предложении, вторая часть которого определяет отсутствие целеполагания в действии: «Не знаю как и для чего» (2 стих). Если первый вариант черновика следующих стихов отличается экспрессивностью — особое место в нем занимают восклицательные конструкции (4 и 5 стихи), — то в процессе редактирования текста Лермонтов привносит в него модальность констатации. Меной первоначального риторического вопроса «И кто мне дал на это право»² на утверждение в действительном залоге «Я потерял уж это право»³ поэт акцентирует, что такое «право» обращения к адресату было, но теперь оно может быть утеряно, хотя сам факт письма это и парадоксально нивелирует.

Значима в размышлениях лирического героя о возможности или невозможности написания письма игра рифмующихся слов. Если в первом стихе «право» — это вводное слово со значением уверения, то в третьем стихе это существительное, определяющее возможность действия («Я потерял уж это право»⁴). Рифмовкой омонимов «право — право» Лермонтов не только подчеркивает значение созвучных

¹ Лермонтов М. Ю. «Я к Вам пишу...» (стихотворение, рукопись), 1840. НИОР РГБ. Ф. 500 (Лермонтов). К. 1. Ед. хр. 4. Л. 1.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

слов, создавая своего рода каламбур, но добавляет экспрессии, создает ситуацию горькой усмешки, самоиронии, что в целом характерно для его поэтики. Омнимичная рифма «право» дополняется неточной рифмой «правый» в 5 стихе, где слово «правый» воспринимается неотрывно от звательной формы слова «Бог» («Боже правый»¹) и образует с ним эмоционально-насыщенное междометие с устойчивым смысловым содержанием, которое выводит простоту повседневной речи на онтологический уровень. Конечно, можно сказать, что междометийный статус снижает высокую наполненность взывания к Богу, но не в данном случае. Здесь устойчивость выражения с четким ямбическим скандированием скорее акцентирует мотив взывания поэта к имени Божьему, естественность этого действия. Щемящая интонация тоски у Лермонтова, его горькое отчаяние, граничащее с безверием, выраженное в выводе-вопросе («Да вряд ли есть родство души?»²) рождено и тоской по Богу, в котором только и возможна полнота душевного родства. Корневыми повторами рифмующихся слов Лермонтов обновляет стертое значение междометного фразеологизма.

Будучи непосредственным участником кровопролитной битвы при реке Валерик со стороны русской армии, лирический поэт способен прочувствовать и передать трагизм происходящих событий. Пребывание под «небесами» востока», личное общение с горцами («кунак мой») способствовали проникновению в их менталитет и сближению мирочувствия («Судьбе как турок иль татарин // За все я ровно благодарен...» [Лермонтов 1954–1957. 2: 167]), хотя, конечно, нельзя говорить о полноте этого сближения, недаром поэт использует именно сравнительные конструкции с союзом «как». Примечательно, что Лермонтов, фиксируя противостояние горцев и русских, сближает их на основе общей ситуации участия в военных событиях: «Как там дрались, как мы их били, // Как доставалось и нам» [Лермонтов 1954–1957. 2: 168]. У него нет личной субъектной вражды к военному противнику, более того, он признается в симпатии к горцам: «Люблю я цвет их желтых лиц», «Их темный и лукавый взор // И их гортанный разговор [Лермонтов 1954–1957. 2: 168]. Такой настрой говорит о видимой Лермонтовым возможности диалога между двумя культурами, их «взаимопроникновения

¹ Там же.

² Там же.

и уважения друг к другу» [Киселева, Поташова: 307]. Представляется значимым, что из тяжелого отрешенного состояния раздумья после кровопролитной битвы лирического поэта выводит именно один из горцев («Галуб прервал мое молчанье» [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]), с которым его связывают особые, почти родственные отношения: «Он был кунак мой» [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]. Представляется, что имя «Галуб» также, как и ситуация письма с его отсылкой к письму Татьяны из «Евгения Онегина» в начале стихотворения, отправляют нас к пушкинскому тексту, в частности, к его неоконченной поэме «Тазит», которая вышла в 1837 г. в «Современнике» под заглавием «Галуб» и повествовала о судьбе черкеса, не поддающегося страсти кровной мести и впитавшего христианский менталитет [Пушкин: 5–16]. Идея прощения — одна из главенствующих в лермонтовском стихотворении, она скрепляет и личный, и исторический план лирического повествования, определяя христианский пафос стихотворения. Очевидна точная рефлексия Лермонтовым психического состояния лирического «я». Размышления о противоестественности человеческой вражды («один враждует он — зачем?») [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]), противостояние ее гармонии вселенной («...небо ясно, // Под небом места много всем...» [Лермонтов 1954–1957. 2: 172]) коррелирует и с обозначенной в рельефно выраженных эпистолярных элементах стихотворения (зачине и концовке, содержащих обращение к потерянной возлюбленной) мыслью о трагической утрате единения родственных душ, восходящей к идее «о потерянном райском блаженстве, о путях возвращения к нему» [Гулин: 8].

Нельзя не согласиться с высказыванием С. И. Ермоленко о том, что в «Валерике» представлено «сложное по своему характеру лирическое переживание, для выражения которого не подходит ни один из традиционных жанров лирики» [Ермоленко: 66], хотя лирический жанр послания способен вбирать в себя элементы разножанровой содержательности. Но «Валерик» не есть традиционное лирическое послание, в нем усилен документализм, что сближает его с традицией письма как публицистического жанра и выводит его за пределы изящной словесности, в область литературы как опыта реальной жизни, неотделимой от опыта духовного. Этот духовный опыт передается поэтом адресату/читателю как сформированный реальным участием в событиях, где человек встает перед лицом вечности. И уровень этого предстояния,

и сама осознанная возможность связаны с опытом межличностного взаимодействия, с опытом потерь и обретений людей как своих ближних. Для Лермонтова духовная горизонталь межличностных отношений является важнейшей ступенью предстояния Богу, что декларируется в этом стихотворении и транслируется жанровой содержательностью эпистолярной формы. Именно жанр письма определяет стилевые особенности стихотворения «Валерик» и во многом является ключом к пониманию заложенных автором смыслов.

Список литературы

Источники

Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1979.

Пушкин А. С. Галуб // Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его, в пользу его семейства, Кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, кн. В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым. СПб.: В Гуттенберговой тип., 1837. Т. 7. С. 5–16.

Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 6 т. М.; Л.: АН СССР, 1954–1957.

Лермонтов М. Ю. Валерик // Утренняя заря, альманах на 1843 год, изданный В. Владиславлевым. СПб., 1843. С. 66–68.

Шевырев С. П. Критический перечень русской литературы 1843 года // Москвитянин. 1843. Ч. 2. № 3. С. 175–194.

Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика в 2 т. М.: Искусство, 1983.

Исследования

Абрамович Д. И. Лермонтов Михаил Юрьевич // Русский биографический словарь. СПб.: Изд. разряда изящной словесности Имп. Акад. Наук, 1914. Т. 9. С. 265–315.

Бобылев Б. Г. «У Бога счастья не прошу»: филологический анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик» // Русский язык в школе. 2021. Т. 82, № 6. С. 44–54. <https://doi.org/10.30515/0131-6141-2021-82-6-44-54>

Буянова Г. Б. История создания и бытования романа «я к вам пишу...» // М. Ю. Лермонтов в истории, культуре и образовании. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. С. 18–28.

Вацуро В. Э. О Лермонтове: Работы разных лет. М.: Новое изд-во, 2008. 716 с.

Виротайнен М. Н. Лермонтов и конец Золотого века // Мир Лермонтова: Коллективная монография / под ред. М. Н. Виротайнен и А. А. Карпова. СПб.: Скрипториум, 2015. С. 92–104.

Гинзбург Л. Я. Лирика Лермонтова. // Литературное обозрение. 1941, № 12. С. 50–61.

Гулин А. В. Небесный ангел Михаила Лермонтова (Духовный опыт как творческая категория) // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 1. С. 6–35. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35>

Ермоленко С. И. «Я к вам пишу...» («Валерик» М. Ю. Лермонтова: опыт жанрового анализа) // Филологический класс. 2008. № 19. С. 66–70.

Зайцева И. А. «Я к Вам пишу случайно; право» (о жанре и адресате стихотворения М. Ю. Лермонтова) // Мир романтизма. Вып. 20 (44). Памяти Ирины Вячеславовны Карташовой (1931–2019). Тверь: ТГУ, 2022. С. 115–126.

Киселева И. А. М. Ю. Лермонтов как духовный приемник А. С. Пушкина // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2024. № 2. С. 45–58. <https://doi.org/10.22204/2587-8956-2024-117-02-45-58>

Киселева И. А., Поташова К. А. Кавказский мир в контексте размышлений М. Ю. Лермонтова о человеке и судьбах истории // Научный диалог. 2023. Т. 12, № 5. С. 294–309. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-5-294-309>

Поташова К. А. Багальная поэтика М. Ю. Лермонтова // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21, № 2. С. 176–195. <https://doi.org/10.15393/j9.art.2023.12183>

Пульхритудова Е. М. Валерик // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1981. С. 78–79.

Серль Дж. Р. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 337–341.

Эйхенбаум Б. М. Литературная позиция Лермонтова // Литературное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 43/44: М. Ю. Лермонтов. Кн. 1. С. 3–82.

References

Abramovich, D. I. “Lermontov Mikhail Iur’evich” [“Lermontov Mikhail Yuryevich”], vol. 9. *Russkii biograficheskii slovar’* [*Russian Biographical Dictionary*]. St. Petersburg, Izdatel’stvo razriada iziashchnoi slovesnosti Imperqatorskoi Akademii Nauk Publ., 1914, pp. 265–315. (In Russ.)

Bobylev, B. G. “U Boga schast’ia ne proshu’: filologicheskii analiz stikhotvoreniia M. Iu. Lermontova ‘Valerik.’” [“‘I Don’t Ask God for Happiness’: Philological Analysis of M. Yu. Lermontov’s Poem ‘Valerik.’”] *Russkii iazyk v shkole*, vol. 82, no. 6, 2021, pp. 44–54. <https://doi.org/10.30515/0131-6141-2021-82-6-44-54> (In Russ.)

Buianova, G. B. “Istoriia sozdaniia i bytovaniia romansa ‘ia k vam pishu...’” [“History of the Creation and Existence of the Romance ‘I Am Writing to You...’”] *M. Iu. Lermontov v istorii, kul’ture i obrazovanii* [*M. Yu. Lermontov in History, Culture and Education*]. Lipetsk, Lipetsk State Pedagogical University named after Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky Publ., 2019, pp. 18–28. (In Russ.)

Vatsuro, V. E. *O Lermontove: Raboty raznykh let* [*About Lermontov: Works of Different Years*]. Moscow, Novoe izdatel’stvo Publ., 2008. 716 p. (In Russ.)

Virolainen, M. N. “Lermontov i konets Zolotogo veka” [“Lermontov and the End of the Golden Age”]. Virolainen, M. N., and A. A. Karpov, editors. *Mir Lermontova: Kollektivnaia monografiia* [*Lermontov’s World: Collective Monograph*]. St. Petersburg, Skriptorium Publ., 2015, pp. 92–104. (In Russ.)

Ginzburg, L. Ia. “Lirika Lermontova” [“Lyrics by Lermontov”]. *Literary Review*, no. 12, 1941, pp. 50–61. (In Russ.)

Gulin, A. V. “Nebesnyi angel Mikhaila Lermontova (Dukhovnyi opyt kak tvorcheskaiia kategoriia)” [“Heavenly Angel of Mikhail Lermontov (Spiritual Experience as a Creative Category)”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 6–35. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35> (In Russ.)

Ermolenko, S. I. “‘Ia k vam pishu...’ (‘Valerik’ M. Iu. Lermontova: opyt zhanrovogo analiza)” [“‘I Am Writing to You...’ (‘Valerik’ by M. Yu. Lermontov: Experience of Genre Analysis)”]. *Filologicheskii klass*, no. 19, 2008, pp. 66–70. (In Russ.)

Zaitseva, I. A. “‘Ia k Vam pishu sluchaino; pravo’ (o zhanre i adresate stikhotvoreniia M. Iu. Lermontova)” [“‘I Am Writing to You by Chance; Indeed’ (About the Genre and Addressee of M. Yu. Lermontov’s Poem)”]. *Mir romantizma [World of Romanticism]*, issue 20 (44): Pamiati Iriny Viacheslavovny Kartashovoi (1931–2019) [In Memory of Irina Vyacheslavovna Kartashova (1931–2019)]. Tver, Tver State University Publ., 2022, pp. 115–126. (In Russ.)

Kiseleva, I. A. “M. Iu. Lermontov kak dukhovnyi priemnik A. S. Pushkina” [“M. Yu. Lermontov as the Spiritual Successor of A. S. Pushkin”]. *Vestnik Rossiiskogo fonda fundamental’nykh issledovani. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, no. 2, 2024, pp. 45–58. <https://doi.org/10.22204/2587-8956-2024-117-02-45-58> (In Russ.)

Kiseleva, I. A., and K. A. Potashova. “Kavkazskii mir v kontekste razmyshlenii M. Iu. Lermontova o cheloveke i sud’bakh istorii” [“The Caucasian World in the Context of M. Yu. Lermontov’s Thoughts about Man and the Fate of History”]. *Nauchnyi dialog*, vol. 12, no. 5, 2023, pp. 294–309. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-5-294-309> (In Russ.)

Potashova, K. A. “Bata’naia poetika M. Iu. Lermontova” [“Battle Poetics of M. Yu. Lermontov”]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, vol. 21, no. 2, 2023, pp. 176–195. <https://doi.org/10.15393/j9.art.2023.12183> (In Russ.)

Pul’khitudova, E. M. “Valerik” [“Valerik”]. *Lermontovskaia entsiklopediia [Lermontov Encyclopedia]*. Moscow, Sovetskaia entsiklopediia Publ., 1981, pp. 78–79. (In Russ.)

Serl’, Dzh. R. “Metafora” [“Metaphor”]. *Teoriia metafory [Theory of Metaphor]*. Moscow, Progress Publ., 1990, pp. 337–341. (In Russ.)

Eikhenbaum, B. M. “Literaturnaia pozitsiia Lermontova” [“Lermontov’s Literary Position”]. *Literaturnoe nasledstvo [Literary Heritage]*, vol. 43/44: M. Iu. Lermontov [M. Yu. Lermontov], book 1. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1941, pp. 3–82. (In Russ.)

© 2024. Н. Н. Подосокорский

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

История в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского

Аннотация: Статья посвящена роли истории в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. Писатель изучал всемирную и российскую историю на протяжении всей жизни. В работе отмечается, какие исторические труды читал и ценил Достоевский, какие книги по истории имелись в его домашней библиотеке. Предпринята попытка определить, как Достоевский понимал историю, какой ему виделась роль личности в истории. Уже первые литературные опыты писателя в самом начале 1840-х гг. были связаны с попыткой написать сочинения на исторические темы. И затем многие его произведения были им самим жанрово определены как «летопись» или «хроника», что позволяет формально отнести их к «исторической литературе» в широком смысле. В произведениях Достоевского герои не только с увлечением изучают и преподают историю, но и активно сочиняют исторические труды научного и художественного плана. Обращение писателя и его героев к истории лежит в основе поэтики Достоевского и зачастую создает в его произведениях сюжет второго плана, который придает изображаемым сценам и характерам дополнительный историко-культурный объем.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, теория литературы, история, философия истории, наполеоновский миф, Наполеон, Шлоссер, роль личности в истории.

Информация об авторе: Николай Николаевич Подосокорский, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6310-1579>

E-mail: n.podosokorskiy@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 10.05.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 28.06.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Подосокорский Н. Н. История в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 98–125. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-98-125>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 98–125. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 98–125. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. **Nikolay N. Podosokorsky**
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

History in the Life and Work of F. M. Dostoevsky

Abstract: The article is devoted to the role of history in the life and work of F. M. Dostoevsky. The writer studied world and Russian history throughout his life. The work notes what historical works Dostoevsky read and especially valued, and what books on history were in his home library. The article attempts to determine how Dostoevsky understood history, how he saw the role of the individual in history, and how he expressed it in his works. The writer's first literary experiences in the early 1840s were already associated with an attempt to write essays on historical topics. And then, he defined many of his works by the genre as "chronicle" or "annals," which allows them to be formally classified as "historical literature" in a broad sense. In Dostoevsky's works, the characters not only enthusiastically study and teach history but also actively compose historical works of a scientific and artistic nature. The author of the article substantiates the idea that the writer and his characters' appeal to history lies at the basis of Dostoevsky's poetics and often creates a secondary plot in his works, giving the depicted scenes and characters additional historical and cultural volume.

Keywords: F. M. Dostoevsky, literary theory, history, philosophy of history, Napoleonic myth, Napoleon, Schlosser, the role of personality in history.

Information about the author: Nikolay N. Podosokorsky, PhD in Philology, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6310-1579>

E-mail: n.podosokorskiy@gmail.com

Received: May 10, 2024

Approved after reviewing: June 28, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Podosokorsky, N. N. "History in the Life and Work of F. M. Dostoevsky." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 98–125. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-98-125>

Достоевский родился в эпоху, когда в Европе и в России происходило постепенное переосмысление предложенных ведущими философами-просветителями XVIII в. подходов к изучению истории, для которых было свойственно деление истории на «гражданскую» и «священную» при полном игнорировании или исключительно сатирическом изображении последней [История в Энциклопедии...: 7]. Исследователь историографии XIX в. Хейден Уайт определяет период 1830–1870-х гг. (на него пришлась практически вся сознательная жизнь Достоевского) как «зрелую» или «классическую» фазу развития исторической мысли, для которой были характерны «непрерывные дебаты по поводу исторической теории и интенсивное производство объемных повествований о культурах и обществах прошлого» [Уайт: 54]¹. По мнению Уайта, ключевым в этих дебатах о «правильном» понимании истории был спор о том, что такое «реализм» и как вообще устроена сама реальность. «Каждое из наиболее важных культурных движений и идеологий XIX века — Позитивизм, Идеализм, Натурализм, (литературный) Реализм, Символизм, Витализм, Анархизм, Либерализм и прочие — претендовало на создание более “реалистического”, чем у соперников, понимания социальной реальности. <...> Быть реалистом означало ясно видеть вещи такими, каковы они в действительности, и делать из этого ясного видения реальности соответствующие выводы, на основе которых вести свою жизнь. Отсюда следует, что претензии на подлинный “реализм” были одновременно и эпистемологическими, и этическими» [Уайт: 67].

¹ Современник Достоевского Н. Г. Чернышевский также отмечал, что только в этот период «удалось ясно постичь идею всеобщей истории, потому что только с Гегеля, Гизо, Нибура, Шлоссера начинается деятельная разработка этой идеи; только в творениях этих великих ученых и их последователей мы находим первые значительные опыты дать человечеству полный и точный рассказ о его жизни» [Чернышевский 3: 356].

Достоевский также был включен в этот магистральный спор о реализме, позиционируя себя следующим образом: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» [Достоевский 27: 65]. Как справедливо отмечает К. А. Степанян, «Достоевский вовсе не считал свой реализм чем-то уникальным. Более того, он считал именно этот реализм коренным свойством настоящей русской литературы» [Степанян: 19], образцом и достигнутым идеалом которой для него было творчество А. С. Пушкина.

Для Достоевского «поэтическая правда» у Гомера, Шекспира или Пушкина оказывается вернее узко понятой «исторической» правды, сводимой к одной только правде «факта». В трактате «Книжность и грамотность» (1861) он полемически восклицает:

Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели «Илиада» не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные? А ведь «Отечественные записки» сплошь да рядом щеголяют подобными доказательствами. Ну что после этого им отвечать, когда главного-то дела, сердцевины-то дела они не понимают? Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалопаю двадцатых годов. Попробуйте поспорить.

— Как не народный? — говорим, например, мы. Да где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический [Достоевский 19: 9–10].

Подлинная история вовсе не сводилась самим писателем к «правде» отдельного и абстрактного «факта», однако она для него и не замыкалась в рамках литературы. К сожалению, до сих пор основательного научного исследования того, насколько глубоко и разносторонне история присутствует в произведениях Достоевского, так и не было проведено. Абсолютное же большинство исследователей, затрагивающих те или иные исторические реалии в произведениях писателя, были либо заняты поиском несоответствий между словами рассказчика или персонажей и отдельными «историческими фактами», либо сводили эти

реалии к исключительно литературным влияниям. Например, наполеоновский миф в творчестве Достоевского долгое время рассматривался в основном через призму наполеоновского мифа у Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей, хотя Достоевского наполеоновская эпоха интересовала и сама по себе, представленная в документах, устных и письменных воспоминаниях, научных исторических трудах и проч.

Не будет преувеличением сказать, что все творчество Ф. М. Достоевского пронизано самыми разными обращениями к истории — всемирной и российской. «Уже в начале своего творческого пути Достоевский выразил глубинное желание стать “художником в науке”, — отмечает А. Штейнберг. — “Наукой”, которую он стремился развить при помощи художественных средств, была последовательная система моральной философии, основанная на общей философии истории. Окрыленный этой целью, Достоевский сумел обогатить литературу, ввести в нее новый синтез конкретной образности и абстрактной мысли» [Штейнберг: 339]. По убеждению самого писателя, «чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию» [Достоевский 18: 99]. Именно в этом отношении история понималась Достоевским как «наука будущего» [Достоевский 18: 122].

Изучение и популяризация истории Достоевским

Достоевский интересовался историей с самого детства. В «Дневнике писателя» за 1873 г. он вспоминал: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина¹, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз

¹ Значение «Истории государства Российского» просвещенного консерватора Н. М. Карамзина для почвенника Достоевского и его творчества сложно переоценить, поскольку, по свидетельству П. П. Семенова-Тян-Шанского, Достоевский знал этот труд «почти наизусть» [Семенов-Тян-Шанский: 298]. Также писатель был знаком и с «Историей русского народа» (1829–1833) Н. А. Полевого, написанной в противовес труду Карамзина, сосредоточенного, главным образом, на личностях, характерах правителей и их деяниях. Полевого иногда называют «родо-

посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным» [Достоевский 21: 134]. Младший брат писателя Андрей Достоевский (1825–1897) приводит в своих мемуарах подробности этого семейного чтения: «Читались по преимуществу произведения исторические: “История Государства Российского” Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние тома — IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений <...>» [Достоевский 1992: 70]. Как далее отмечает мемуарист относительно брата Федора: «История же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького. <...> Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы» [Достоевский 1992: 71].

Сильное влияние на формирование мировоззрения юного Достоевского оказали исторические романы Вальтера Скотта. Вспоминая о своем детстве в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), Достоевский отмечал, что такого рода чтение содействовало развитию его воображения, и при этом он сам представлял себя разными героями истории древности и средних веков:

Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа “Монастырь” Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моею в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище [Достоевский 19: 70].

В период обучения будущего писателя в пансионе Л. И. Чермака в 1834–1837 гг. его преподавателем географии и истории был надворный советник К. М. Романовский [Федоров: 147]. В качестве же основного учебного пособия для поступивших воспитанников использовалась

начальником либерального направления отечественной исторической науки», отмечая, что «он работал уже полностью в рамках рационализма» [Герасименко: 99]. Об «Истории» Полевого Достоевский упоминает в письме к брату Михаилу от 9 августа 1838 г. [Достоевский 28. 1: 51].

первая часть «Руководства к познанию всеобщей политической истории» И. К. Кайданова, посвященная древности. Как отмечает Е. Л. Смирнова: «На первых же страницах руководства автор указывал — в том числе и со ссылкой на Цицерона, знаменитое высказывание которого “*Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae et nuntia vetustatis*” (Cic. De orat., II, 9)¹ приведено в учебнике на латинском языке, — что история “содействует к распространению на свете царства истины, мудрости и добродетели”. И. К. Кайданов сообщал ученикам, что “просвещенный историею подобен человеку, живущему несколько тысячелетий и видевшему все перевороты, случившиеся в свете”, — и добавлял: “Тений Истории, образуя умы и сердца ваши, приведет вас наконец к главной, конечной цели изучения сей науки: в возвышении и падении Царств и народов, он покажет вам чудесные действия премудрости и правосудия Творца вселенной, по манию Коего Царства рождаются, возрастают и исчезают в океане времен”» [Смирнова: 12–13].

При сдаче вступительных экзаменов в Главное инженерное училище в сентябре 1837 г. Ф. М. Достоевский получил высший балл по истории [Нечаева 1979: 63]. Первые его литературные опыты в самом начале 1840-х гг. были связаны с попыткой написать сочинения на исторические темы «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» [Викторович 2023], [Викторович 2024], о чем мы знаем благодаря свидетельствам мемуаристов [Ризенкампф: 179], [Сараскина: 113]. По Кайданову Достоевскому преподавали историю и в Главном инженерном училище².

¹ «А сама история — свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины» [Цицерон: 233].

² Речь идет о следующих изданиях: «1) Учебная книга всеобщей истории. (Для юношества). История средних веков: От переселения народов и падения Западной Римской империи до открытия Америки и до преобразования (реформации) западной церкви, или от конца V до конца XV и начала XVI веков / соч. проф. И. [К.] Кайданова. СПб.: печатано при Имп. Академии наук, 1837; 2) Руководство к познанию всеобщей политической истории, сочиненное профессором Императорского Царскосельского лицея Иваном Кайдановым. Ч. 1–3. 6-е изд. СПб.: при Имп. Академии наук, 1837. (Ч. 2: История Средних веков); 3) Краткое начертание российской истории, составленное, для руководства при первоначальном изучении российской истории, профессором Иваном Кайдановым. 3-е изд. СПб.: В тип. Имп. Академии наук, 1836; 4-е изд. СПб.: тип. Имп. Академии наук, 1838» [Маскевич: 68].

В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский напишет, что «все почти европейские дипломаты учились по “Кайдашке”» [Достоевский 25: 148].

По воспоминаниям ротного офицера при Главном инженерном училище А. И. Савельева, во время учебы «Достоевского <более> занимали лекции истории и словесности Турунова и Плаксина, чем интегральные исчисления, уроки Тер-Степанова, Черневского» [Савельев: 167]. После Я. Н. Турунова курс истории Достоевскому читал декан историко-филологического факультета и ректор Императорского Санкт-Петербургского университета, профессор И. П. Шульгин (1794–1869) [Маскевич: 76]. По воспоминаниям учившихся у него студентов, он не отличался особыми педагогическими дарованиями. К примеру, А. А. Чумиков пишет о нем: «Лекции профессора И. П. Шульгина я находил довольно скучными, несмотря на то, что историческая наука всегда была моим любимым предметом. Заметно было, что источник знания профессора был не из глубоких и что ему порядочно надоело рассказывать одно и то же в течение долгих лет своего преподавательства в нескольких учебных заведениях» [Чумиков: 245].

В показаниях по делу петрашевцев 1849 г. Достоевский объяснил свое повышенное внимание к происходящим на Западе революциям и переворотам тем, что он «страстно любит исторические науки» [Достоевский 18: 162]. Последнее было правдой: будучи узником Петропавловской крепости, Федор в письме к брату Михаилу от 27 августа 1849 г. писал: «Хочешь мне прислать исторических сочинений. Это будет превосходно» [Достоевский 28. 1: 158]. В письме к нему же, но уже из Семипалатинска 27 марта 1854 г. ссыльный писатель вновь проявил свой неослабевающий интерес к историческому чтению: «А теперь попрошу у тебя книг. Пришли мне, брат. Журналов не надо; а пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидита, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д. Они все переведены по-французски)» [Достоевский 28. 1: 179].

Позднее, после своего освобождения и возвращения в Петербург Ф. М. Достоевский имел уже в собственной домашней библиотеке богатое собрание трудов (на иностранных языках и в русских переводах) историков Тацита, Г. Т. Бокля, Ф. Гизо, О. Йегера, Т. Карлейля, А. Ламартина, А. Тьера, У. Х. Прескотта, Ф. К. Шлоссера и др. В его собра-

нии хранились книги по античной истории, истории Испании XVI в., французской истории XVIII в., истории наполеоновских войн, французских революций и проч. [Библиотека: 21]. Не менее широко были представлены в библиотеке Достоевского и сочинения, посвященные истории России: «Акты по истории Южной и Западной России», изданные Археографической комиссией, и «Дополнения к Актам»; книга Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича»; «Записки императрицы Екатерины II»; «История государства Российского» Н. М. Карамзина; труды С. М. Соловьева, И. Е. Забелина, И. М. Снегирева, В. И. Сергеевича, М. П. Погодина; работы по истории Крымской войны, Восточному вопросу и др. Большой интерес у писателя вызывала также история Древней Руси и проч. [Библиотека: 21].

Сам страстно любивший историю, писатель еще в 1847 г. с горечью констатировал, что ни русский народ, ни люди «образованные» не знают толком отечественной истории:

Скажут: народ наш чтит память старинных царей и князей земли русской, погребенных в московском Архангельском соборе. Хорошо. Но кого же знает народ из царей и князей земли русской до Романовых? Он знает трех по имени: Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова... Но скажут, пожалуй: что же народ? Народ темен и необразован, и укажут на общество, на людей образованных; но и восторг людей образованных к родной старине, и беззаветное стремление к ней всегда казалось нам навязанным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас знает историю? Исторические сказки очень известны; но история в настоящее время, более чем когда-нибудь самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут до сих пор согласиться в самых основных идеях; ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые более чем когда-либо стали загадочными [Достоевский 18: 25–26].

Интерес писателя к истории предполагал ее постижение через глубинное исследование современности. Как отмечает Л. В. Черепнин, «Достоевский обладал историческим характером мышления. Он искал исторические корни современных ему явлений, воспринимал их не статически, а в динамике, не как простые события, а как процессы» [Черепнин: 148].

Большое место история занимает в редакторской и публицистической¹ деятельности Достоевского [Волкова]. Несмотря на то, что герои писателя критиковали идею исторического прогресса, сам Достоевский ее по-своему принимал, но лишь как идеал, к которому можно приблизиться путем больших усилий, а не как объективный закон, действие которого почти никак не зависит от жизненных стремлений и поступков отдельных людей. История, по его мнению, есть не что иное, как «картина уничтожения» неестественных, выдуманных человеком (часто «ошибочно, неумело, глупо») «долгов и обычаев» и «постепенного приближения человечества к законному, естественному, нормальному долгу» [Достоевский 19: 130].

В журналах «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865), издаваемых братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими, печатались, в том числе, и исторические материалы — по истории Пруссии, Италии, Польши, английских университетов, папства и пр. [Нечаева 1972: 143, 156–157, 163], [Нечаева 1975: 67, 89, 91]. Как пишет В. С. Нечаева: «Для журнала “Время” был характерен повышенный интерес к русской истории: почти во всех книгах журнала были помещены исторические статьи. Значительно слабее этот интерес выражен в “Эпохе”, хотя Ф. М. Достоевский еще в период ее организации задумывал выступить с исторической статьей в связи с возникшей в печати полемикой между Н. И. Костомаровым и Погодиным» [Нечаева 1975: 109]².

¹ У. С. Любятинская в кандидатской диссертации, посвященной изучению исторических воззрений автора на материале «Дневника писателя» называет Достоевского «профессиональным историком» [Любятинская: 14].

² Научная полемика историков Погодина и Костомарова была спровоцирована выходом в 1860 г. статьи последнего «Начало Руси» в журнале «Современник». Костомаров отстаивал не скандинавское, а литовское происхождение князя Рюрика и его братьев. В том же номере была подвергнута резкой критике книга близкого к славянофилам государственника М. П. Погодина «Норманнский период русской истории» (1859). Это вызвало ответную критику со стороны Погодина и привело к публичному диспуту двух ученых, состоявшемуся в том же году [Вилинбахов]. В дальнейшем полемика между историками растянулась на несколько лет и приобрела общественно-политическое значение. Достоевский в письме от 5 марта 1864 г. писал брату Михаилу: «Статья моя (будущая) о споре Погодина с Костомаровым будет во всяком случае —

Особого внимания заслуживает перевод статьи немецкого историка Г. Г. Гервинуса (1805–1871) «Теоретический очерк истории», опубликованный в ноябрьском номере «Времени» за 1861 г. В предисловии переводчика к этой статье, в частности, сообщалось: «История имеет дело с чисто человеческой жизнью, с самыми разнообразными и многосторонними ее проявлениями. Немудрено поэтому, если в настоящее время история не только что разрабатывается сама по себе, как особая специальность, но и становится центром, к которому тяготеют другие области знаний — политические и юридические, философия и даже психология. Будучи в основании чисто теоретическим знанием, эти науки приобретают тем более силы и тем ближе становятся к истине, чем ближе становятся к истории, чем тверже опираются на факты, предлагаемые ею... То же значение получает история при решении даже текущих вопросов политической газеты и журнального фельетона» [Гервинус: 245].

Сам Гервинус называет историю видом *искусства* и сравнивает ее с литературой и философией, которые также по-своему выражают действительный мир человека¹. «Действительность, настоящая основа и почва историка, есть вместе с тем основа и почва всего. Поэт возвышается над нею, философ погружается в нее: он забывает ее, отыскивая ее законы, но исходная точка того и другого — действительный мир» [Гервинус: 252]. По мнению немецкого ученого, история «учит нас рас-

большая статья и не может быть сокращена. Я смотрю на нее с надеждою. Я не знаю историю так, как они оба, а между прочим, мне кажется, что есть что сказать и тому и другому. Во всяком случае, я статью теперь написать — не могу. Физически не могу» [Достоевский 28. 2: 68].

¹ Гервинуса, как и его учителя Шлоссера, относят к либеральному направлению в немецкой историографии. В. Л. Фалейчик так характеризует его метод: «История, с точки зрения немецкого ученого, представляла собой синтез научного и художественного начал, что нашло свое выражение в применении им термина “историческое искусство”. Такой подход базировался на том, что создание настоящего исторического исследования невозможно без использования элементов деятельности поэта и философа, что в полной мере отвечает триединству познавательной деятельности человека восприятие — воображение — разум. Объединяющим звеном между научным и художественным началами служит понятие “идея”, нахождение и анализ которых является основной задачей историка» [Фалейчик: 16].

смаatrивать общественные отношения согласно целому; она убивает в нас своекорыстие, эгоизм, всякую аристократическую исключительность и, разоблачая дух древности, учит нас пользоваться настоящей жизнью» [Гервинус: 282].

Наконец (и эта мысль Гервинуса была особенно близка Достоевскому), «постоянное убеждение в бренности человеческих явлений, но вместе с тем сокрытая в них целесообразность, смена жизни и смерти, перемежающееся сознание свободы и сил человека, и с другой стороны зависимости его от высших сил, — все это вводит сдержанность в жизнь и суждения. История ведет своих адептов в высший мир, и они тем легче могут быть постоянно обдуманы и невозмутимы; трудно вызвать в них удивление, ибо пред глазами их ежеминутно проходят лучшие цветы мировой жизни; того не может прельстить мимолетное, кто переживает сердцем и умом вековую жизнь целых народов» [Гервинус: 283].

В 1867–1869 гг. Достоевский из-за границы в переписке со своим другом, поэтом А. Н. Майковым активно обсуждал замысел последнего создать цикл рассказов о русской истории (идея этого цикла возникла в связи с предыдущей увлеченной работой поэта над переводом «Слова о полку Игореве»). Как отмечают в своей статье О. В. Седельникова, Е. А. Головачева и О. П. Олейник, вопрос о способах художественного изображения «живой» истории был весьма важным для Достоевского и Майкова в связи с прежней острой дискуссией между редакцией «Времени» и утилитаристами [Седельникова].

Заметное влияние на Достоевского (и в частности, на его роман «Бесы») оказала историософская работа Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869), которую он называл «будущей настольной книгой всех русских надолго» [Достоевский 29. 1: 30]. Как замечает А. В. Отливанчик, «основная ценность учения Данилевского о “замкнутых цивилизациях” могла состоять для Достоевского-полемиста в возможности с позиций этого учения мысленно резко отграничивать славянскую и православную Россию от германо-романского Запада Европы, воспитанного в католической духовной традиции. Элементы цивилизационной теории Данилевского использовались Достоевским-публицистом всегда выборочно и инструментально, лишь постольку, поскольку могли являться вескими аргументами в полемике с европоцентристами-“западниками”» [Отливанчик: 128].

В целом история, как полагал Достоевский, давно выработала вековые идеалы красоты, которые стоили человечеству больших усилий, и понимающий человек должен уважительно относиться к этому опыту: «<...> мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества уже определились отчасти ее вековые идеалы (так что все это уже стало всемирной историей и связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно), — не говоря уже о том, заметим утилитаристам, что ведь можно относиться к прошедшей жизни и к прошедшим идеалам и не наивно, а исторически» [Достоевский 18: 96].

За несколько месяцев до своей кончины Достоевский в письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г. составил список для чтения его дочери, в котором, наряду с произведениями В. Скотта, И. В. Гете, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ч. Диккенса, Л. Н. Толстого и других писателей, особо были выделены собственно исторические труды: «Хорошо прочесть всю историю Шлоссера¹ и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. Завоевание Перу, Мексики Прескотта необходимы. Вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение» [Достоевский 30. 1: 212]. «Систематически» заняться историей для «расширения круга зрения» и «повышения уровня мыслей» Достоевский советовал и своему пасынку П. А. Исаеву [Достоевский 29. 1: 167]. Показателен и совет, данный писателем племяннице С. А. Ивановой: «Кстати: если примете мою мысль, то запаситесь как-нибудь, в деревню всей “Consulat et l’Empire” Тьера², на первый случай; в ней слишком много современной истории, и читайте не как роман,

¹ «Историю» Шлоссера, обычно относимого к либеральной гейдельбергской школе первой половины XIX в. [Савельева: 283], Достоевский неоднократно советовал читать разным своим знакомым. Можно предположить, что главная ценность труда Шлоссера для писателя заключалась в том, что ее автор, маскирующий свое изложение внешними позитивизмом и прогрессизмом, умел при этом неким гениальным образом создавать у вдумчивого читателя ощущение действия в истории высшей духовной силы. О присутствии «Истории» Шлоссера в творчестве Достоевского см.: [Подосокорский 2023a].

² Чтобы в полной мере осознать масштаб данного Достоевским совета молодой девушке, стоит вспомнить, что только один названный труд Тьера состоял из 21 внушительного тома, а таких сочинений писатель предлагал прочесть 50 — для того, чтобы только *начать* заниматься искусством!

а, так сказать, изучая. Это на первый случай; но, конечно, надо прочесть серьезно подобных книг, может быть, 50, чтоб иметь серьезное и твердое знание, твердое основание для искусства» [Достоевский 28. 2: 293].

Герои Достоевского как историки и персонажи «исторической литературы»

Слова Достоевского об историческом знании как о «твердом основании для искусства» в полной мере относятся к его собственному творчеству, ведь многие герои его произведений увлеченно читают и сочиняют, обсуждают, покупают и продают исторические труды, постоянно обращаются в своих диалогах и монологах к различным историческим примерам, усердно учат историю и настойчиво призывают других к ее постижению. В романе «Бедные люди» (1846) студент Покровский учит истории и другим предметам «препонятливую девочку» Сашу [Достоевский 1: 31]. В романе «Неточка Незванова» (1849) главная героиня рассказывает, как чтение исторических книг превращало ее в непосредственную участницу изучаемой истории [Достоевский 2: 231]. Пробовал «всемирную историю проходить» с дочерью Соней и титулярный советник Семен Мармеладов [Достоевский 6: 16]¹.

В романе «Идиот» на недостаточное историческое образование указывают Настасья Филипповна — Рогожину: «Ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы “Русскую историю” Соловьева прочел, ничего-то ведь ты не знаешь» [Достоевский 8: 176], и Аглая Епанчина — князю Мышкину: «...я заметила, что вы ужасно необразованны; вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас: ни кто именно, ни в котором году, ни по какому трактату? Вы очень жалки» [Достоевский 8: 430]. В «Бесах» Лизавета Тушина училась у Степана Трофимовича Верховенского с восьми лет до одиннадцати, и он рассказывал ей «какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок» [Достоевский 10: 59].

¹ Т. А. Касаткина указывает на конкретный учебник по древней истории Кайданова, как на вероятное чтение Сони Мармеладовой о Кире Персидском [Касаткина 2023: 95].

При этом ряд произведений Достоевского жанрово определен автором как «летопись» («Петербургская летопись», «Дядюшкин сон») или «хроника» («Бесы») и т. п., что позволяет формально отнести их к «исторической литературе» в широком смысле. «Историческая литература» обильно создается и внутри самих произведений писателя. К примеру, Ордынцов в «Хозяйке» (1847) является автором сочинения по истории церкви [Достоевский 1: 318]. В повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) после смерти Фомы Опискина в его комнатах была обнаружена рукопись с «началом исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии» [Достоевский 3: 130]. Степан Трофимович в «Бесах» пишет «Рассказы из испанской истории» [Достоевский 10: 61, 235]. А произведения начинающего писателя Ивана Петровича, героя романа «Униженные и оскорбленные» (1861) его близкие поначалу оценивают через призму исторических романов М. Н. Загоскина: «И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и всё это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим... Странно!» [Достоевский 3: 188].

Некоторые герои писателя создают собственные оригинальные историософские теории (как Родион Раскольников) или выступают с разоблачением уже существующих теорий. Так, в «Записках из подполья» (1864) критикуется прогрессистское понимание истории, выразителями которого в XIX в. были многие влиятельные европейские философы, включая А. Сен-Симона, Г. В. Ф. Гегеля, О. Конта, Д. С. Милля, Г. Спенсера и др. Идея прогресса «предполагает, что человечество улучшало свое состояние в прошлом (от некоего первобытного состояния примитивности, варварства или даже ничтожества), продолжает двигаться в этом направлении сейчас и будет двигаться и дальше в обозримой перспективе» [Нисбет: 35].

Против этой идеи, с ее верой в постоянное и всеобщее смягчение общественных нравов и в то, что человек с каждым новым веком делается все разумнее и просвещеннее, направлены обличительные речи подпольного парадоксалиста: «Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит!

Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, всё можно сказать о всемирной истории, всё, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь» [Достоевский 5: 116].

«Записки из подполья» совершили настоящий переворот в мировой философской мысли, хотя были оценены по достоинству лишь в XX столетии [«Записки из подполья»...]. Герой «Записок», опережая свое время, указывал на то, что человек зачастую действует нерационально и, казалось бы, в ущерб своим непосредственным интересам:

А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно [Достоевский 5: 119].

Дмитрий Разумихин в «Преступлении и наказании» обрушивается с критикой на не менее распространенное в то время понимание истории как процесса развития человечества, детерминированного социально-экономическими причинами:

Я тебе книжки ихние покажу: всё у них потому, что “среда заела”, — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагаются! У них не человечество, развившись историческим, *живым* путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя

из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит всё человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: “безобразия одни в ней да глупости” — и всё одною только глупостью объясняется! Оттого так и не любят живого процесса жизни: не надо *живой души!* [Достоевский 6: 196–197].

История как основа поэтики Достоевского

В целом ряде исследований¹ нами было показано, как различные исторические сюжеты, пропущенные через гениальное творческое сознание автора, создают своего рода фундамент для поэтики Достоевского и придают его художественным сочинениям дополнительный объем и смысл. Например, в комической повести «Дядюшкин сон» главная героиня Марья Москалева напрямую сравнивается с Наполеоном, и весь основной сюжет произведения при этом строится как пародия на наполеоновские войны (без знания истории наполеоновской эпохи понять художественный замысел автора оказывается просто невозможно). Выделим условно несколько основных элементов исторического в произведении Достоевского: имя (от Ликурга и Кира Персидского до Джузеппе Гарибальди и Отто фон Бисмарка), число (значимая дата или обозначение некоего важного периода), вещь (в ее роли может выступать что угодно — от книги по истории как предмета до символической детали в виде наполеондора или портрета Екатерины II), событие (отсылки к взятию Казани Иваном Грозным, казни мадам Дюбарри, битве при Ватерлоо, Крымской войне и т. п.) и цитата (не всегда точная и подлинная и часто перифразированная или приписываемая тому или иному историческому деятелю).

Все эти элементы не существуют изолированно, но тесно переплетены друг с другом и либо являются органическими частями вставного исторического повествования, непосредственно формализованного автором (таковы, например, воспоминания отставного солдата Астафия Ивановича о его участии в войнах с Наполеоном в 1812–1814 гг. в

¹ См. статьи: [Подосокорский 2011], [Подосокорский 2013], [Подосокорский 2022], [Подосокорский 2024] и др.

журнальной версии рассказа «Честный вор» или выдуманный анекдотический рассказ генерала Иволгина о его службе камер-пажом у Наполеона в 1812 г. в романе «Идиот»), либо сами образуют внутри произведения некий дополнительный сюжет второго плана, который не всегда очевиден без проведения тщательного филологического анализа и соответствующей историко-культурной реконструкции.

Обычно отправной точкой для развертывания в произведениях Достоевского завуалированного историко-мифологического сюжета является прямое упоминание имени какого-то знаменитого деятеля вроде Цезаря или Наполеона, которое уже самим фактом своего появления в тексте актуализирует целый ряд связанных с ним легенд. В каждом таком конкретном случае речь идет вовсе не о цепи случайных и произвольных ассоциаций, связанных с тем или иным прославленным именем, но о создании внутри текста еще одного целостного историко-художественно мира, который как бы отодвинут на второй план в основном сюжете произведения, в котором судьба вымышленных героев причудливым образом соединяется (через повторение, пародирование, продолжение и переосмысление разных ситуаций) с жизнью реальных исторических деятелей.

Это соединение отнюдь не сводится к моральному сопоставлению характеров и вообще к оценке нравственных качеств литературных героев и исторических фигур, но выражается именно в формировании дополнительной реальности (со своим специфическим сюжетом), существующей между мирами всеобщей истории и авторского искусства. По сути, речь идет о разновидности мифотворчества Нового времени, которое одинаково питает и литературу (не давая ей целиком отойти от продолжающейся человеческой истории в область так называемого «чистого искусства»), и историю (истолковывая в произведении ее социокультурные последствия для жизни последующих поколений, но не прямым и дискурсивным, а художественным способом).

В завершение выделим ключевые моменты того, как именно история понималась Достоевским, как она фигурирует в его творчестве. Во-первых, история для Достоевского не сводится к одному только завершенному прошлому, но живо присутствует как действующий субъект и в настоящем, продолжая формироваться, меняться, осмысляться и влиять на происходящее в том числе и через искусство. По мнению писателя, яркие фигуры предыдущих веков, обладающие бессмертной

душой, продолжают активно влиять на общество и после своей физической смерти: «Ну, кто бы мог подумать, что, например, Корнель и Расин отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что, казалось бы, и немислимо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Расин, в такие эпохи. Оказалось, что души-то и не умирают» [Достоевский 18: 78].

Во-вторых, история в сознании Достоевского всегда неотделима от судьбы конкретных человеческих личностей, носящих в себе *сердцевину целого*. В вере для писателя самым ценным, подлинным и репрезентативным была уникальная личность живого Христа, в истории же — трагические и сложные фигуры крупных исторических деятелей вроде Наполеона или Петра Великого.

В-третьих, огромное значение для писателя имела национальная история России, которая является органической частью всеобщей истории, но отнюдь не растворяется в ней: «Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем всё обратно» [Достоевский 18: 54]. Оторванность от родной почвы, веры и народа, презрение к России являются признаками саморазрушения и душевного распада его героев. Неслучайно в произведениях Достоевского столь часто упоминаются конкретные книги по российской истории, которые требуют к себе повышенного внимания читателя.

Назначение истории, как оно было сформулировано писателем еще в стихотворении «На первое июля 1855 года», состоит в том, чтобы рассказывать «священные дела», и при помощи «беспристрастного резца» создавать «светлый, ясный образ» родины [Достоевский 2: 408]. Старец Зосима в своих поучениях утопически связывал историческое призвание русского народа с идеей служения и «подвигами просвещения и милосердия» [Достоевский 14: 288].

В-четвертых, у каждого персонажа художественных миров писателя есть своя собственная *история*, в которой отражается весь исторический опыт человечества. Своей историей персонаж Достоевского, как правило, рано или поздно делится с другими. Характерен в этом смысле диалог Мечтателя и Настеньки в романе «Белые ночи»:

— Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории? [Достоевский 2: 110].

Жить без истории оказывается совершенно невозможно, ибо история и есть синоним самой жизни в ее динамике. Герой «Униженных и оскорбленных», являющийся альтер-эго самого Достоевского, так рассказывает Елене о своем основном занятии: «И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством» [Достоевский 3: 296]. Как отмечал еще В. И. Кайгородов, «герой Достоевского всегда в центре жизни, он в сущности и есть история, творец ее, а значит, и себя самого [Кайгородов: 40].

В-пятых, серьезные философские размышления об истории зачастую прикрыты у Достоевского большой долей юмора героев-шутов и едкой иронией героев-идеологов. Вот, к примеру, в какой форме в повести «Село Степанчиково и его обитатели» выражена мысль о том, кто и почему оказывается прославлен во всемирной истории:

— Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

— Не пощажу дурака! — кричал Фома.

— И не щади! — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, — нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! [Достоевский 3: 159].

За этим сумасбродным обвинением юродствующего Фомы скрывается многовековая проблема отношения христиан к великим деятелям

внехристианской истории, которая не имеет однозначного и простого решения. Вдохновлявший столь многих героев Достоевского Наполеон I, когда ему было одиннадцать лет, перестал, по его собственному признанию, считать себя искренне верующим христианином именно после того, как услышал в одной проповеди, что великий Цезарь будет вечно гореть в аду уже потому, что он жил до пришествия Христа и не отправлял христианских ритуалов [Кронин: 34]. Достоевский не избегает полностью моральной оценки личностей «особенно страшных кровопроливцев» (как их называет Раскольников), но и не ставит ее во главу угла, как Л. Н. Толстой.

В-шестых, дополнительные исторические сюжеты в произведениях писателя проникнуты игровым началом, хотя и не сводятся только к одной игре. На это обратил внимание еще К. Г. Исупов, который отмечает, что герой Достоевского «может имитировать в своем поведении историческую личность, “цитировать” в своей судьбе исторический сюжет, апеллировать к историческому факту и строить целые программы исторических аргументаций, может “сбежать” в историю до полного забвения настоящего, — в любом случае прошлое как осязаемая, плотно набитая событиями реальность, чрезвычайно важный компонент поведенческих детерминаций героя. Не составит большого труда показать, что в экспериментальных типах поведения (по авторскому определению: “шаг”, “проба”) герои Достоевского заняты тем, что сейчас называют историческими играми» [Исупов: 116].

В-седьмых, в основе всемирной истории у Достоевского всегда лежит история священная, над которой надстраивается история профанная, сугубо человеческая.

В-восьмых, благодаря Достоевскому всемирная история в нашем представлении также сильно изменилась и усложнилась. К примеру, после публикации «Преступления и наказания» и других произведений писателя столь же невозможен разговор о Наполеоне и его мифе, сколь немислимы обращения к образу кардинала Ришелье без отсылки к романам А. Дюма или исследование личности Бориса Годунова без учета поэтических прозрений А. С. Пушкина. Достоевский изменил в мировой культуре взгляд на человека, который всегда находится в центре истории и не может жить сам по себе, закрывшись от чужого страдания, не разрушив при этом себя. «Ни у кого, кажется, в истории мира не было такого отношения к человеку, как у Достоевского», —

писал Н. А. Бердяев [Бердяев: 360]. «Он великий зачинатель и *предопределитель* нашей культурной сложности», — замечал относительно значения Достоевского для последующей истории В. И. Иванов [Иванов: 402].

История для Достоевского — не некий обобщенный процесс, определяемый и измеряемый большими цифрами, статистически и отстраненно, но цепь «частных случаев» и конкретных судеб (личных историй), через приобщение к которым только и можно увидеть подлинный ход и глубинный смысл большой истории. В своем восприятии истории писатель был гораздо ближе к историку древности Плутарху, чем к современному историку Шаррасу, хотя первый строил свои жизнеописания во многом на героических легендах и священных преданиях, а второй писал книги, основываясь на строгих фактах и документах. Достоевский верил, что даже один человек, самый незначительный и слабый, может в одночасье стать подлинным творцом истории, что большая история абсолютно бессмысленна, если из нее исключается религиозное измерение, выражающееся не в постановлениях государственных и церковных институций, а в глубоко личных отношениях конкретного человека с Богом.

«Реализм в высшем смысле» Достоевского-художника невозможно понять без учета отношения писателя к человеческой истории, в которой действуют самые разные силы, и главная борьба проходит не между государствами, но между дьяволом и Богом, по-разному видящими всемирное единство человечества.

Список литературы

Источники

Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. М.: Изд-во «Э», 2016. С. 311–510.

Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание / отв. ред. Н. Ф. Буданова. СПб.: Наука, 2005. 338 с.

Гервинус Г. Г. Теоретический очерк истории // Время. Журнал литературный и политический. 1861. Ноябрь. С. 244–286.

Достоевский А. М. Воспоминания / вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 395 с.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера / пер. и примеч. Н. В. Ревуненковой; под общ. ред. А. Д. Люблинской. Л.: Наука, 1978. 312 с.

Ризенкамф А. Е. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: в 2 т. / вступ. ст., сост. и коммент. К. Тюнькина; подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 176–184.

Савельев А. И. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: в 2 т. / вступ. ст., сост. и коммент. К. Тюнькина; подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 163–170.

Семенов-Тянь-Шанский П. П. Из «Мемуаров» // Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: в 2 т. / вступ. ст., сост. и коммент. К. Тюнькина; подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 291–311.

Цицерон. Об ораторе / пер. Ф. А. Петровского // *Цицерон.* Эстетика: Трактаты, Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 162–372.

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.: Худож. лит., 1939–1953.

Чумиков А. А. Петербургский университет полвека назад // Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках: в 3 т. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2024. Т. 1. 1807–1861: в 2 кн. Кн. I / сост. и отв. ред. Т. Н. Жуковская. С. 236–256.

Исследования

Викторович В. А. Утраченная пьеса Достоевского «Мария Стюарт» (материалы к реконструкции замысла) // *Неизвестный Достоевский.* 2023. Т. 10. № 4. С. 55–101. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2023.7021>

Викторович В. А. Утраченная пьеса Достоевского «Борис Годунов» (источники, концепция) // *Неизвестный Достоевский.* 2024. Т. 11. № 1. С. 5–43. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2024.7121>

Вилинбахов Г. В. К истории одной научной дуэли (диспут М. П. Погодина и Н. И. Костомарова) // *Археографический ежегодник.* М.: Наука, 2013. Т. 1, № 1. С. 162–179.

Волкова Е. А. Освещение основных проблем российской истории в публицистических сочинениях Ф. М. Достоевского // *Вестник Брянского государственного университета.* 2016. № 2 (28). С. 37–40.

Герасименко Г. А. История российской исторической науки (дооктябрьский период). М.: Российская международная академия туризма, 1998. 192 с.

«Записки из подполья» Ф. М. Достоевского в культуре Европы и Америки / отв. ред. Е. Д. Гальцова. М.: ИМЛИ РАН, 2021. 1024 с.

Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия // *Иванов В. И.* Собр. соч.: в 4 т. / под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1987. Т. 4. С. 399–436.

Исупов К. Г. Историческое познание в художественном опыте Ф. М. Достоевского // *Исупов К. Г.* Русская философская культура. СПб.: Университетская книга, 2010. С. 114–143.

Кайгородов В. И. Об историзме Достоевского // *Достоевский.* Материалы и исследования / ред. Г. М. Фридлиндер. Л.: Наука, 1980. Т. 4. С. 27–40.

Касаткина Т. А. Кир Персидский и «Физиология» Льюиса в «Преступлении и наказании» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2023. № 4(24). С. 93–128. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2023-4-93-128>

Кронин В. Наполеон / пер. с англ. С. Струкова. М.: Захаров, 2008. 559 с.

Любятинская У. С. Исторические воззрения Ф. М. Достоевского: По материалам «Дневника писателя»: дис. ... канд. истор. наук. М., 2006. 193 с.

Маскевич Е. Д., Тихомиров Б. Н. Из юных лет Михаила и Федора Достоевских (Новые архивные материалы 1837–1839 гг.) // Неизвестный Достоевский. 2019. Т. 6. № 2. С. 56–93. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2019.3981>

Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861–1863. М.: Наука, 1972. 317 с.

Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха» 1864–1865. М.: Наука, 1975. 303 с.

Нечаева В. С. Ранний Достоевский, 1821–1849. М.: Наука, 1979. 288 с.

Нисбет Р. Прогресс: история идеи / пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и Г. Сапова. М.: ИРИСЭН, 2007. 555 с.

Отливанчик А. В. Философско-историческая доктрина Н. Я. Данилевского в восприятии Ф. М. Достоевского: по документальным источникам // Достоевский: материалы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2019. Т. 22. С. 120–129.

Подосокорский Н. Н. Наполеоновские войны в «Дядюшкином сне» Ф. М. Достоевского // Вопросы литературы. 2011. № 6. С. 350–362.

Подосокорский Н. Н. Наполеон и 1812 год в творчестве Ф. М. Достоевского // 1812 год и мировая литература / отв. ред. В. И. Щербаков. М.: ИМЛИ, 2013. С. 319–364.

Подосокорский Н. Н. «Наполеоновский» Петербург и его отражение в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2022. № 4 (20). С. 71–135. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2022-4-71-135>

Подосокорский Н. Н. Лакей Смердяков как почитатель Наполеона в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Новый мир. 2024. № 1 (1185). С. 172–183.

Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания. СПб.: Алетейя. Историческая книга, 2007. 523 с.

Сараскина Л. И. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 2011. 825 с.

Седельникова О. В., Головачева Е. А., Олейник О. П. «Рассказы из русской истории» А. Н. Майкова: от идеи к реализации // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2024. № 1 (25). С. 198–221. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2024-1-198-221>

Смирнова Е. Л. Достоевский и античность: классическое образование в пансионе Л. И. Чермака // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 2. С. 5–33. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5441

Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М.: Раритет, 2005. 512 с.

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной, В. В. Харитонова. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. 528 с.

Фалейчик В. Л. Исторические взгляды Г. Г. Гервинуса: автореф. дис. ... канд. истор. наук. Пенза, 2007. 24 с.

Федоров Г. А. Пансион Л. И. Чермака в 1834–1837 гг. (по новым материалам) // Достоевский. Материалы и исследования / ред. Г. М. Фридлиндер. Л.: Наука, 1974. Т. 1. С. 241–254.

Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М.: Мысль, 1968. 383 с.

Штейнберг А. Дневники (1909–1971). Ф. М. Достоевский / сост., подгот. текста и коммент. Н. Портновой. М.: Модест Колеров, 2017. 384 с.

References

- Viktorovich, V. A. “Utrachennaia pësa Dostoevskogo ‘Mariia Stiuart’ (materialy k rekonstruktsii zamysla)” [“Dostoevsky’s Lost Play ‘Mary Stuart’ (Materials for the Reconstruction of the Idea)”]. *Neizvestnyi Dostoevskii*, vol. 10, no. 4, 2023, pp. 55–101. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2023.7021> (In Russ.)
- Viktorovich, V. A. “Utrachennaia pësa Dostoevskogo ‘Boris Godunov’ (istochniki, kontsepsiia)” [“Dostoevsky’s Lost Play ‘Boris Godunov’ (Sources, Concept)”]. *Neizvestnyi Dostoevskii*, vol. 11, no. 1, 2024, pp. 5–43. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2024.7121> (In Russ.)
- Vilinbakhov, G. V. “K istorii odnoi nauchnoi dueli (disput M. P. Pogodina i N. I. Kostomarov)” [“On the History of a Scientific Duel (Dispute Between M. P. Pogodin and N. I. Kostomarov)”]. *Arkhograficheskii ezhegodnik*, vol. 1, no. 1. Moscow, Nauka Publ., 2013, pp. 162–179. (In Russ.)
- Volkova, E. A. “Osveshchenie osnovnykh problem rossiiskoi istorii v publitsisticheskikh sochineniiakh F. M. Dostoevskogo” [“Coverage of the Main Problems of Russian History in the Journalistic Writings of F. M. Dostoevsky”]. *Vestnik Brianskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 2 (28), 2016, pp. 37–40. (In Russ.)
- Gerasimenko, G. A. *Istoriia rossiiskoi istoricheskoi nauki (dooktiabr’skii period)* [The History of Russian Historical Science (Pre-October Period)]. Moscow, Rossiiskaia mezhdunarodnaia akademiia turizma Publ., 1998. 192 p. (In Russ.)
- “Zapiski iz podpol’ia” F. M. Dostoevskogo v kul’ture Evropy i Ameriki [“Notes from the Underground” by F. M. Dostoevsky in the Culture of Europe and America]. Moscow, IWL RAS Publ., 2021. 1024 p. (In Russ.)
- Ivanov, V. I. “Dostoevskii i roman-tragediia” [“Dostoevsky and the Tragedy Novel”]. *Ivanov, V. I. Sbranie sochinenii: v 4 t.* [Collected Works: in 4 vols.], vol. 4, ed. by D. V. Ivanov and O. Deshart. Bruxelles, Foyer Oriental Chrétien Publ., 1987, pp. 399–436. (In Russ.)
- Isupov, K. G. “Istoricheskoe poznanie v khudozhestvennom opyte F. M. Dostoevskogo” [“Historical Knowledge in the Artistic Experience of F. M. Dostoevsky”]. Isupov, K. G. *Ruskaia filosofskaia kul’tura* [Russian Philosophical Culture]. St. Petersburg, Universitetskaia kniga Publ., 2010, pp. 114–143. (In Russ.)
- Kaigorodov, V. I. “Ob istorizme Dostoevskogo” [“About Dostoevsky’s Historicism”]. Fridlender, G. M., editor. *Dostoevskii. Materialy i issledovaniia* [F. M. Dostoevsky. Materials and Research], vol. 4. Leningrad, Nauka Publ., 1980, pp. 27–40. (In Russ.)
- Kasatkina, T. A. “Kir Persidskii i ‘Fiziologiiia’ Liuisa v ‘Prestuplenii i nakazanii’” [“Cyrus of Persia and Lewes’ ‘Physiology’ in the Novel ‘Crime and Punishment.’”]. *Dostoevskii i mirovaia kul’tura. Filologicheskii zhurnal*, no. 4 (24), 2023, pp. 93–128. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2023-4-93-128> (In Russ.)
- Kronin, V. *Napoleon* [Napoleon], trans. from English S. Strukov. Moscow, Zakharov Publ., 2008. 559 p. (In Russ.)
- Liubiatinskaia, U. S. *Istoricheskie vozzreniia F. M. Dostoevskogo: Po materialam “Dnevnikha pisatelii”* [The Historical Views of F. M. Dostoevsky: Based on the Materials of the “Diary of a Writer”: PhD Dissertation]. Moscow, 2006. 193 p. (In Russ.)

Maskevich, E. D., and B. N. Tikhomirov. "Iz iunykh let Mikhaila i Fedora Dostoevskikh (Novye arkhivnye materialy 1837–1839 gg.)" ["The Teen Years of Mikhail and Fedor Dostoevsky (New Archival Materials of 1837–1839)"]. *Neizvestnyi Dostoevskii*, 2019, vol. 6, no. 2, pp. 56–93. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2019.3981> (In Russ.)

Nechaeva, V. S. *Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskikh "Vremia" 1861–1863* [*The Magazine of M. M. and F. M. Dostoevsky "Time," 1861–1863*]. Moscow, Nauka Publ., 1972. 317 p. (In Russ.)

Nechaeva, V. S. *Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskikh "Epokha" 1864–1865* [*The Magazine of M. M. and F. M. Dostoevsky "Epoch," 1864–1865*]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 303 p. (In Russ.)

Nechaeva, V. S. *Rannii Dostoevskii, 1821–1849* [*Early Dostoevsky, 1821–1849*]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 288 p. (In Russ.)

Nisbet, R. *Progress: istoriia idei* [*Progress: The History of the Idea*], trans. from English by Iu. Kuznetsov and G. Sapov. Moscow, IRISEN Publ., 2007. 555 p. (In Russ.)

Otlivanchik, A. V. "Filosofsko-istoricheskaia doktrina N. Ia. Danilevskogo v vospriiatii F. M. Dostoevskogo: po dokumental'nym istochnikam" ["Philosophical and Historical Doctrine of N. Ya. Danilevsky: On Documentary Perception of F. M. Dostoevsky: On Documentary Sources"]. *Dostoevskii: materialy i issledovaniia* [*Dostoevsky: Materials and Research*], vol. 22, 2019, pp. 120–129. (In Russ.)

Podosokorskii, N. N. "Napoleonovskie voiny v 'Diadiushkinom sne' F. M. Dostoevskogo" ["The Napoleonic Wars in F. M. Dostoevsky's 'Uncle's Dream'"]. *Voprosy literatury*, no. 6, 2011, pp. 350–362. (In Russ.)

Podosokorskii, N. N. "Napoleon i 1812 god v tvorchestve F. M. Dostoevskogo" ["Napoleon and the Year 1812 in the Works of F. M. Dostoevsky"]. Shcherbakov, V. I., editor. *1812 god i mirovaia literatura* [*The Year 1812 in World Literature*]. Moscow, IWL RAS Publ., 2013, pp. 319–364. (In Russ.)

Podosokorskii, N. N. "Napoleonovskii' Peterburg i ego otrazhenie v romane F. M. Dostoevskogo 'Prestuplenie i nakazanie.'" ["Napoleonic' Petersburg and Its Reflection in F. M. Dostoevsky's Novel 'Crime and Punishment.'"] *Dostoevskii i mirovaia kul'tura. Filologicheskii zhurnal*, no. 4 (20), 2022, pp. 71–135. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2022-4-71-135> (In Russ.)

Podosokorskii, N. N. "Lakai Smerdiakov kak pochitatel' Napoleona v romane F. M. Dostoevskogo 'Brat'ia Karamazovy.'" ["Lackey Smerdyakov as an Admirer of Napoleon in F. M. Dostoevsky's Novel 'The Brothers Karamazov.'"] *Novyi mir*, no. 1 (1185), 2024, pp. 172–183. (In Russ.)

Savel'eva, I. M., Poletaev, A. V. *Teoriia istoricheskogo znaniia* [*Theory of Historical Knowledge*]. St. Petersburg, Aleteia, Istoricheskaia kniga Publ., 2007. 523 p. (In Russ.)

Saraskina, L. I. *Dostoevskii* [*Dostoevsky*]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 2011. 825 p. (In Russ.)

Sedel'nikova, O. V., E. A. Golovacheva, and O. P. Oleinik. "Rasskazy iz russkoi istorii" A. N. Maikova: ot idei k realizatsii" ["Apollon Maykov's 'Tales from Russian History': from Idea to Implementation"]. *Dostoevskii i mirovaia kul'tura. Filologicheskii zhurnal*, no. 1 (25), 2024, pp. 198–221. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2024-1-198-221> (In Russ.)

Smirnova, E. L. “Dostoevskii i antichnost’: klassicheskoe obrazovanie v pansione L. I. Chermaka” [“Dostoevsky and Antiquity: Classical Education at the L. I. Chermak Boarding School”]. *Neizvestnyi Dostoevskii*, vol. 8, no. 2, 2021, pp. 5–33. <https://doi.org/10.15393/j10.art.2021.5441> (In Russ.)

Stepanian, K. A. “Soznat’ i skazat’”: “Realizm v vysshem smysle” kak tvorcheskii metod F. M. Dostoevskogo [“To Know and Say”: “Realism in the Highest Sense” as F. M. Dostoevsky’s Creative Method]. Moscow, Raritet Publ., 2005. 512 p. (In Russ.)

Uait, Kh. *Metaistoriia: Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka* [Metahistory: Historical Imagination in 19th Century Europe], trans. from English, ed. by E. G. Trubina, V. V. Kharitonov. Moscow, Ekaterinburg, Kabinetnyi uchenyi Publ., 2023. 528 p. (In Russ.)

Faleichik, V. L. *Istoricheskie vzgliady G. G. Gervinusa* [Historical views of G. G. Gervinus: PhD Thesis, Summary]. Penza, 2007. 24 p. (In Russ.)

Fedorov, G. A. “Pansion L. I. Chermaka v 1834–1837 gg. (po novym materialam)” [“Boarding House of L. I. Chermak in 1834–1837 (Based on New Materials)”]. *Dostoevskii. Materialy i issledovaniia* [Dostoevsky. Materials and Research], vol. 1. ed. by G. M. Fridlender. Leningrad, Nauka Publ., 1974, pp. 241–254. (In Russ.)

Cherepnin, L. V. *Istoricheskie vzgliady klassikov russkoi literatury* [Historical Views of the Classics of Russian Literature]. Moscow, Mysl’ Publ., 1968. 383 p. (In Russ.)

Shteinberg, A. *Dnevniky (1909–1971). F. M. Dostoevskii* [Diaries (1909–1971). F. M. Dostoevsky], comp., text prep. and comm. by N. Portnova. Moscow, Modest Kolerov Publ., 2017. 384 p. (In Russ.)

© 2024. Е. А. Федорова, В. В. Любарец

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова,
Ярославль, Россия

Тема отрочества в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского: аксиологический подход А. А. Ухтомского

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 23-28-01302, <https://rscf.ru/project/23-28-01302/>*

Аннотация: В статье дается историография освещения темы отрочества у Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Аксиологический подход к творчеству обоих писателей известного ученого и мыслителя А. А. Ухтомского позволяет исследовать духовно-нравственную проблематику произведений. В повести «Детство» и романе «Братья Карамазовы» показаны типы гордых героев — это Николенька у Толстого, Илюша Снегирев у Достоевского. Оба персонажа переживают похожие состояния «затмения», когда «естественный» закон заглушается плотскими чувствами. Коля Красоткин, как и Николенька, увлекается рационализмом, что приводит обоих к духовному кризису. Выходом из него становится покаяние, сострадание и общение с «собеседниками», которые являются носителями христианского идеала.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, «Отрочество», «Братья Карамазовы», А. А. Ухтомский, принцип доминанты, «двойник», «собеседник».

Информация об авторах: Елена Алексеевна Федорова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики коммуникации, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, д. 14, 150003 г. Ярославль, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7756-2499>

E-mail: sole11@yandex.ru

Виктория Викторовна Любарец, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, д. 14, 150003 г. Ярославль, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0369-3282>

E-mail: trybatrepko2003@gmail.com

Дата поступления статьи в редакцию: 19.04.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 28.06.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Федорова Е. А., Любарец В. В. Тема отрочества в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского: аксиологический подход А. А. Ухтомского // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 126–143. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-126-143>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 126–143. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 126–143. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Elena A. Fedorova

P. G. Demidov Yaroslavl State University Yaroslavl, Russia

© 2024. Victoria V. Liubarets

P. G. Demidov Yaroslavl State University Yaroslavl, Russia

The Theme of Adolescence in the Works of L. N. Tolstoy and F. M. Dostoevsky: Axiological Approach of A. A. Ukhtomsky

Acknowledgments: This work was carried out with financial support from the Russian Science Foundation, project no. 23-28-01302, <https://rscf.ru/project/23-28-01302/>

Abstract: The article provides a historiography of the coverage of the theme of adolescence in the works of L. N. Tolstoy and F. M. Dostoevsky. An axiological approach to the works of both writers by the famous scientist and thinker A. A. Ukhtomsky allows us to explore the spiritual and moral issues of the works. The story “Childhood” and the novel “The Brothers Karamazov” show the types of proud characters — this is Tolstoy’s Nikolenka and Dostoevsky’s Ilyusha Snegirev. Due to their pride and the desire to please others, both characters experience a similar state of “eclipse,” when carnal feelings drown out the “natural” law. Kolya Krasotkin, like Nikolenka, is carried away by rationalism, which leads both characters to a spiritual crisis.

Keywords: L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky, “Adolescence,” “The Brothers Karamazov,” A. A. Ukhtomsky, the principle of dominance, “double,” “interlocutor.”

Information about the authors: Elena A. Fedorova, DSc in Philology, Associate Professor, Professor, Department of Theory and Practice of Communication, P. G. Demidov Yaroslavl State University, Sovetskaya St., 14, 150003 Yaroslavl, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7756-2499>

E-mail: sole11@yandex.ru

Viktoria V. Liubarets, Department of Theory and Practice of Communication, P. G. Demidov Yaroslavl State University, Sovetskaya St., 14, 150003 Yaroslavl, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0369-3282>

E-mail: trybatrepko2003@gmail.com

Received: April 19, 2024

Approved after reviewing: June 28, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Fedorova, E. A., and V. V. Liubarets. “The Theme of Adolescence in the Works of L. N. Tolstoy and F. M. Dostoevsky: Axiological Approach of A. A. Ukhtomsky.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 126–143. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-126-143>

Проблема аксиологического подхода к исследованию темы отрочества в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского в современной науке недостаточно изучена. Попытку сопоставить антропологические взгляды писателей в свете их системы ценностей осуществили в разное время Я. С. Билинкис и А. А. Казаков. В процессе духовного роста Николеньки, считает Я. С. Билинкис, в период отрочества сыграла важнейшую роль не только дружба, но и общение с другими людьми (Натальей Савишной, Карлом Иванычем), «расширяющее человеческую душу». Толстой показывает, по существу, общение с Другим, поскольку в Другом открывается герою Толстого целый мир [Билинкис: 31–32]. Я. С. Билинкис противопоставляет сочинениям Толстого произведения Достоевского, который не стремился выразить «состояния своих героев через конкретность их жестов, поз, манеры общаться», обходится без конкретных подробностей внешнего облика [Билинкис: 16].

А. А. Казаков сопоставляет ценностную архитектонику произведений Толстого и Достоевского, опираясь на методологию М. М. Бахтина. Модель авторской активности Толстого, по его мнению, антидиалогична, в отличие от модели Достоевского, исследователь возводит ее к «Поэтике» Аристотеля, к философии Декарта: «У Толстого прибыльность авторского участия основывается не на полномочиях Другого, а на востребованности твоего Я в этом мире. Каждый с позиции Я соучаствует в наполнении мира смыслом, в прояснении жизни, в придании реальности бытийной напряженности, в сотворении мира» [Казаков: 142]. Автор, по мнению Казакова, берет на себя функцию прояснения реальности и участвует в сотворении мира, как будто от него зависит, будет небытие или бытие [Казаков: 142].

Более точной видится нам позиция А. П. Скафтымова, который в трилогии Толстого видел проблему поиска путей спасения личности. Исследовательские работы А. П. Скафтымова позволяют увидеть в романах, повестях Толстого и Достоевского иерархическую шкалу

телеологически направленных ценностей [Скафтымов: 134–137]. Это противоречит мнению А. А. Казакова о том, что ценностные смыслы рождаются у Толстого по мере погружения в жизнь.

Интерес к трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» в российской науке возрастает к 50–60-м гг. XX в. Исследователей интересует преимущественно тема формирования личности, но в рамках господствующей тогда идеологии почти все обращают внимание на роль среды и изображение сословных противоречий. Однако вопреки социологическому подходу, в это время происходит также интенсивное осмысление нравственной проблематики произведений Толстого. Например, И. В. Чуприна рассматривает детство и отрочество как два противоположных этапа развития человека: «Детство берется как положительная фаза, когда природное добро представляется Толстому в чертах “кроткого прития мира и любви к людям”»; отрочество представляет как бы отрицание предыдущего, когда под влиянием искажающих факторов происходит затмение глубиной доброй душевной сущности» [Чуприна: 13–14]. Одной из причин, искаживших детский верный взгляд на мир, исследователь считает «умствования» Николеньки, усвоение им «ложных нравственных понятий» [Чуприна: 15].

В. Г. Одинокое поднимает проблему поиска героем Толстого нравственного идеала [Одинокое: 3]. Если в «Детстве» общение с няней Натальей Савишной пробуждает в нем любовь к простому человеку, в котором он ценит «искренность, чистоту и силу чувства», то в «Отрочестве» образ Нехлюдова, несущий идею нравственного самоусовершенствования, по мнению Одинокоева, не так однозначен, как образ Натальи Савишны [Одинокое: 6]. Исследователь обнаруживает в мыслях и поступках Нехлюдова ложь и жестокость [Одинокое: 6]. Н. П. Лощинин выделяет в образе Натальи Николаевны черты характера Марии Николаевны Толстой, матери автора, которая оказала благотворное влияние на сына, обращает внимание на то, что мать Николеньки пробуждает в нем интерес к музыке [Лощинин: 16, 22]. Нехлюдова этот исследователь воспринимает как героя, открывающего Николеньке мир самоанализа и стремления к добродетели, к нравственному совершенствованию [Лощинин: 28].

Л. Я. Круглик обращает внимание на проблему семейного воспитания в трилогии Толстого и рассматривает формы и средства психологического анализа [Круглик: 7, 11]. Ведущую роль в раскрытии

внутреннего мира героя, по мнению исследователя, играют внутренние монологи, которые меняются в «Отрочестве»: постепенно они обогащаются социальным содержанием и затрагивают «важнейшие и наиболее важные вопросы человеческой жизни» [Круглик: 12]. Л. Я. Круглик в главе «Мечты» из повести «Отрочества» видит кульминацию лейтмотива трилогии, которая связана с темой нравственного обновления человека [Круглик: 13]. Символом обновления становится, по мнению исследователя, образ весны [Круглик: 15].

В 1970-е гг. исследователи отказываются от узких социологических представлений своих предшественников. Так, Я. С. Билинкис в книге о новаторстве Толстого утверждает, что «человек у Толстого больше, шире любых внешних воздействий, любых установленных определений <...> он сам *создает* свои отношения с миром» [Билинкис: 6]. Он обращает внимание на раздел «Именинник» «Дневника Писателя» Достоевского за 1877 г., в котором тот высоко оценил главу «Затмение» из повести «Отрочество» и увидел в ней «чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный». Объединяют двух писателей, по мнению ученого, «вопросы о самой природе человека», размышления о бессмертии души как единения с вечностью и путями человечества [Билинкис: 6, 29]. Анализ черновых редакций повести, осуществленный Билинкисом, доказал, как тщательно Толстой работал над изображением «переходных состояний» человека, что его интересовали проблемы соотношения психического и физиологического, что он искал характерные для данной личности способы выражения чувств, «жизни души» [Билинкис: 10, 12–13].

В современной науке к теме отрочества обращаются такие исследователи, как А. Ф. Цирулев, Н. И. Городилова и др. А. Ф. Цирулев доказывает, что цель автора трилогии — «воспроизвести главнейшие ступени становления и развития всякой личности вообще» и показать движение героя от «счастья тщеславия» к «счастью добродетели» [Цирулев: 28]. Н. И. Городилова считает, что Толстой создает тип совестливого человека, склонного к рефлексии, и в трилогии происходит движение от «я» к миру [Городилова].

Тема отрочества в творчестве Ф. М. Достоевского рассматривается В. А. Михнюкевичем, Н. А. Азаренко, Т. Н. Созиной, А. В. Бабуком и др. Так, Т. Н. Созина исследует гуманистическое мышление Достоевского и выделяет категорию «трогательного», связанную, по ее мнению,

с сентиментальным пафосом, который она обнаруживает в диалогах Коли Красоткина и Илюши Снегирева, в беседах мальчиков с Алешей Карамазовым,двигающихся к согласию друг с другом: «Категория трогательного позволяет обнажить самые глубинные мысли, скрывающиеся в каждодневном общении людей, и показать, как в особую минуту откровения эти мысли могут на какое-то мгновение слиться в унисон» [Созина: 138].

В. А. Михнюкевич исследует христианское мировоззрение Достоевского и предлагает свою типологию детских образов героев Достоевского. Исследователь считает, что Коля Красоткин и Илюша Снегирев, герои книги «Мальчики» из романа «Братья Карамазовы», относятся к «гордым» персонажам [Михнюкевич: 23]. Изучая апокрифические «Евангелия детства», Михнюкевич обнаруживает черты Христа-отрока из «Евангелия Фомы» в обоих героях: это превосходство персонажей над окружением, строгость суждения [Михнюкевич: 25], утверждает, что дети у Достоевского осмысляются как предвестники «золотого века», двенадцать детей вокруг Алеши Карамазова в финале романа символизируют «будущую вселенскую Церковь» [Михнюкевич: 26]. А. В. Бабук останавливает внимание на «онтологизме страдания» в романе Достоевского [Бабук: 85].

В данной статье мы предлагаем проанализировать процесс духовных исканий героев-отроков Толстого и Достоевского с помощью этического учения Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942) — русского религиозного мыслителя и ученого. В своих исследованиях он обращался к творчеству названных классиков.

В Рыбинском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике хранится часть библиотеки А. А. Ухтомского с его заметками на полях книг. Ученый сформулировал принцип доминанты, к которому обращаются сейчас во всех гуманитарных дисциплинах. Доминанта — это устойчивая характеристика деятельности личности, главенствующие направления мысли и деятельности человека. Фазы формирования доминанты мыслитель показывает в своей статье о доминанте на примере Наташи Ростовской на балу: «Имя князя Андрея тотчас вызывает в Наташе ту, единственную среди прочих, доминанту, которая некогда создала для Наташи князя Андрея. Так определенное состояние центральной нервной системы вызывает для человека индивидуальный образ, а этот образ потом вызывает

прежнее состояние центральной нервной системы» [Ухтомский 1923: 41]. На полях этой статьи Ухтомский рассуждает о судьбе и Высшем суде: «Всякому напряженному стремлению, всякой доминанте дается добиться своего. Но это может быть и губительно для их носителя. И в этом – Суд, т. е. в самом высшем смысле Судьба человека. Переоценка под страхом смерти стремлений и доминант человека — вот совесть внутри человека и судьба вне его» [Ухтомский 1923: 41].

На полях своей настольной книги «Добротолюбие» Ухтомский делает заметки о «естественном» законе для человека. Исследователем подчеркнута в поучениях Ефрема Сирина: «Апостол людей поступающих естественно назвал душевными, а поступающих противоестественно плотскими; духовные же суть те, которые и естество преобразуют в дух [Добротолюбие: 342]. Внизу Ухтомский делает заметку карандашом: «К анализу понятия “естественный”» [Добротолюбие: 342].

Ухтомский вслед за преп. Иоанном Лествичником считает, что «греха и страсти нет в природе человека». Напротив, слов о том, что «любовь и добродетель естественно присущи нашей природе» Ухтомский пишет: «“Естественный нравственный закон” (зачатки его еще у животных!)». А затем подчеркивает красными чернилами и отмечает знаком «NB»: «Но что касается до чистоты, безгневия, смиренномудрия, молитвы, бдения, поста и всегдашнего умиления, то сии добродетели выше естества. Некоторым из них научили нас люди своим примером; образцами других были для нас Ангелы; а иных учитель и дарователь есть Сам Бог Слово» [Добротолюбие: 506].

Можно утверждать, что на трех этапах становления личности раскрывается ее природа: в детстве в человеке преобладает «естественный» закон, в отрочестве проявляется плотская природа человека, а в юности, борясь со своими страстями, личность развивает в себе духовное начало.

Отрочество является для ребенка сложным периодом, в котором начинается формирование собственных взглядов и интересов. Подросток стремится обрести самостоятельность в своих суждениях, стать как можно более независимым в поступках. Зачастую это приводит к отчуждению от окружающего мира. В подобной ситуации оказываются Николенька Иртеньев в «Отрочестве» (1854) и Коля Красоткин в «Братьях Карамазовых» (1880). Однако обращение к «лицу другого» помогает им выйти из состояния конфликта с действительностью.

Начало поры отрочества у Николеньки связано с новым мироощущением. Во время переезда в Москву происходит его разговор с Катенькой, из которого он узнает о разнице в их положении и том, что им придется расстаться и жить порознь: «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами...» [Толстой: 15]. Увидев, как страдает бабушка из-за смерти дочери, матери Николеньки, мальчик сопереживает ей: «...чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней [к бабушке] испытывал, заменились состраданием...» [Толстой: 16].

Однако вскоре Николенька ощущает, как между ним и членами его семейства начинает возникать «невидимая преграда». Николенька чувствует разницу между собой и старшим братом Володи — «по годам, наклонностям и способностям» [Толстой: 16]. Поскольку между героем и рассказчиком существует дистанция, то это объясняется рассказчиком уже с позиции времени «самолюбием» героя [Толстой: 16]. В главе «Старший брат» показано, как уязвленное самолюбие Николеньки доставляет ему душевные терзания: «Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо» [Толстой: 18]. Гордость мешает подростку попросить прощения у брата, хоть он и понимает, что поступил неправильно, разбив его фарфоровые и хрустальные украшения: «Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться» [Толстой: 18]. Только встречное движение брата, который просит у него прощения, заставляет Николеньку побороть себя и извиниться.

У подростка изменяется отношение к женщине настолько, что рассказчик даже отказывается описывать горничную Машу, поскольку уверен, что воспринимал ее образ в отрочестве искаженно из-за своего «воображения». Также рассказчик замечает, что герой безо всякого основания обвиняет Сонечку в измене: «Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною» [Толстой: 38].

Желание переступить запретную черту, привлечь к себе внимание окружающих девочек оказывается у Николеньки так сильно, что он

начинает совершать проступки один за другим. Рассказчик замечает по этому поводу, что он «находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться» [Толстой: 39].

Кульминацией нарастающего отчуждения героя становится его состояние, которое он описывает в главе «Затмение»: «Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит» [Толстой: 40–41]. Однако после падения в следующей главе «Мечты» автор показывает, как Николенька испытывает комплекс «Иова», в нем пробуждается религиозное чувство, он обращается с вопросом к Богу: «Я кажется не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» [Толстой: 43].

Конфликт с гувернером St.-Jérôme рассказчик объясняет тем, что Николенька испытал унижение. Рассказчик замечает во французском воспитателе «противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности» и видит цель наставника в самоутверждении. Именно этим объясняется то, что Николенька не мог обрести в этом герое «собеседника».

Рассудок, рефлексию, которая развивается в одиночестве, Толстой в повести называет «ничтожной пружиной моральной деятельности». Рассказчик показывает крайности исступления, до которых может прийти подросток, который увлекается философствованием: «Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия» [Толстой: 56].

Прежние авторитеты для мальчика теряют былую значимость. Так, например, меняется мнение героя об отце, когда он видит, как быстро отец от воспоминания о рано ушедшей из жизни жене переходит к флирту с горничной. Николенька погружается в свой внутренний мир, закрываясь от близких людей. В нем пробуждаются зависть, обида и гордость.

В повести Толстого «Отрочество» чувство гордости, задетого самолюбия и обиды сталкивается с доминантой мальчика, которая вызывает у него стыд и вину перед окружающими за свое поведение и поступки. Николенька стремится закрыться от близких людей: «По мере того как усиливается конфликт героя с миром, растет и разочарование в нем. Как следствие — остро переживаемое чувство одиночества, отчуждения от мира» [Городилова: 9]. На протяжении всей повести возникают различные ситуации, в которых подростку приходится бороться со своими «нечистыми, самолюбивыми помыслами»: зависть к успехам брата, ненависть к французскому гувернеру, снижение авторитета отца в глазах мальчика. Н. И. Городилова отмечает, что «во многом это состояние гнева, обиды, ненависти рождено равнодушным отношением взрослых к миру подростка: чувствительный и впечатлительный герой, не справляясь с эмоциями, не находит поддержки и слов сочувствия у близких, занятых собой и мало озабоченных его душевными переживаниями» [Городилова: 9].

Однако рассказчик показывает, что Николенька может сочувствовать другим людям и даже забывать о себе. Карл Иваныч рассказывает Николеньке свою историю перед тем, как они вынуждены расстаться из-за желания бабушки уволить его. Мальчик внимательно слушает, рассказчик передает историю Карла Ивановича со всеми особенностями его речи, смешением немецкого и русского языка. Карл Иваныч использует евангельские аллюзии, свои мытарства он соотносит с Господними страданиями: «мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову» [Толстой: 25]. Также пробуждает сочувствие в душе мальчика любовь Маши и Василия. Николенька сочувствует Маше и пытается понять ее: «Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным» [Толстой: 54]. Николенька мечтает о том, чтобы, став хозяином имения, разрешить влюбленным быть вместе,

вопреки тому, что Маша нравится ему. Эта готовность пожертвовать своим чувством ради счастья другого, замечает рассказчик, «глубокий след оставила в моей душе» [Толстой: 54].

Подготовка к поступлению в университет заставляет главного героя «Отрочества» выйти из своего «подполья». В главе «Я» Николенька меняет отношение к гувернеру: «St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что *с моими способностями, с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его» [Толстой: 67]. Таким образом, мы можем говорить о «Двойнике» в лице St.-Jérôme — подросток ненавидел его, считая, что это чувство взаимно. Процесс превращения из «Двойника» в «Собеседника» относится и к брату главного героя. Если изначально Николенька думал, что Володя пытается всячески оскорбить его (эпизод с голландскими рубашками), то к концу повести их отношения становятся приятельскими.

Окончательно исцеляет Николеньку от «недостатков отрочества» дружба с Нехлюдовым. Движение к согласию с другими начинается с беседы «душа в душу»: «Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом» [Толстой: 71]. Нехлюдов предлагает Николеньке, ценя его искренность, быть всегда откровенными друг с другом, и это становится выходом из своеобразного «подполья» героя. Кроме того, рассказчик подчеркивает, что Нехлюдов устремляет героя к идеалу.

Подобное (по Толстому) духовное возрастание мы можем заметить и в отношении юных героев «Братьев Карамазовых». В книге «Мальчики» внимание Достоевского уделено двум героям — Коле Красоткину и Илюше Снегиреву. Оба они воспитывались одним родителем (второй рано ушел из жизни). В Коле автором и самим героем признается эгоцентризм и самолюбие: «Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически» [Достоевский 14: 463]. Алеше Карамазову он сообщает, что бьет мальчиков из своего окружения, а они его «обожают» [Достоевский 14: 479]. Смурову он заявляет, что никому не позволит анализировать свои поступки и идет к Илюше Снегиреву по своей воле в отличие от других мальчиков, которых, как он замечает, туда «притащил» Алеша Карамазов [Достоевский 14: 472]. Он признает-

ся Смурову, что не познакомился с Алешей Карамазовым, поскольку в иных случаях любит «быть гордым» [Достоевский 14: 473].

Авторский голос соединяется с голосом Коли, когда повествуется о его «подвиге»: одиннадцатилетний подросток поспорил со старшими мальчиками, что ляжет между рельсами и пролежит так до тех пор, пока поезд не проедет над ним. Вот как об этом говорится в тексте романа: «Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его своим товарищем, как “маленького”, что было уже нестерпимо обидно» [Достоевский 14: 463]. В этом высказывании кавычками выделено чужое слово, в нем используется речевой жанр возражения, противоречия. По мнению А. В. Скиперских, такой отчаянный поступок Коли связан с его моральными страданиями: «Коля Красоткин из “Братьев Карамазовых” удостоверяет своих одноклассников в том, что способен лечь под проходящий поезд. Экспериментальный характер боли заключается в ее незначительности по сравнению с моралью, с ответственностью за данное обещание. Страдания собственного тела перманентны по сравнению с более длительными и фундаментальными душевными муками» [Скиперских: 170–171].

Однако, когда Коля видит, как тяжело мать переживает его шалость, то меняет свое отношение к происшедшему: «Он поклялся на коленях перед образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, причем “мужественный” Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик “от чувств”, и мать и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали сотрясаясь» [Достоевский 14: 465].

Коля признает влияние на него Ракитина, называет себя социалистом, повторяет слова Ракитина, горделиво утверждает, что «любит поговорить с народом» и умеет с ним говорить, доказывает Смурову, что он любит «расшевелить дураков во всех слоях общества», когда шутит над глупым мужиком на базаре [Достоевский 14: 474]. Алеше Карамазову рассказывает, как надоумил глупого парня колесом телеги раздавить голову гуся [Достоевский 14: 496]. Авторская ирония заключается в том, что после торжества Коли над глупым мужиком, он беседует с умным крестьянином, и ему приходится признаться, что он потерпел фиаско, поскольку «нарвался на умника» [Достоевский 14: 477].

Перед встречей с Алешей Карамазовым Коля переживает, что мал ростом и что некрасив лицом. Внутренний монолог сменяется

авторским словом, в котором тот возражает своему герою: «Что же до лица, то было оно вовсе не “мерзкое”, напротив, довольно милостивое, бледное, беленькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством» [Достоевский 14: 478].

Алеше Карамазову Коля рассказывает историю своих отношений с Илюшей Снегиревым, в частности, сообщает, что, когда мальчики подружились, Илюша был «горд», но Коле «предан рабски» [Достоевский 14: 480]. Коля признается, что хотел «вышколить» мальчика, поэтому так резко обошелся с ним из-за его проделки с Жучкой, которой научил его Смердяков. Илюша, в свою очередь, переживает такое же состояние, в котором находится Николенька Толстого, «затмение»: бунтует, кричит, что будет всех собак кормить булавками, потом бросает камни в Алешу Карамазова, желая его брату, Дмитрию, отомстить за унижение отца, наконец, нападает с ножиком на Красоткина и ранит его в ногу. Все это приводит Илюшу к нервному срыву и горячке. Встреча с тяжело больным Илюшей раскрывает Коле его неправоту: «с горестным удивлением» он всматривался в изменившееся лицо больного мальчика [Достоевский 14: 488]. Неожиданное известие Коли о том, что Жучка жива, действовало «мучительно и убийственно» на больного мальчика, этого Коля не мог понимать, как замечает автор [Достоевский 14: 491].

Внутренние противоречия Коли ярко проявляются в эпизоде встречи с больным Илюшей Снегиревым. Коля из-за желания выдрессировать собаку и услышать похвалу долгое время не посещал больного мальчика. Несмотря на попытки удовлетворить свое самолюбие, Коля не может противиться состраданию, которое возникает при виде умирающего Илюши, способен покаяться и осознать свою вину: «Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов» [Достоевский 14: 503]. Беседа Коли Красоткина с Алешей проходит так же, как разговор Николеньки с Нехлюдовым. Коля признается Алеше: «Потому что и Вы точно я» [Достоевский 14: 50].

Примечательно, что оба подростка предаются серьезным философским размышлениям, однако Красоткин не самостоятельно познает новые идеи: на него оказал отрицательное влияние Ракигин. Н. И. Горо-

дилова отмечает, что Толстой не признавал ум «как средство познания мира», «способствующее заглушению природного добра» [Городилова: 9]. Достоевский включает в беседу Алеси и Коли автобиографическую аллюзию: «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль»; «Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил...» [Достоевский 14: 500]. Алеша Карамазов, за которым угадывается автор, печалится о Коле, который слишком рано познакомился с атеистическими и социалистическими идеями: «Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором» [Достоевский 14: 504]. Так, углубленное познание мира с помощью рассудочного постижения истины в обоих произведениях ведет к негативным последствиям.

Достоевский показывает, как пагубное влияние взрослых на мир подростков разрушает детские души. Иван Карамазов, отказывающийся принимать Божий мир из-за страданий детей, убеждающий Алешу, что никакую будущую гармонию нельзя принять даже из-за одной слезинки ребенка, виновен в смерти Илюши, как и Дмитрий Карамазов. Смердяков следует за Иваном, как верный слуга, он принимает его идею, что «все дозволено», и он учит Илюшу «забаве»: дать собаке хлеб, в которую воткнута игла. Илюша только после своего поступка осознает весь его ужас и не может простить себе, как он думает, смерти собаки.

В романе Достоевского, как и в повести, средством выхода из состояния отчуждения становится дружба. Коля Красоткин находит собаку, которая чуть не погибла из-за проступка Илюши, он посещает больного друга, как и другие мальчики, и Илюша умирает в состоянии внутренней гармонии. Алексей Карамазов становится тем человеком, который обнаруживает внутренний конфликт Коли и помогает найти из него выход. Коля во всем признается новообретенному другу, который становится «собеседником». Внутренний конфликт разрешается. Подросток из-за переполняющих его чувств плачет, признается, что был не прав, однако уже несколько не боится показаться смешным. Алеша отмечает прекрасные чувства Коли: «...вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже смешном» [Достоевский 14: 504]. В эпиглоге Коля говорит Алеше: «...я желал бы умереть за все человечество, а

что до позора, то все равно: да погибнут наши имена» [Достоевский 15: 190]. Эти слова Коли после похорон Илюши Алеша Карамазов повторяет у камня и назовет это желание принести себя в жертву ради других одним из лучших.

Важно отметить, что в рассматриваемых произведениях Толстого и Достоевского явно выражен телеологический сюжет, который включает в себя мотивы испытания, выбора, движения к спасению [Федорова: 107–124].

Слова, которые произносит отец Илюши («Аще забуду тебе, Иерусалиме» [Достоевский 14: 507] в контексте телеологического сюжета и эпиграфа к роману, следует понимать, как призыв не забывать о проявлении духовного начала в человеке.

Движение к спасению у Красоткина появляется в тот момент, как он проникается сочувствием к Илюше и осознает, что его попытки самоутвердиться негативно повлияли на здоровье больного друга. Коля избавляется от эгоизма и старается навещать Илюшу как можно чаще. Смерть мальчика становится ключевым моментом в жизни подростка. Эпизод с клятвой у камня в эпилоге романа свидетельствует о том, что Коля Красоткин направляет вектор своего духовного движения к спасению.

Николенька идет несколько иным путем, однако и он жаждет спасения души. Нехлюдов показывает подростку идеал добродетели, подразумевающий стремление человека постоянно совершенствоваться, а также искренне и с участием выслушивает его рассуждения, помогая исповедаться. Так Николенька вновь «возвращается» к людям и находит тот идеал, к которому начинает свое движение.

Таким образом, внутренний конфликт Николеньки в «Отрочестве» и Коли в «Братьях Карамазовых» одинаков по своей структуре. Рациональное познание мира, вызванное испытанием в виде погружения в философию, одиночество и эксперимент над собой мешает мальчикам обратиться к «жизни сердца». Желание понравиться другим или протест, бунт против окружающих приводит героев Толстого и Достоевского к состоянию «затмения», торжеству «плотского» человека. Выходом из этого состояния, фактором духовного возрастания личности становится внимание к другому человеку, сострадание, что и помогает подросткам справиться с гордостью и самолюбием.

Список литературы

Источники

Добротолубие в русском переводе, дополненное: в 5 т. 2-е изд. М.: Изданием Иерусалимским на Афоне Пантелеймонова монастыря, 1895. Т. 2. 760 с.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1935. Т. 2 / под общей ред. В. Г. Черткова. 411 с.

Ухтомский А. А. Доминанта. СПб.: Питер, 2022. 512 с.

Ухтомский А. А. Доминанта, как рабочий принцип нервных центров // Русский физиологический журнал имени И. М. Сеченова. М.; Пг., 1923. Т. VI. (Вып. 1, 2, 3). С. 31–45.

Исследования

Бабук А. В. Художественная антропология детства в литературе XIX в. Минск: БГУ, 2018. 144 с.

Билинкис Я. С. Новаторство Л. Н. Толстого в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Л.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1973. 40 с.

Городилова Н. И. Эпическая картина мира в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. № 9. С. 5–12. <http://doi.org/10.30853/filnauki.20209.1>

Казаков А. А. Ценностная архитектоника произведений Л. Н. Толстого: к проблеме «антидиалогической» феноменологии эстетического события // Сибирский филологический журнал. 2014. № 4. С. 134–143.

Круглик Л. Я. Реализм трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1961. 19 с.

Лоцинин Н. П. «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого. Проблематика и художественные особенности. Тула: Тульское книжное изд-во, 1955. 48 с.

Михнюкевич В. А. Поэтика детских образов Ф. М. Достоевского в контексте «народного христианства» // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 2. Филология. 1994. № 1. Т. 2. С. 21–28.

Одинокое В. Г. Трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1953. 15 с.

Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М.: Высшая школа, 2007. 535 с.

Скиперских А. В. Между Господом и господином: дискурс боли в текстах Ф. М. Достоевского: политико-культурное измерение // PolitBook. 2015. № 4. С. 166–170.

Созина Т. Н. «Трогательное» как способ проявления авторского голоса в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 9. С. 134–138.

Цирулев А. Ф. «Поэтическая идея» в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2011. № 3. С. 27–32.

Чуприна И. В. Трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» в свете идейной и литературной жизни 40–50 годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1952. 27 с.

Федорова Е. А. Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка» и «Война и мир» // Проблемы исторической поэтики. 2023. № 4. С. 102–129. <https://doi.org/10.15393/j9.art.2023.13123>

References

Babuk, A. V. *Khudozhestvennaia antropologiiia detstva v literature XIX v.* [Artistic Anthropology of Childhood in the Literature of the 19th Century]. Minsk, Belarusian State University Publ., 2018. 144 p. (In Russ.)

Bilinkis, Ia. S. *Novatorstvo L. N. Tolstogo v trilogii "Detstvo", "Otrochestvo", "Iunost"* [Innovation of L. N. Tolstoy in the Trilogy "Childhood," "Adolescence," "Youth"]. Leningrad, Herzen Russian State Pedagogical University Publ., 1973. 40 p. (In Russ.)

Gorodilova, N. I. "Epicheskaia kartina mira v trilogii L. N. Tolstogo 'Detstvo', 'Otrochestvo', 'Iunost'." ["The Epic Picture of the World in L. N. Tolstoy's Trilogy 'Childhood,' 'Adolescence,' 'Youth.'"] *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, no. 9, 2020, pp. 5–12. <http://doi.org/10.30853/filnauki.20209.1> (In Russ.)

Kazakov, A. A. "Tsennostnaia arkhitektonika proizvedenii L. N. Tolstogo: k probleme 'antidialogicheskoi' fenomenologii esteticheskogo sobytiia" ["Value Architectonics of L. N. Tolstoy's Works: To the Problem of 'Anti-Dialogue' Phenomenology of an Aesthetic Event"]. *Sibirskii filologicheskii zhurnal*, no. 4, 2014, pp. 134–143. (In Russ.)

Kruglik, L. Ia. *Realizm trilogii L. N. Tolstogo "Detstvo", "Otrochestvo", "Iunost"* [Realism of L. N. Tolstoy's Trilogy "Childhood," "Adolescence," "Youth": PhD Thesis, Summary]. Moscow, 1961. 19 p. (In Russ.)

Loshchinin, N. P. "Detstvo", "Otrochestvo", "Iunost" L. N. Tolstogo. *Problematika i khudozhestvennye osobennosti* ["Childhood," "Adolescence," "Youth" by L. N. Tolstoy. Problems and Artistic Features]. Tula, Tul'skoe knizhnoe izdatel'stvo Publ., 1955. 48 p. (In Russ.)

Mikhniukevich, V. L. "Poetika detskikh obrazov F. M. Dostoevskogo v kontekste 'narodnogo khristianstva'." ["Poetics of Children's Images of F. M. Dostoevsky in the Context of 'Folk Christianity.'"] *Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serii 2. Filologiiia*, vol. 2, no. 1, 1994, pp. 21–28. (In Russ.)

Odinokov, V. G. *Trilogiia L. N. Tolstogo "Detstvo", "Otrochestvo", "Iunost"* [Trilogy of L. N. Tolstoy "Childhood," "Adolescence," "Youth": PhD Thesis, Summary]. Moscow, 1953. 15 p. (In Russ.)

Skaftymov, A. P. *Poetika khudozhestvennogo proizvedeniia* [Poetics of a Work of Art]. Moscow, Vysshiaia shkola Publ., 2007. 535 p. (In Russ.)

Skiperskikh, A. V. "Mezhd u Gospodom i gospodinom: diskurs boli v tekstakh F. M. Dostoevskogo: politiko-kul'turnoe izmerenie" ["Between God and Master: The Discourse of Pain in the Texts of F. M. Dostoevsky: Political and Cultural Dimension"]. *PolitBook*, no. 4, 2015, pp. 166–170. (In Russ.)

Sozina, T. N. “‘Trogetel’noe’ kak sposob proiavlennia avtorskogo golosa v romane ‘Brat’ia Karamazovy’ F. M. Dostoevskogo” [“‘Touching’ as a Way of Manifesting the Author’s Voice in the Novel ‘The Brothers Karamazov’ by F. M. Dostoevsky”]. *Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 9, 2008, pp. 134–138. (In Russ.)

Tsirulev, A. F. “‘Poeticheskaia ideia’ v trilogii L. N. Tolstogo ‘Detstvo’, ‘Otrochestvo’, ‘Iunost’.” [“‘Poetic Idea’ in L. N. Tolstoy’s Trilogy ‘Childhood’, ‘Adolescence’, ‘Youth’]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina*, no. 3, 2011, pp. 27–32. (In Russ.)

Chuprina, I. V. *Trilogiia L. N. Tolstogo “Detstvo”, “Otrochestvo”, “Iunost” v svete ideinoi i literaturnoi zhizni 40–50 godov* [Trilogy of L. N. Tolstoy “Childhood,” “Adolescence,” “Youth” in the Light of the Ideological and Literary Life of the 40–50s: PhD Thesis, Summary]. Saratov, 1952. 27 p. (In Russ.)

Fedorova, E. A. “Teleologicheskii siuzhet v romanakh ‘Kapitanskaia dochka’ i ‘Voina i mir’.” [“Teleological Plot in the Novels ‘The Captain’s Daughter’ and ‘War and Peace’.”] *Problemy istoricheskoi poetiki*, no. 4, 2023, pp. 102–129. <https://doi.org/10.15393/j9.art.2023.13123> (In Russ.)

<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-144-173>
<https://elibrary.ru/AQPUSE>
Научная статья
УДК 821.161.1.09"18"

© 2024. Т. А. Богданова

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук г. Москва, Россия

**Братья М. Н. и Н. Н. Глубоковские.
Проект бесцензурной «приличной» газеты
для лиц духовного сословия**

Аннотация: В статье представлен обзор сотрудничества историка Церкви и богослова, чл.-корр. Императорской Академии наук Н. Н. Глубоковского (1863–1937) в русских периодических изданиях 1880–1890-х гг. — ежедневных газетах «Московские ведомости», «Русское дело», «Русское слово». На основании регистрационных записей Н. Н. Глубоковского атрибутированы его газетные публикации, печатавшиеся под псевдонимами, различными инициалами, либо вообще без подписи. С точки зрения журналистского опыта братьев Глубоковских рассмотрен предложенный ими Проект газеты для духовенства. Впервые в научный оборот вводятся такие архивные документы, как письма с воспоминаниями о старшем брате — издателе, журналисте и основателе журнала «Наука и жизнь» М. Н. Глубоковском (1857–1903), Проект издания ежедневной бесцензурной газеты для лиц духовного звания с участием профессоров университетов и духовных академий, черновик Проекта — автограф М. Н. Глубоковского с пометами Н. Н. Глубоковского и литографированная рукопись.

Ключевые слова: русская словесность, М. Н. Глубоковский, Н. Н. Глубоковский, «Московские ведомости», «Русское дело», «Русское слово», «Наука и жизнь», «Дело», православное духовенство.

Информация об авторе: Татьяна Александровна Богданова, кандидат исторических наук, доктор церковной истории, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6980-7353>

E-mail: tabog@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 11.04.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 20.06.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Богданова Т. А. Братья М. Н. и Н. Н. Глубоковские. Проект бесцензурной «приличной» газеты для лиц духовного сословия // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 144–173. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-144-173>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 144–173. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 144–173. ISSN 2686-7494
Research Article

© 2024. **Tatiana A. Bogdanova**

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Brothers M. N. and N. N. Glubokovsky. Project of an Uncensored “Decent” Newspaper for People of the Clergy

Abstract: The article provides an overview of the collaboration between the Church historian and theologian, corresponding member of Imperial Academy of Sciences N. N. Glubokovsky (1863-1937) with Russian periodicals of the 1880-1890s — daily newspapers “Moskovskie Vedomosti,” “Russkoe Delo,” “Russkoe Slovo.” Based on the registration records of N. N. Glubokovsky’s autobiographical attributes his newspaper publications, published under pseudonyms, various initials, or without a signature at all. From the point of view of the journalistic experience of the Glubokovsky brothers, the Project of a newspaper for the clergy proposed by them is considered. For the first time, such archival documents are being introduced into scientific circulation as letters with memories of his older brother — publisher, journalist, and founder of the journal “Science and Life” Matvey Glubokovsky (1857-1903), a project for publishing a daily uncensored newspaper for clergy with the participation of university professors and theological academies, draft of the Project — autograph of M. N. Glubokovsky with notes by N. N. Glubokovsky and lithographed manuscript.

Keywords: Russian literature, M. N. Glubokovsky, N. N. Glubokovsky, “Moskovskie vedomosti,” “Russkoe delo,” “Russkoe slovo,” “Nauka i zhizn,” “Delo,” Orthodox clergy.

Information about author: Tatiana A. Bogdanova, PhD in History, DSc in Church History, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6980-7353>

E-mail: tabog@yandex.ru

Received: April 11, 2024

Approved after reviewing: June 20, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Bogdanova, T. A. “Brothers M. N. and N. N. Glubokovsky. Project of an Uncensored ‘Decent’ Newspaper for People of the Clergy.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 144–173. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-144-173>

По признанию П. Б. Струве, «Русское духовенство создало особый духовный тип и этому типу принадлежит своя особая роль в русском культурном процессе» [Струве: 15].

В середине XVI в. монахи Димитриева Спасо-Прилуцкого монастыря на высоком восточном берегу озера Глубокое основали Глубоковскую Спасо-Преображенскую пустынь. К середине XVII в. после закрытия пустыни церковь была обращена в приходскую. В 1784 г. дьячком Глубоковской Спасо-Преображенской церкви Кадниковского уезда Архангельской губернии (ныне Вологодской) упоминается Никон Дмитриев, прадед братьев Глубоковских [Богданова, Клементьев]. Настоящая статья посвящена Николаю Никаноровичу Глубоковскому (1863-1937) [Богданова] — члену-корреспонденту Императорской Академии наук, доктору богословия, заслуженному профессору С.-Петербургской духовной академии, и его старшему брату Матвею Никаноровичу Глубоковскому (1857–1903), врачу по образованию [Глубоковский Н. Н. 1904а]. «Однако, — как пишет Н. Н. Глубоковский, — главнейшими занятиями Матвея Никаноровича были: литературный, журнально-газетный труд (больше в “Московских ведомостях”), собственное издательство популярно-научных журналов “Наука и жизнь” и “Дело”, изобретения и медицинская практика. <...> Это был самый талантливый в нашей семье человек <...>» [Глубоковский Н. Н. 2005: 76]. В некрологе Н. Н. Глубоковский так характеризовал старшего брата: «Это был на редкость одаренный дух с чисто творческими способностями, которые, казалось, не знали узких ограничений, феноменальная же память его оставалась неисчерпаемой и неиссякаемой до последних дней. <...> И нужно заметить, что здесь не было просто механического энциклопедизма, свойственного пассивно-восприимчивым натурам, чуждым созидательности. Напротив, М. Н. Глубоковский носил в себе неугасимо пламеневший огонь творчества, какого не могли потушить все страшные бури, грозы и урага-

ны тяжелой жизни... Куда бы ни проникал и чего бы ни касался его острый многосодержательный ум, везде он вносил чисто творческий дух изобретательности» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 182–183]. На стыке математики и филологии М. Н. Глубоковский разработал теорию всемирного языка [Глубоковский М. Н. 1880]. Имел множество знакомых в разных сферах общества в России и за границей; после его кончины родственники, по признанию Н. Глубоковского, получали «заявления теплого сочувствия и искреннего соболезнования от многих видных духовных особ даже из-за границы» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 186]. «Искренно и идейно» М. Н. Глубоковский интересовался славянством, помещал статьи в газете «Православная Буковина» (Черновцы). Поддерживал знакомство с политическими деятелями Франции.

О воззрениях старшего брата младший Глубоковский сообщает: «В молодости мой покойный брат Матвей <...> был увлечен господствовавшими тогда материалистическими теориями и чрез призму их склонен был смотреть на все. Хотя это не было его глубоким настроением, тем не менее, только таинственный факт явления умиравшей матери¹ произвел в нем решительный переворот. С тех пор он стал изучать все таинственные явления духовного мира, любительски интересовался ими и принимал участие (даже активное) в спиритических сеансах. Однако, хорошо зная всю жизнь моего покойного брата, я самым категорическим образом удостоверяю, что он никогда и не в какой степени не принадлежал и не причислял себя к обществу спиритов, а просто перестал и не решался отрицать то, что не поддается ни внешнему восприятию органов чувств, ни механическому объяснению. Он сделался спиритуалистом по воззрениям, библеистом по настроению и добрым христианином по существу своей жизни»².

Незадолго до смерти, с трудом держащий в руках перо, старший брат напоминал младшему их «совместную нищету в детстве и юности <...> и невероятные труды, перенесенные... бок о бок» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 187–188; Ферапонт 2021a]. По поводу этих строк в письме брата Н. Н. Глубоковский замечал: «И это сущая правда. Часто напряжение достигало размеров подвига», поскольку М. Н. Глубоков-

¹ Платонида Матвеевна Глубоковская (урожд. Ивановская) (26 марта 1823 – в ночь с 13 на 14 августа 1884 г.)

² РГИА. Ф. 922. Оп. 1. № 398. Л. 4–4 об. (Письмо генерал-лейтенанту В. Г. Глазову от 27 сентября 1906 г.).

скому, у которого было пятеро детей, «всю жизнь приходилось буквально биться с нуждой» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 188]. «Его спасал редкостный, возвышенный и благороднейший идеализм, который выражался и в том, что М. Н. Глубоковский считал себя величайшим практиком вопреки всяким очевидностям... Он питал непоколебимую веру в торжество правды и боролся за нее с самопреданностью, забывая все окружающее, — даже то, что люди нуждаются в дневном пропитании, — и всю жизнь прожил как бы “вне жизни” с ее “злобами”... <...> Но для него всегда была дорога только истина, и он не знал ни покоя, ни усталости в ее отыскании до гробовой доски при всех бедах и при тяжелом длительном недуге» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 188–189].

М. Н. Глубоковский учился в Никольском духовном училище, потом Вологодской духовной семинарии, и, как вспоминал племянник братьев Глубоковских¹ (сын их старшей сестры Анны) Николай Васильевич Попов (тогда чиновник в канцелярии обер-прокурора Св. Синода, впоследствии настоятель Александро-Невского собора г. По на юге Франции, протопресвитер; † 16 мая 1951, Рабат), «прогремев в этих учебных заведениях настолько», что имя его «до настоящего времени выставляется перед учениками как пример, которому следует подражать» [Попов: 744]. По воспоминаниям товарища по семинарии, М. Н. Глубоковскому «предсказывали большую будущность и отличную карьеру» [Преображенский: 2]. Н. Н. Глубоковский признавал, что старший брат служил «своего рода светочем для грядущих поколений», «в своих учебных заведениях он, можно сказать, способствовал очищению умственной атмосферы и создал великую и благородную традицию, которая признавалась идеально-обязательной и для членов фамилии (братьев, племянников и пр.) и для позднейших питомцев <...>. И сколько совершалось и совершается добрых успехов лишь по подражанию и примеру этого прекрасного образца, так ярко показавшего, что должен и может сделать добросовестный ученик!..» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 181].

Из семинарии М. Н. Глубоковский вынес богословские и философские познания, хорошее знание Священного Писания и древних

¹ Братья Глубоковские окончили Вологодскую духовную семинарию: Петр (1846–1894) в 1868 г., Василий (1854–1915) в 1872 г., Александр (1861 – в ночь 25/26 июня 1919 г., расстрелян в числе заложников) в 1881 г., Николай (1863–1937) в 1884 г. [Богданова, Клементьев].

языков, на которых до конца жизни «мог и любил объясняться без затруднений, приводя в замешательство присяжных филологов» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 182; Ферапонт 2021b].

По окончании в 1876 г. курса общеобразовательных наук с дипломом IV семинарского класса (до перехода в богословские классы V и VI) Матвей «с некоторыми из товарищей поступил сторонним слушателем, а затем и студентом на специальные классы Лазаревского Института, единственно доступные тогда для вологодских семинаристов» [Преображенский: 2]; по свидетельству Н. Н. Глубоковского, семинария «из своих скудных средств продолжала выдавать ему стипендию и тогда, когда он был в Лазаревском Институте» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 181]. После окончания специальных классов в 1879 г. «для отбывания воинской повинности зачислился в первую батарею первой гренадерской артиллерийской бригады, откуда и был выпущен с чином бомбардира» [Дим: 2] через полгода. В 1881 г. «после непосредственного счастливого личного объяснения» с министром народного просвещения А. А. Сабуровым по личному его распоряжению «вопреки оппозиции многих властей» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 182] принят на медицинский факультет Московского университета и в 1885 г. окончил его с званием уездного лекаря, осенью утвержден в звании уездного врача. На какой-то короткий срок (в 1880–1881 гг.) приходится увлечение народническими идеями, о чем свидетельствуют справка о политической неблагонадежности и докладная записка на имя ректора Императорского Московского университета Н. С. Тихонравова об установлении над М. Н. Глубоковским негласного надзора полиции¹. После окончания университета служил сначала сверхштатным, потом дежурным врачом при Императорских Московских театрах и в Придворном ведомстве (без содержания и права на пенсию).

Но до конца своих дней М. Н. Глубоковский оставался, прежде всего, журналистом и «ближе всего» стоял к «Московским ведомостям», где начинал работать с 1882 г. при М. Н. Каткове поденным корректором,

¹ Материалы М. Н. Глубоковского хранятся в ОР РНБ в фонде Н. Н. Глубоковского (Ф. 194. Оп. 1. № 1219–1297). Среди них есть копии справки о его политической неблагонадежности и докладной записки на имя ректора Императорского Московского университета об установлении над М. Н. Глубоковским негласного надзора полиции (Ф. 194. Оп. 1. № 1218, 1229. 1881 г.).

будучи еще студентом специальных классов. Среди его бумаг в фонде Н. Н. Глубоковского есть письмо без обращения, подписи и даты, написанное, вероятно, уже после кончины Матвея, с воспоминаниями о его учебе в специальных классах Лазаревского института и устройстве в редакцию газеты «Московские ведомости», которое приводим полностью:

Матвей Никанорович поступил к нам в Институт вместе с десятком своих товарищей вологодских, как Вам известно. По счастливому случаю попечитель округа забыл уведомить Институт о неприятии их в Специальные Классы, а когда, спустя почти год, узнал о том, что они приняты, потребовал их увольнения. Совет специальных классов, по моему настоянию, ходатайствовал пред Попечителем об их оставлении, мотивируя свое ходатайство их успехами в восточных языках и примерным поведением. К сожалению, однако же, по окончании им курса, дали многим из них, в том числе и Вашему брату, право на чин XII класса, хотя они по своим баллам имели право на чин X кл., ввиду прежнего их поведения в семинарии. Встретив однажды Матвея Никаноровича в Богословском переулке, где он жил в меблированных комнатах, я зашел к нему и тут же от него узнал, что в это время не было у него ни уроков, ни иных заработков. Я вспомнил незадолго пред сказанные мне М. Н. Катковым слова, чтобы я рекомендовал ему способных молодых людей, если таковые окажутся между нашими студентами. В тот же день я говорил о нем Михаилу Никифоровичу, который узнав от меня, что Матвей Никанорович не знает английского языка, спросил меня: «какую работу я могу ему дать?» — Пока хоть корректуру, ответил я, на что он сразу согласился. На другой же день Матфей Никанорович уже сидел за корректурой в редакции Москов. Ведомостей. Мой адрес: Москва. Воздвиженка, Главный Архив Министерства Иностранных Дел»¹.

Очевидно, что письмо адресовано Н. Н. Глубоковскому; возможно, автором был С. А. Белокуров, знакомый ему по учебе в МДА, после окончания академии в 1886 г. по рекомендации архимандрита Леонида (Кавелина) служивший в Московском Главном архиве МИД, но вероятнее, — преподаватель специальных классов Лазаревского института

¹ ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1297. Белокуров Серг. Алексеевич № 322.

Ставр Елевтериевич Саков, близкий знакомый М. Н. Глубоковского по Лазаревскому институту, присутствовавший 13 декабря 1903 г. при погребении на кладбище Скорбященского монастыря.

Не позднее 1883 г. М. Глубоковский поднялся в «Московских ведомостях» «до роли активного сотрудника: “составлял выборки” для внутренних известий, “выпускал” (чаще — за других) номера, вел руководящие отделы, особенно иностранный, в частности о Франции, обнаруживая редкие знания, ясный взгляд и большую опытность, а при С. А. Петровском был краткое время на положении помощника редактора. И насколько значительно было его участие здесь видно из того, что уже в 80-х годах при М. Н. Каткове бывали чуть ли не месяцы, когда все “передовые” статьи “Московских ведомостей” сплошь были писаны М. Н. Глубоковским» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 187]. Писал преимущественно по вопросам науки и международной политики.

В конце 1880-х гг. М. Н. Глубоковский задумал издавать собственный журнал. Программа была весьма обширной: история науки, техники, промышленности, медицина, новейшие открытия и изобретения, сельское и домашнее хозяйство и пр. «Общепонятно-научный иллюстрированный» еженедельный журнал «Наука и жизнь», одобренный Ученым комитетом Министерства народного просвещения «для учебных (старшего возраста) библиотек средних учебных заведений» и допущенный «к обращению в бесплатных народных читальнях», выходил с января 1890 г., по воскресеньям.

«От новых изданий все привыкли требовать “исповедь” редакции, — читаем в заявлении «От редакции», размещенном на последней, 16-й странице № 1. — Но мы предпочитаем стоять на почве фактов, а потому, воздерживаясь от громких обещаний, скажем лишь немного слов: *смотрите и прочтите*. Каждый, таким образом, лучше всего определит, пригоден ли и интересен ли для него наш журнал. Добавим, что такого издания в России еще не было, а потому дело сопряжено с огромными затруднениями; так как главные затруднения уже преодолены, то естественно, что следующие номера журнала, с развитием дела, не могут быть хуже первого, а редакция приложит все старания к дальнейшему улучшению его во всех отношениях». В редакционном заявлении сообщалось, что еще до выхода № 1 получено «немало советов и указаний от многих весьма компетентных лиц», заготовлены большие статьи «Алюминиевый век», «Тибетская медицина», «Религия

и естествознания» и множество мелких: по физике и астрономии, механике, теоретической и прикладной химии, фотографии, ботанике, зоологии, минералогии, медицине, сельскому хозяйству и пр. с готовыми к ним гравюрами; для 20 номеров заготовлен перевод книги Эдуарда Гарнье «Карлики и великаны» с гравюрами, выполненными в Париже и полученными уже редакцией.

С изданием журнала М. Н. Глубоковский связывал большие ожидания. «Я поставил ва-банк: все, что было наличного, ухлопал до копейки, занял всюду, где было можно, — пишет он Ф. А. Преображенскому в 1889 г. — Будущее зависит от подписки. Если бы к январю (1890 г.) набралось 1.000 подписчиков, то дело выгорело бы, ибо к февралю их наверно было бы уже 2.000, а в этом случае я мог бы уже издавать *Науку и Жизнь* хорошо» [Земляк: 3]. Однако эти ожидания не оправдались, с долгами он не смог расплатиться до конца жизни. И хотя число подписчиков увеличилось, многие были из провинции и сельской местности, возросли и расходы. М. Н. Глубоковский «платил сотрудникам, и многих молодых писателей-популяризаторов можно было видеть в его тогдашней квартире на малой Дмитровке. Тогда многие собирались у него и всегда находили широкое, чисто русское гостеприимство» [Земляк: 3].

В 1897 г. вышло 20 номеров; в 1898 г. — четыре номера; последний номер вышел в сентябре 1900 г. В 1900 г. в конторе журнала «Дело» продавались годовые комплекты журнала «Наука и Жизнь» за 1890–1894 гг. по цене 2 руб. с пересылкой. Каждый год представлял большой том in-4° в 104 печ. листа, в каждом томе — по 300 и более гравюр.

Н. Глубоковский, бывший тогда в МДА на положении профессорского стипендиата, помогал Матфею с изданием и написанием статей, напечатав в 1890 г. 33 статьи и заметки (иногда совсем небольшие), из них можно выделить, опубликованную в июне 1890 г. статью «Религия и естествознание»¹. После отъезда из Москвы его участие стало эпизодическим².

¹ Наука и жизнь. 1890. № 23. С. 357–358; № 24. С. 377–378; № 25. С. 387–388; № 26. С. 40–404. — N. N.

² В 1891 г. — три, в 1892 г. — одна и в 1894 г. — три статьи. Из 40 статей в «Науке и жизни» только две были им подписаны, двадцать вышли без подписи, остальные под разными инициалами: N. G., A. B., Ц., В. Б., Н. G., Н. Г., Б., N. N., П. Ш., Н. Н. Г., А. Н. А., Н. Н. Г., Н.–Г-ский. Он также прини-

С января 1894 г. М. Н. Глубоковский начал издавать ежемесячный иллюстрированный научно-практический популярный журнал «Дело». Он печатался, как и «Наука и жизнь», в Университетской типографии на Страстном бульваре. С 15 апреля 1894 г. в это же здание перевели контору и редакцию обоих журналов; впоследствии адрес менялся еще несколько раз, сменилась и типография.

Открывая № 1 журнала «Дело», М. Н. Глубоковский писал: «В России уже давно чувствовалась потребность в дешевом научном журнале, который давал бы возможность широкому кругу читателей знакомиться с развитием наук и их применений. Известия такого рода, печатающиеся в газетах, излагают дело превратно, и положиться на них рискованно. В виду этого в 1890 г. нами был основан журнал *Наука и Жизнь*; но по своей цене он доступен далеко не всем, и потому мы решили издавать журнал “Дело” по цене всего один рубль в год пересылкой, по следующей программе:

1) Изобретения. 2) Успехи наук и их применения к практической жизни. 3) Практические сведения по гигиене, предупреждению и лечению болезней. 4) Дом, сад, огород, поле. 5) Детские игры; новые книги; смесь; справочный отдел. 6) Относящиеся к тексту рисунку. 7) Объявления. 8) Бесплатные приложения» [Глубоковский М. Н. 1894с: 4].

Поскольку в «рублевом журнале» не было возможности сообщить все новости, редакция приняла решение ввести новый способ удовлетворения читательских интересов — индивидуальные письменные ответы на индивидуальные «запросы, соответствующие научно-практическому характеру журнала». Для получения ответа простым письмом следовало выслать в редакцию «три 7 коп. почтовые марки, а для получения заказного ответа — четыре такие же марки. Этим путем всякий может получить ответ по вопросу, интересующего именно его; четырехлетняя же практика по журналу *Наука и Жизнь* дала редакции возможность завести обширные связи по самым разнообразным отраслям» [Глубоковский М. Н. 1894с: 4]. Тем самым редакция «Дела» брала на себя обязательства не только письменно отвечать на запросы,

мал участие в переводе книги Эд. Гарнье «Карлики и великаны», которая с 6 мая по 17 ноября 1890 г. печаталась в «Науке и жизни» и в 1891 г. вышла отдельным изданием с 39 гравюрами в тексте и картой путешествий Станлея (Издание журнала «Наука и Жизнь». М., 1891. 309 с.).

но и при необходимости списываться с известными ей специалистами, фирмами и пр.

Компетентность и осведомленность редакции журнала «Дело» оценили многие читатели, получавшие ответы на вопросы по разным специальностям. Впоследствии они также получали от разных фирм (а редакция выбирала лучшие из известных ей) бесплатные каталоги и т. п. Но сама редакция за свою работу — информационную и посредническую — не получала ничего, кроме марок на письма. Уже в феврале 1894 г. М. Н. Глубоковский в статье «О запросах подписчиков» привел данные о том, что с ноября 1893 г. в редакцию поступило более 1500 запросов от подписчиков; многие касались фирм, банков, медицины, а также «относительно книг и их выбора», «о цементе, о мыловарении, о сельскохозяйственных машинах, о возделывании различных растений, о разных специальных сочинениях» [Глубоковский М. Н. 1894а: 35].

Отдельная часть писем в редакцию касалась «научных вопросов», вызванных недостатком образования. И, наконец, третья часть запросов была от изобретателей. «Просто трудно поверить сколько их у нас», — писал М. Н. Глубоковский, приводя много разных примеров, в том числе одного крестьянина, который сам дошел до закона Торричелли и проч.

Совмещая должности издателя, редактора и автора, М. Н. Глубоковский нередко оказывался единственным сотрудником своих журналов: писал сообщения и статьи по разным отраслям знания, держал корректуры, вел обширную переписку, конторскую работу, «сам делал все чертежи, отлично владея рисунком, и чуть даже не заменял наборщиков» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 187]. По словам брата, М. Глубоковский «в совершенстве знал всю технику печатного тела и мечтал о многих усовершенствованиях в нем (вроде наборной машины), а в корректуре справедливо считался артистом среди специалистов» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 187]; поместил в журнале статью «Практическое наставление для правки корректуры. Для авторов, издателей, корректоров и наборщиков» [Глубоковский М. Н. 1894b], вышедшую в 1895 г. отдельной брошюрой [Глубоковский М. Н. 1895].

Еще один важный практический результат его трудов в журналах «Наука и Жизнь» и «Дело» подчеркнул Н. Н. Глубоковский: «В этих органах и чрез посредство их поступило в русскую литературу множе-

ство популярных и более специальных трудов разных авторов» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 187–188].

Несмотря на издание собственных журналов, М. Н. Глубоковский не оставлял «Московские ведомости» и сотрудничал в газетах и журналах: «Московский телеграф», «Русское слово», «Московский Листок», «Русское Дело», «Русско-Английский торговый вестник» «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Кремль», «Народное благо», «Правда», «Врач», «Царь-Колокол», «Приднепровский рай», «Русский вестник», «Русское Обозрение» и др. После его кончины на страницах многих из них появились некрологи¹. Как писал младший брат, М. Глубоковский «посвятил литературному делу свои наилучшие силы, видя в этом величайшее и — можно сказать — священное служение», которое «простиралось и на духовную журналистику», и на составление брошюр «для любивших его афонских (русских) монахов» [Глубоковский Н. Н. 1904b: 184–185].

Статьи М. Н. Глубоковского печатались в духовных журналах «Вера и Церковь», «Вера и разум», «Православное обозрение», «Церковные ведомости». Епископ Пермский и Соликамский Петр (Лосев), ректор в 1875–1887 гг. Вологодской духовной семинарии, выпускниками которой были все Глубоковские, 15 марта 1900 г. писал Матвею: «Я всегда с большой любовью и уважением вспоминаю Вас и Ваших братьев. С великим интересом прочел Вашу статью в журнале “Вера и Церковь” о примирении науки человеческой с Божественным откровенным учением [Глубоковский М. Н. 1899]. Да таких статей Вашего пера было не мало. О, если бы так посту[пали] все ученые люди? К сожалению, таких мало — даже очень. Можно указать только на Хомякова, Киреевских, Самарина, Властова² и Неплюева³. Абсолютное большинство наших писателей оказываются, по слову, Апостола Павла, *невежами в вере*,

¹ Московские ведомости. 1903. № 340, 341, 342, 357; Русские ведомости. 1903. № 343; Русское слово. 1903. № 341; Курьер. 1903. № 286; Новости дня. 1903. № 376 за 13 декабря и 1904. № 7; Исторический вестник, 1904. № 1. С. 394–395; Русский паломник. 1904. № 5; Н. П. [Н. В. Попов] М. Н. Глубоковский // Церковные ведомости 1904. № 5. С. 182–183.

² Властов Георгий Константинович (1827–1899), духовный писатель, из греческой семьи.

³ Неплюев Николай Николаевич (1851–1908), духовный писатель, основатель Крестовоздвиженского православного трудового братства.

именно по нерасположению к высшему миросозерцанию и христианскому учению. А кто о сем не думает и не желает знать, — тот, естественно, остается в неведении... и вот мнимо-видящие оказываются слепыми... Ну да об этом много и много нужно бы говорить... Жаль, что высшие светские учебные заведения выпускают б. ч. равнодушных людей к Христианской Церкви <...>¹.

В бытность ректором Вологодской семинарии епископ Петр (тогда протоиерей Петр Лосев) приобщил к литературному труду лучшего ученика выпускного класса семинарии Николая Глубоковского, написавшего по его поручению свою первую статью «Празднование дня Священного Коронования Их Императорских Величеств в учебных заведениях г. Вологды»², напечатанную 3 июня 1883 г. в «Вологодских губернских ведомостях» (№ 23) без подписи. В том же году, по поручению ректора, написана и вторая статья: «Об учреждении викариатства в Великом Устюге. Письмо из Вологды. 10 октября», помещенная 19 октября в «Московских ведомостях» (№ 290) за подписью Н. Г., и 1 января 1884 г. — ее продолжение: «Из Вологды» (№ 1) за подписью N. Став в сентябре 1884 г. студентом Московской духовной академии, Николай Глубоковский, при содействии старшего брата Матвея, получившего известность в московских журналистских кругах, начал активно печатался на страницах «Московских ведомостей» и других московских газет. Все статьи выходили под разными инициалами или без подписи.

Позднее Н. Н. Глубоковский вспоминал, что его литературная деятельность «началась случайно и потом развивалась по разным сторонним поводам и причинам. <...> главнейшим был финансово-материальный интерес» и «другие стимулы внешнего характера в виде разных обязательств»: поддержать литературные предприятия старшего брата Матвея, труды своих академических товарищей, учителей, учеников, знакомых, близкие ему учреждения «и добрые начинания вообще» [Богданова: 893]; но с «расширением литературной производительности появилась нужда регистрировать ее результаты ради всяких справок и сопоставлений» [Богданова: 894]. Эти регистрационные записи — автобиблиография — включают около 1000 наименований: от монографий до статей, рецензий, корреспонденций и заметок в газетах и удостоверяют принадлежность их Н. Глубоковскому в тех случаях, когда

¹ ОР РНБ. Ф. 194. Присоединения. (Материалы находятся в обработке.)

² Вологодские губернские ведомости. 1883. № 23, 3 июня. С. 6-7. — Б/п.

они печатались под псевдонимами, различными инициалами, либо вообще без подписи, без чего выявить эти сочинения не представлялось бы возможным. В наибольшей степени это касается статей в газетах в 1880-е – 1890-е гг.

Наибольшая активность газетного труда Н. Глубоковского приходится на 1884–1890 гг., когда он был студентом МДА в Сергиевом Посаде, потом год профессорским стипендиатом. С 1 января 1884 г. до 1 января 1888 г. он публиковал статьи только в «Московских ведомостях», всего 50 статей: об учреждении Великоустюжского викариатства, о церковно-приходских школах Вологодской епархии, корреспонденции из Сергиева Посада об академической жизни; значительную часть в этой газетной продукции занимали статьи об археологических раскопках и экспедициях, о текущей политике и другим вопросам, написанные на основе публикаций в английских и французских газетах. После переезда Н. Глубоковского осенью 1891 г. в С.-Петербург на страницах «Московских ведомостей» время от времени продолжали появляться его корреспонденции в разделах «Петербургские вести», с января 1896 г. — «Факты и слухи. Петербург», с 22 марта того же года — «Внутренние известия. Факты и слухи. Петербург», а также в разделе «Иностранные известия» о положении Православной Церкви в Северной Америке, составленные на основе писем к нему епископа Алеутского и Аляскинского Николая, в миру Михаила Захаровича Зиорова, служившего инспектором Вологодской духовной семинарии, когда Н. Глубоковский там учился в последнем классе; впоследствии они переписывались.

Всего за время сотрудничества Н. Глубоковского в «Московских ведомостях» с октября 1883 по январь 1897 г. в газете напечатано не менее 134 статей, включая корреспонденции и библиографические заметки; последняя статья появилась в газете 27 мая 1908 г. — одна из немногих, подписанных его именем.

С января по апрель 1888 г. Н. Глубоковский написал для московской еженедельной газеты «Русское дело» пять обзоров по текущей политике: «Итальянцы на Красном море» (псевдоним — Г. Н. Н.: обзор истории захвата и удерживания Итальянским королевством колонии Массова на западном побережье Красного моря); «Из Лондона (Корреспонденция “Русского Дела”）」 (псевдоним — Trustful: по поводу статьи английского политического деятеля Чарльза Дилька «Modern armies» в январской книжке «The Fortnightly Review»); «Из Прибалтийского

края. (Корреспонденция “Русского Дела”)» (псевдоним — *Н-е*: обзор истории гонений на Православие и русских в Курляндской губернии после присоединения ее к Российской Империи); «Военные заметки» (без псевдонима: перевод немецкого рукописного обзора современных улучшений в крепостной и береговой артиллерии и предисловие к нему); «Из Будапешта. (Корреспонденция “Русского Дела”)» (псевдоним — *Чужой*: обзор направлений венгерской повременной печати).

Письмо Матвея Глубоковского к редактору «Русского дела» Д. И. Морозову с отказом от дальнейшего сотрудничества раскрывает некоторые обстоятельства этого сотрудничества и, в известной мере, проливает свет на появление в газете статей Николая Глубоковского. Но не отвечает на вопрос о том, знала ли редакция газеты, кто автор публикаций. Обратим внимание на то, что в середине IV (последнего) курса 11 января 1888 г. Н. Глубоковский был отчислен из МДА, а в апреле того же года восстановлен, но только курсом ниже, окончив академию в 1889 г. [Глубоковский Н. Н. 1914: 1–2]. Таким образом его «сотрудничество» в «Русском деле» приходится как раз на этот период, а письмо Матвея Глубоковского написано не позднее 15 мая 1888 г.:

Многоуважаемый Давид Иванович. В силу некоторых обстоятельств, о коих некоторые разъяснение даст вам г. Рихтер, я должен отказаться от сотрудничества в Вашей газете Русское Дело. Тем не менее, до 15 сего мая я считаю себя обязанным и буду доставлять обозрения: будут ли эти обозрения печататься, все равно платы с Вас за последний месяц (15 апр., 15 мая) я не требую. Благоволите уведомить меня чрез г. Рихтера, сами ли Вы поручите кому-либо составление политических обозрений с 15 мая, или же Вам будет угодно поручить приискание, вместо меня, подходящего сотрудника мне же. В последнем случае я обязуюсь найти Вам такое лицо к 15 мая, после чего, вследствие расстроенного здоровья, я уезжаю на Юг. При сем считаю необходимым выяснить одно небольшое, но могущее возникнуть недоразумение, именно, что я получал в *Русском Деле* слишком много, злоупотребляя Вашею добротой и доверием. Для предупреждения всяких недоразумений, считаю своим долгом выяснить Вам, как хозяину, действительное положение дела¹.

1 ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1255. Л. 1–1 об.

Далее в письме следует скрупулезный анализ расценок, принятых в других московских газетах, и добавлено:

При этом я не считаю того, что до февраля сего года я выпускал и корректировал почти все нумера, тратя на каждый по 4–5–8 часов. <...> Я не могу думать, что беря с Вас эту плату, я злоупотребляю Вашей добротой, и вообще поступаю по отношению к Вам недобросовестно¹.

М. Н. Глубоковский подкрепил свои слова несколькими примерами, интересными с точки зрения финансовой стороны жизни русских газет в конце XIX в.:

1) Ни в одной газете простые (каковым я себя считаю) сотрудники, за обычные статьи не получают менее 5 коп. со строки; а серьезные политические статьи всюду обходятся *гораздо* дороже 10 коп. Справьтесь в *Новостях*, *Новом Времени* или *Русских Ведомостях*.

2) Что для меня это не особенно высокая цена, это видно из условий, на коих я работаю в *Московских Ведомостях*, а именно: а) жалованья, просто за право писать в газете, я получаю в месяц 125 руб.; б) за всякую политическую статью я получаю по 20 руб., хотя бы они были не более 50–60 строк и какие бы изменения и приписки в ней ни были сделаны редактором; в) за остальные статьи — по 6–5 коп. со строки, смотря по месту, где они помещены; г) за фельетон — по 8 коп. со строки².

Конец письма М. Н. Глубоковского к Д. И. Морозову подводил черту и при этом выглядел благопристойно:

На основании всего этого, я думаю, что я не злоупотребляю Вашей добротой, что Вы не сохраните обо мне воспоминания в *этом* смысле, и что, при возможных встречах со мной, Вы не будете смотреть на меня, как на человека, могущего злоупотребить чьим бы то ни было доверием и расположением³.

Сотрудничество Н. Н. Глубоковского в общественно-политической, экономической и литературной бесцензурной газете «Русское слово»

¹ ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1255. Л. 2.

² ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1255. Л. 2–2 об.

³ ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1255. Л. 2 об.

относится к 1895–1897 гг. Издание, в котором сотрудничал и Матвей Глубоковский, выходило в Москве под редакцией А. А. Александрова; хотя в августе 1897 г. газету приобрел И. Д. Сытин, до мая 1901 г. Александров оставался ее редактором. В «Русском слове» Н. Глубоковский опубликовал не менее двадцати статей: корреспонденции из Петербурга о перемещениях в духовном ведомстве, изменениях в преподавательской составе столичной академии, о выпусках в СПбДА, учреждении при СПбДА ученого «Общества охранения церковной старины», о деятельности Православной миссии в Северной Америке по письмам епископа Николая (Зиорова), об отношении северо-американских старо-католиков к Православию, библиографические заметки к изданию «Творения Святого *Иоанна Златоустого*».

Подводя итог, можно сказать, что составленный в январе–феврале 1899 г. Проект ежедневной бесцензурной газеты для духовного сословия, сохранившийся в бумагах М. Н. Глубоковского в составе фонда Н. Н. Глубоковского, в известной мере явился результатом сотрудничества братьев Глубоковских в московских газетах.

Есть черновой автограф М. Н. Глубоковского (29 января 1899 г. Москва) с правкой Н. Н. Глубоковского красным, синим, простым карандашами и черными чернилами, которая свидетельствует о том, что Проект разрабатывался при его содействии, предполагал его сотрудничество и привлечение им к участию в газете профессоров духовных академий. Есть также литографированный рукописный экземпляр проекта, датированный февралем 1899 г. Можно предположить, что он предназначался для ознакомления и обсуждения, что было свойственно М. Н. Глубоковскому, которому принадлежала ведущая роль в этом проекте.

Ниже публикуются оба варианта: литографированная рукопись и черновик.

1.

Черновик

Проект учреждения

ежедневной газеты, приспособленной главным образом
для лиц духовного сословия, или близких к нему,
а также и для всех любителей приличного чтения¹

1. *Необходимость такой газеты*

В настоящее время нет ни одной ежедневной газеты, вполне пригодной не только для черного и белого духовенства, но и просто для приличной семьи. *Официальные* издания весьма скучны и *не могут* иметь другого характера вследствие полной зависимости их редакторов от многих лиц и обстоятельств. Между тем, не только для белого, но и для черного духовенства ныне составляет уже почти необходимость знать все, что происходит на свете а в свободные минуты найти интересное чтение². Поэтому все они поневоле выписывают *частные* издания, из коих ни одно не удовлетворяет данной цели по следующим причинам:

Во-первых, все частные газеты смотрят на духовенство если не с презрением, то, по меньшей мере, свысока³. Защиты жизненных интересов белого и черного духовенства ныне не встретишь нигде, хотя печатная защита весьма важна, ибо докладные записки, рапорты, прошения и пр. имеют очень мало значения в сравнении с печатным словом. *Независимая* газета,

¹ ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1239. Л. 1-2.

² После редакторской правки Н. Н. Глубоковского красным и синим карандашом отрывок «вследствие полной ~ интересное чтение» выглядит так: «по понятным причинам. Между тем ныне, в интересах благовременной и плодотворной деятельности, не только для белого, но и для черного духовенства ныне составляет уже почти необходимость знать все, что происходит на свете, дабы «искушать» все для своих целей...»

³ *На полях простым карандашом вписано рукой Н. Н. Глубоковского:* В редких исключениях бывает еще хуже, потому что видим или усердие не по разуму при великом невежестве («Моск. Вед.»), или отравляющее легкомыслие («Новое Время»), соблазнившие немалое количество духовных лиц, напр. по вопросу о церковном воспитании, или дерзкое нахальство самочинного решения высших церковных вопросов («Русский труд»), или крайнюю церковную тенденциозность (покойный «Восход» и писания Дурново, Т. И. Филиппова и пр.). *Также помета неустановленного лица:* Правда.

систематически и обстоятельно ратующая за эти интересы, могла бы оказать огромные услуги¹.

Во-вторых, все частные газеты, ныне существующие, такого свойства, что в семейных домах их невозможно оставлять на столе из боязни, что прочитают дети. Много раз приходилось слышать о необходимости такой газеты, где после витиеватой статьи о значении православия нельзя было бы найти «сенок» и рассказов самого неприличного содержания. Но такой газеты ныне нет.

2. Примерные задачи предполагаемой газеты и программа ее

а) Постановления и распоряжения правительства, особенно же касающиеся церковной жизни и духовенства, с замечаниями относительно значения этих известий.

б) Сведения о церковных делах *за границей*, также с пояснениями с православной точки зрения.

в) Сведения о заслуживающих внимания сведениях церковной жизни во всем *православном мире*, включая сюда и то, что происходит вне пределов России. Сообщения от епархий, духовных академий, семинарий и училищ, от священников и пр.

г) Статьи, касающиеся защиты интересов и прав белого и черного духовенства.

д) Справочный отдел и *бюро* для сообщения нужных для подписчиков сведений и справок², в роде существующего в *Церковном Вестнике*, но, конечно, гораздо лучше, ибо там подписчики дожидаются ответа иногда до полугодя и более.

е) *Полная программа обыкновенных бесцензурных газет*, т. е. обсуждение всех вопросов внутренней и внешней политики, телеграммы, известия из всех городов о выдающихся событиях, научные известия, судебная хроника, гравюры, относящиеся к тексту и пр. Разумеется, должны быть и объявления.

Научный отдел, кроме сообщений о выдающихся открытиях и изобретениях, должен давать сведения *практические*, напр.: по сельскому хозяй-

¹ Добавлено рукой Н. Н. Глубоковского: услуги духовенству в исполнении его великой миссии.

² *Отчеркнуто на полях простым карандашом и помета Н. Н. Глубоковского: Определеннее!*

ству, домоводству, лесоводству, огородничеству, архитектуре, слесарному, столярному, токарному и т. п. делам.

Беллетристика не исключается, но она должна быть *приличная*.

3. Способ осуществления

Официально такой газеты издавать нельзя¹. Необходимо, чтобы во главе дела стояло лицо формально вполне независимое от духовного начальства, — словом, надо сделать так же, как сделано с *Московскими Ведомостями*, служащими частным официоном нескольких министерств². Эти министры чрез посредство этой газеты выражают свои пожелания. В случае неудачи все сваливается на «неумелость редактора», а те³ остаются в стороне. Но очень часто выраженные чрез эту газету желания достигают цели. То же можно сделать и по духовному ведомству, которое, разумеется, должно обставить себя так же, т. е., чтобы в случае неудачи известного проекта сваливать всю вину на «неумелость» редактора, а в случае удачи — пользоваться результатами успеха⁴.

4. Шансы успеха

При цене газеты *по 8 руб. в год*⁵ и умелой пропаганде ее (а для этого есть еще 11 месяцев, если начать ее с 1900 года) невозможно рассчитывать меньше как на 5.000 подписчиков, что даст около 40.000 рублей. (Да объявления дадут 10–20.000 рубл.)⁶. Все это даст около 150 рубл. на каждый № газеты, а на эту сумму можно *отлично издавать*. На постановку дела можно огра-

¹ *Редакторская правка Н. Н. Глубоковского*: Официальное издание такой газеты неудобно.

² *Пояснение Н. Н. Глубоковского, вписанное черными чернилами в конце документа, перед подписью М. Н. Глубоковского*: Разумеется, эта газета, чтобы быть вполне независимой от всяких случайностей должна иметь материальное вспомоществование не менее «Моск. Ведом.».

³ *Редакторская правка Н. Н. Глубоковского*: а министры.

⁴ *Редакторская правка Н. Н. Глубоковского*: в случае неудачи известного проекта ответственность всецело падает на редактора, а в случае удачи — можно было пользоваться результатами успеха.

⁵ *На полях помета Н. Н. Глубоковского простым карандашом*: С пересылкой или без?

⁶ *Круглые скобки поставлены Н. Н. Глубоковским, на полях — его помета простым карандашом*: Этой статьи нельзя вводить в расчет.

ничиться суммою всего около 10, 000 руб., из коих 5.000 в залог за бесцензурность (*подцензурную ежедневную газету издавать и редактировать я абсолютно отказываюсь*); но этот залог всегда может быть взят обратно, и проценты не пропадут. Остальные 5.000 требуются на устройство конторы, на разъезды, объявления и пр., и пр. Риска для ссуды этой суммы нет *никакого*, ибо не может же быть, чтобы не набралось хотя бы 2.000 подписчиков. Можно устроить, что всю подписку будет получать доверенное лицо, предоставив редактору-издателю, в случае неудачи расквитываться как он знает сам¹. Но — *успех несомненен*.

У меня есть профессоры почти во всех университетах, хорошо знакомые; у брата Николая² — во всех духовных академиях. Состав сотрудников может быть сделан блестящий, — а это один из важных шансов успеха.

Дальнейшие подробности могут быть даны при первом востребовании по какому угодно пункту.

Москва
18 I/29 99.

Др. М. Глубоковский.

Сопоставление чернового и литографированного вариантов показывает, что черновой автограф М. Н. Глубоковского претерпел изменения, но не все дополнения и формулировки Н. Н. Глубоковского были учтены.

¹ *Редакторская правка Н. Н. Глубоковского: предоставив редактору-издателю приличное вознаграждение.*

² *На полях рукой Н. Н. Глубоковского простым карандашом вписано: Глубоковского.*

2.

Литографированная рукопись

Проект учреждения предназначенной, главным образом,
для лиц духовного звания, или сословия,
а также для всех любящих приличное чтение
*ежедневной газеты*¹

1. *Необходимость такой газеты*

В настоящее время нет ни одной ежедневной газеты, вполне пригодной не только для черного и белого духовенства, но и просто для приличной семьи. *Официальные* издания этой цели удовлетворить не могут по понятным причинам. Между тем ныне, в интересах благовременной и плодотворной деятельности, не только для белого, но и для черного духовенства необходимо знать все, что происходит на свете, дабы «искушать» все для своих целей. Посему поневоле выписывают *частные* издания, из коих ни одно не удовлетворяет указанной цели по следующим причинам:

Во-первых, все частные газеты смотрят на духовенство если не с презрением, то, по меньшей мере, свысока. Иногда бывает еще хуже, и мы видим или усердие не по разуму, или легкомыслие, соблазняющее духовных лиц, или дерзкое и самочинное решение духовных вопросов и т. д. Защиты жизненных интересов черного и белого духовенства ныне не встретить нигде в светской печати, хотя печатная защита весьма важна, ибо рапорты, докладные записки, прошения и пр. не всегда удобны и, кроме того, имеют малое значение в сравнении с печатным словом. Газета, систематически и обстоятельно ратующая за эти интересы, могла бы оказать немалые услуги духовенству в исполнении его высокой миссии.

Во-вторых, все ныне существующие частные газеты такого свойства, что в семейных домах их невозможно оставлять на столе из опасения, что их прочтут дети. Необходимость приличной газеты для духовенства и средних классов давно признается, но такой газеты до сего времени нет.

¹ ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 1239. Л. 3-4. Литография, рукоп. Фиолетовая.

2. Примерная программа предполагаемой газеты

а) Постановления и распоряжения правительства, особенно же касающиеся церковной жизни и духовенства, с объяснением значения их распоряжений.

б) Сведения о церковных делах за границей, с пояснением всего с православной точки зрения.

в) Сведения о заслуживающих внимания сведениях церковной жизни *во всем православном мире*, сообщения из епархий, духовных академий, семинарий и пр.

г) Статьи, касающиеся защиты интересов и прав всего духовенства и отдельных членов его, почти не имеющих возможности ответить на печатные клеветы, за неимением соответственного органа.

д) *Полная программа обыкновенных бесцензурных газет*, с правом помещать гравюры.

е) Объявления и приложения.

3. Способ осуществления

Официально издавать такую газету неудобно. Надо, чтобы такое издание было лишь *официозное*, в роде «Московских Ведомостей», чтобы во главе его стояло лицо, не находящееся в прямо зависимости от духовного начальства.

Чрез «Моск<овские> вед<омости>» нередко и министры высказывали свои мнения, чтобы позондировать почву, а иногда и полемизировали один с другим, не рискуя ничем, ибо, в случае неудачи, всю вину относили на неумелость редакции.

Подобное же издание было бы бесполезно иметь и духовному ведомству. Конечно, такая газета должна быть *бесцензурною*.

Практические способы осуществления таковы:

а) Ред<актор>-издатель состоит на жалованье, по обусловленному контракту и, хотя заведует всем, но от получений и уплат устранен.

б) Дать редактору-издателю единовременную субсидию для открытия с 1 января 1900 г., возложив на него весь риск, в случае неудачи, и обязав возратить субсидию, в случае удаи. Субсидия требуется в размере не менее 10–12.000 рубл., из коих 5.000 р. для внесения в Главное упр<авление> по дел<ам> печати в залог за бесцензурность; остальная же 5–7.000 руб. потребны на постановку дела до выхода № 1, а именно: на устройство конторы, рассылку циркуляров и переписку, разъезды, объявления в газетах,

содержание 2 или 3 служащих в течение ½ года *до выхода газеты* и т. д., ибо умелая *подготовка* дела значит очень много и стоит недешево.

4. Шансы успеха

При цене газеты по 8 руб. в год и умелой подготовке ее издания, не может быть менее 5.000 подписчиков, что даст в год более 40.000 рублей (считая и объявления). На каждый номер газеты можно будет тратить до 150 руб. и отлично издавать ее.

Успеху может много содействовать и возможность подобрать хороший состав сотрудников, ибо у меня есть знакомые профессора почти во всех светских высших учебных заведениях России, а у брата моего, проф. Н. Глубоковского — во всех духовных академиях.

Если потребуется, можно дать самые подробные объяснения по всем пунктам.

Dr. М. Глубоковский

Москва
18^н99.

Был, как минимум, еще один вариант Проекта — с незначительными разночтениями и датированный 2 марта 1899 г. Два пункта из него привел в своей статье о Матвее Глубоковском его племянник Н. В. Попов, сообщая о планах издания ежедневной газеты для духовенства [Попов: 748–749].

М. Н. Глубоковский не успел реализовать этот Проект. То, что мысль о газете для духовенства не была «праздным мечтанием», Н. В. Попов убедительно доказал появлением в 1902 г. на страницах петербургского духовного журнала «Странник» подобного же проекта; его предложил известный духовный писатель и проповедник протоиерей Григорий Михайлович Дьяченко (1850–1903) [Дьяченко]. Публикация прот. Гр. Дьяченко вызвала со стороны духовенства много сочувственных откликов, опубликованных на страницах того же «Странника». В 1903 г. вопрос о подобной газете поднимался и в Московском Обществе любителей духовного просвещения. «Поэтому с уверенностью можно сказать, что лет через 5–10 мысль М. Н-ча о ежедневной духовной газете делается действительностью, — заключал Н.В. Попов. — Но вспомнят ли тогда именно его как инициатора этой мысли?» [Попов: 749].

Задачи газеты для духовенства М. Н. и Н. Н. Глубоковские видели в защите «жизненных интересов» духовного сословия, в предоставлении духовенству права голоса и в свободной, широкой подаче информации.

В Проекте Глубоковских обращает на себя внимание замечание о необходимости «приличной» газеты, которая может быть на столе «семейных домах», без опасения, что ее прочитают дети... То есть газета должна была быть также и семейной.

Естественным был вопрос: почему М. Н. Глубоковский, будучи врачом, обладавшим блестящими дарованиями и глубокими разнообразными познаниями, «никуда не пристроился» и не бросил журналистику. Товарищ М. Н. Глубоковского по семинарии и «Московским ведомостям» Ф. А. Преображенский давал такое объяснение:

Несомненно, в молодые годы, во времена Каткова, он мог пристроиться, как мог, конечно, бросить журналистику. Мог ли, впрочем? Мы, его современники, в молодые годы смотрели на писателей, каковы бы они ни были, то есть к какому бы лагерю ни принадлежали, как на кумиров, как на богов. Мы мечтали о том, как бы сделаться журналистом; работу журнальную мы считали великим служением народу, родине... Как, бывало, в товарищеской вечерней беседе, мы спорили до хрипоты, почти до брани, но по окончании спора с сердечностью протягивали друг другу руки и оставались друзьями; так мы представляли и журналистов: мы верили, что все борются за правду, говорят по убеждению; мы верили, что истину можно найти тогда, когда ее отыскивают со всех сторон... Мы верили в правду журналистики и сами мечтали о ней. Мы думали, что одно дело взгляды, убеждения, другое — личные отношения... Покойный М. Н. Глубоковский принадлежал к тому же кружку людей. А так как он испробовал журнальной работы еще во времена студенчества, то понятно, что журналистика и затянула его; все свои силы он отдал ей одной, и не мог уже ее покинуть... Это положение знают старые журналисты... Вот почему и М. Н. Глубоковский всю жизнь свою остался только журналистом... Вот почему он, талантливейший и умнейший, не мог сделаться ученым, врачом, профессором... Он был журналист... Теперь нарождается иной тип журналистов, мечтающий лишь о коротких, односложных строчках... [Ф. А.: 3].

Ф. А. Преображенский также подчеркивал, что Матвея Глубоковского отличала «безграничная вера в людей» [Ф. А.: 3].

Духовник Матвея Глубоковского законоучитель Императорского Лицея памяти Цесаревича Николая протоиерей И. И. Соловьев отзывался о нем, как о человеке необычайных умственных дарований, глубокого образования и широкой эрудиции, работавшем «на поприще общественного слова и светской науки» и не забывавшем «*Веры и Церкви*», который «знание видимой природы и ее сил покорял вере и обращал на служение Христовой истине» [Соловьев: 3]. Это был «человек не мира сего, или лучше не нашего века, с его поклонением золотому тельцу, как будто и не замечал этой неблагодарности мира сего за его бескорыстное служение *Науке и Делу*» [Соловьев: 3]. В нем «таилась чуткая, на все доброе отзывчивая, добрая душа. И доброта эта не была лишь благодушием счастливого темперамента, а истекала из сердца доброго, чуждого всего злого и гордого и полного всяческого благожелательства. Она-то лежала в основе той внешне-практической деятельности, которою служил он, сделавшись врачом: она-то будила его пытливый ум и двигала его мыслью в тех открытиях и изобретениях, которыми так увлекался он и которые так мало давали ему» (Курсив мой. — Т. Б.) [Соловьев: 3].

Схожие взгляды на литературную деятельность исповедовал и Н. Н. Глубоковский, писавший: «Литература — наравне с профессурой — была и доселе остается как бы моим священнослужением Богу истины, правды и любви, где я — лишь слабый исполнитель обязательного и неключимый раб повеленного (Лук. XVII, 10)» [Богданова: 893]. 1 апреля (19 марта), в Вербное воскресенье 1934 г., он дополнил: «Я — человек не нынешнего века, а XIX, и принадлежал к той “литературной секте”, которая благоговейно чтит печатное слово и считала величайшею честью и высшею радостью хоть сколько-нибудь соучаствовать в нем исключительно в просветительных интересах, открыто усвая всякие злоупотребления “разбойников пера и мошенников печати” <...>. И доселе живо вспоминаю, с какою восторженностью я встречал мои первые печатные опыты (стараясь, однако, скрывать их от посторонних взоров и знаний...)» [Богданова: 893].

Братья М. Н. и Н. Н. Глубоковские принадлежали к числу лучших представителей возвращенного духовенства и духовною школой «особого духовного типа», о котором писал П. Б. Струве. Этот тип отличали

идеализм, который воспитывала духовная школа (и это время еще успели застать братья Глубоковские), преданность истине, согласие на жизнь «вне жизни» с ее «злобами», служение науке и делу, благожелательство, творческий дух, консерватизм и традиционность, нацеленность (как некий жизненный вектор) на созидание духовной культуры и ее сохранение в каждый исторический период.

Список литературы
Источники

Глубоковский М. Н. Всемирно-научный язык. Возможность и метод его создания. М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1880. 79 с.

Глубоковский М. Н. Естествознание и материализм // Вера и Церковь. 1899. Т. II. С. 713–738.

Глубоковский М. Н. Корректурные правила для авторов, издателей, корректоров и наборщиков / сост. dr. М. Н. Глубоковский, ред.-изд. науч.-практ. журн. для всех «Дело». М.: Унив. тип., 1895. 6 с.

Глубоковский М. Н. О запросах подписчиков // Дело. 1894а. № 2. С. 35.

Глубоковский М. Н. Практическое наставление для правки корректуры. Для авторов, издателей, корректоров и наборщиков // Дело. 1894б. № 10. С. 233–237.

[*Глубоковский М. Н.*] От редакции «Дела» // Дело. 1894с. № 1. С. 4.

Глубоковский Н. Н. Академик профессор Борис Александрович Тураев, как христианский учитель и ученый // Воскресное чтение (Варшава). 1929. № 11, 17 марта. С. 169–173.

Глубоковский Н. Н. Академические заветы и обеты / сост. и общ. ред. прот. Бориса Даниленко и иеромонаха Петра (Еремеева). М.; Сергиев Посад: Синодальная б-ка Московского Патриархата. 2005. 152 с.

Глубоковский Н. Н. Дорогой памяти неумолимого искателя правды писателя и изобретателя врача Матвея Никаноровича Глубоковского († 1903, XII, 11). СПб.: Тип. Мотвида. 1904а. 15 с.

Глубоковский Н. Н. Из ненапечатанного архива: Автобиографические воспоминания // Церковь и время. 2003. № 2 (23). С. 160–165.

Глубоковский Н. Н. М. Н. Глубоковский (некролог) // Странник. 1904б. № 1. С. 182–183.

[*Глубоковский Н. Н.*] Отголоски светской журналистики. Педагогические предразсудки // Церковный вестник. 1892. № 51. 17 декабря. С. 806–809.

Глубоковский Н. Н. По поводу письма проф. Н. И. Субботина к К. П. Победоносцеву. СПб.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. 19 с.

Глубоковский Н. Н. Современное состояние и дальнейшие задачи изучения греческой Библии в филологическом отношении // Христианское чтение. 1898. № 9. С. 365–372.

Дим. Яз.-Ш. Матвей Никанорович Глубоковский. † // Московские ведомости. № 340. 1903. 12 (25) декабря. С. 2.

Дьяченко Г. М. Насущная потребность нашего времени. Мысли об издании духовной газеты как насущной потребности наших дней. Пг.: Тип. А. П. Лопухина. 1902. 84 с.

Земляк. Памяти М. Н. Глубоковского (К 20-дню по его кончине) // Московские ведомости. 1903. № 357, 1904. 30 декабря (12 января). С. 3.

Попов Н. В. Памяти борца за высшие духовные идеалы врача М. Н. Глубоковского // Вера и Церковь. 1904. Кн. 10. С. 743–758.

Преображенский Ф. Памяти товарища // Московские ведомости. № 340. 1903. 12 (25) декабря. С. 2.

Соловьев И. И. Похороны М. Н. Глубоковского // Московские ведомости. 1903. № 342. 14 (27) декабря. С. 3.

Струве П. Б. «У Троицы в Академии» [рецензия] // Русская мысль. 1915. № 12. С. 15.

Ф. А. Памяти товарища // Московские ведомости. № 342. С. 3.

Исследования

Богданова Т. А. Н. Н. Глубоковский. Судьба христианского ученого. М.; СПб.: Альянс-Архео. 2010. 1005 с.

Богданова Т. А., Клементьев А. К. Из семьи Глубоковских // Глагол времени: Исследования и материалы. Вологда: Книжное наследие, 2005. С. 417–437.

Ферапонт (Широков), иером. «Приветствую Вас, генерала из генералов в ученом мире...»: письма ректора Вологодской духовной семинарии протоиерея Николая Малиновского Н.Н. Глубоковскому (1907–1910 гг.) // Вестник ПСТГУ. Серия II. История. История Русской Православной Церкви. 2021а. Вып. 98. С. 145–166.

Ферапонт (Широков), иером. «Религиозное образование и развитие — это настоящая и естественная потребность русского человека...»: Н. Н. Глубоковский и Вологодская духовная семинария // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 2021б. № 1 (14). С. 92–102.

Шкаровский М. В. Деятельность профессора Петроградской духовной академии Н. Н. Глубоковского в эмиграции и судьба его научного наследия // Русско-Византийский вестник. 2021. № 4 (7). С. 92–105.

References

Bogdanova, T. A. N. N. *Glubokovskii. Sud'ba khristianskogo uchenogo* [N. N. Glubokovsky. *The Fate of a Christian Scientist*]. Moscow, St. Petersburg, Al'ians-Arkheo Publ., 2010. 1005 p. (In Russ.)

Bogdanova, T. A., and A. K. Klement'ev. "Iz sem'i Glubokovskikh" ["From the Glubokovsky Family"]. *Glagol vremeni: Issledovaniia i materialy* [Verb of Time. Research and Materials]. Vologda, Knizhnoe nasledstvo Publ., 2005, pp. 417–437. (In Russ.)

Ferapont (Shirokov), hieromonk. "'Privetstvuiu Vas, generala iz generalov v uchenom mire...': pis'ma rektora Vologodskoi dukhovnoi seminarii protoiereia Nikolaia Malinovskogo N. N. Glubokovskomu (1907–1910 gg.)" ["'I Greet You, General of Generals in the Scientific World...': Letters from the Rector of the Vologda Theological Seminary, Archpriest Nikolai Malinovsky N. N. Glubokovsky (1907–1910)"]. *Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Serii II. Istorii. Istorii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi*, vol. 98, 2021, pp. 145–166. (In Russ.)

Ferapont (Shirokov), hieromonk. "'Religioznoe obrazovanie i razvitie — eto nasushchnaia i estestvennaia potrebnost' russkogo cheloveka...': N. N. Glubokovskii i Vologdskaia dukhovnaia seminariia" ["'Religious Education and Development Is an Urgent and Natural Need of the Russian Person...': N. N. Glubokovsky and Vologda Theological Seminary"]. *Bogoslovskii sbornik Tambovskoi dukhovnoi seminarii* [Theological Collection of the Tambov Theological Seminary], no. 1 (14), 2021, pp. 92–102. (In Russ.)

Shkarovskii, M. V. "Deiatel'nost' professora Petrogradskoi dukhovnoi akademii N. N. Glubokovskogo v emigratsii i sud'ba ego nauchnogo naslediiia" ["Activities of Professor of the Petrograd Theological Academy N. N. Glubokovsky in Exile and the Fate of his Scientific Heritage"]. *Russko-Vizantiiskii vestnik*, no. 4 (7), 2021, pp. 92–105. (In Russ.)

© 2024. Н. И. Крижановский

Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Россия

Полемика М. О. Меньшикова с Д. С. Мережковским о А. С. Пушкине: к пониманию статьи «Клевета обожания»

Аннотация: В центре исследования — малоизученный полемический отклик набравшего популярность в 1890-х гг. публициста М. О. Меньшикова на критико-философскую работу Д. С. Мережковского «А. С. Пушкин». Цель статьи — выяснение особенностей критических оценок в статье М. О. Меньшикова «Клевета обожания» для определения специфики его воззрений на рубеже XIX–XX вв. Автор исследования обращает внимание на творческие связи Меньшикова с Вл. С. Соловьевым, раскрывает особенности полемики с писателем-декадентом, проясняет умение критика проникать в исторический и духовный контекст пушкинского творчества. Осмысление Меньшиковым центральных образов стихотворения «Чернь» («Поэт и толпа») и поэмы «Медный всадник» Пушкина опровергает толкования произведений на основе нищезанятия, чуждого пушкинскому творчеству. Доказывается, что при анализе стихотворения «Чернь» Меньшиков одним из первых указал на нетождественность образа Поэта и личности Пушкина. Обозначена связь убеждений Меньшикова с учением Л. Н. Толстого при осмыслении таких явлений, как «непротивление», «героизм», «церковь». Показано, что критик в полемике выступил защитником традиций русской классики, несмотря на противоречивость отдельных его оценок.

Ключевые слова: М. О. Меньшиков, Д. С. Мережковский, А. С. Пушкин, Вл. С. Соловьев, критика, полемика, «Клевета обожания», нищезанятие, толстовство, национальный идеал.

Информация об авторе: Николай Игоревич Крижановский, кандидат филологических наук, доцент, Кубанский государственный университет, ул. Ставропольская, 149, 350040 г. Краснодар, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2764-7117>

E-mail: nicolaykri@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 16.06.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 27.07.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Крижановский Н. И. Полемика М. О. Меньшикова с Д. С. Мережковским о А. С. Пушкине: к пониманию статьи «Клевета обожания» // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 174–195. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-174-195>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 174–195. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 174–195. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Nikolay I. Krizhanovskiy
Kuban State University
Krasnodar, Russia

Polemics of M. O. Menshikov with D. S. Merezhkovsky on A. S. Pushkin: Towards an Understanding of the Article “The Slander of Adoration”

Abstract: The study focuses on the polemical response of the publicist M. O. Menshikov (who gained popularity in the 1890s) to the critical and philosophical work of D. S. Merezhkovsky, “A. S. Pushkin,” little studied by contemporary scholars. The article aims to reveal the features of critical assessments in M. O. Menshikov’s article “The Slander of Adoration” to determine the specifics of his views at the turn of the 19th–20th centuries. The work explores the creative connections of M. O. Menshikov with V. S. Solovyov, reveals the features of the polemic with the decadent writer, and notes the critic’s ability to delve into the historical and spiritual context of Pushkin’s work. In particular, M. O. Menshikov’s understanding of the central images of the poem “The Poet and the Crowd” and “The Bronze Horseman” by Pushkin refutes interpretations of works based on Nietzscheanism, which is alien to Pushkin’s oeuvre. The article proves that when analyzing the poem “The Poet and the Crowd,” Menshikov was one of the first to point out the differences between the image of the Poet and the personality of Pushkin. The research indicates the connection between Menshikov’s beliefs and the teachings of L. N. Tolstoy in understanding such phenomena as “non-resistance to evil by violence,” “heroism,” and “church.” The critic in the polemic acted as a defender of the traditions of Russian classics despite the inconsistency of some of his assessments.

Keywords: M. O. Menshikov, D. S. Merezhkovsky, A. S. Pushkin, V. S. Solovyov, criticism, polemics, “The Slander of Adoration,” Nietzscheanism, Tolstoyism, national ideal.

Information about the author: Nikolay I. Krizhanovskiy, PhD in Philology, Associate Professor, Kuban State University, Stavropolskaya St., 149, 350040 Krasnodar, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2764-7117>

E-mail: nicolaykri@mail.ru

Received: June 16, 2024

Approved after reviewing: July 27, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Krizhanovskiy, N. I. “Polemics of M. O. Menshikov with D. S. Merezhkovsky on A. S. Pushkin: Towards an Understanding of the Article ‘The Slander of Adoration.’” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 174–195. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-174-195>

В 1899 г. Россия отмечала 100-летний юбилей А. С. Пушкина. Многие русские писатели, критики, публицисты выпустили к этой дате свои работы. В октябре юбилейного года трудившийся в изданиях В. П. Гайдебурова М. О. Меньшиков обнародовал в журнале «Книжки “Недели”» полемическую статью «Клевета обожания» о работе Д. С. Мережковского «А. С. Пушкин» (1896). Вскоре, 26 декабря 1899 г., А. П. Чехов, искренне почитавший Меньшикова и друживший с ним, в письме назвал эту статью «превосходной» [Антон Чехов: 134] и, подчеркнув высокий уровень работы, отметил: «...образцовая критическая статья, настоящая критика, настоящая литература» [Антон Чехов: 135].

По мнению Вл. С. Соловьева, выделившего «Клевету обожания» среди прочих работ к пушкинскому юбилею, статья М. О. Меньшикова — «талантливая», «симпатичная» и «примечательная» [Соловьев: 224]. Однако популярный в конце XIX в. философ и публицист не забыл упомянуть и о некоторых «ошибках» критика из «Недели», связанных с неверным, по его мнению, употреблением слова «клевета» и с излишне критическим осмыслением деятельности Петра I [Соловьев: 224].

Нам представляется, что Вл. С. Соловьев не случайно отметил работу критика и фактического редактора «Недели» Меньшикова. Во-первых, Соловьев и Меньшиков уже несколько лет были знакомы, отношения их можно было назвать «приятельскими»¹. Во-вторых, оба публициста к 1899 г. активно печатались в «Неделе», ее литературном приложении «Книжки “Недели”», а также в гайдебуровской газете «Русь», и их публикации порой тематически пересекались. В-третьих, популярный в конце XIX в. философ-публицист не мог не заметить, что Меньшиков в «Клевете обожания» по-своему развивал мысль Соловьева, высказанную двумя годами ранее в восьмой главе статьи «Судь-

¹ См. об этом: Меньшиков М. О. Отклики LXXI // Неделя. 1900. № 33. Стб. 1129–1132.

ба Пушкина» (1897): «Теперешние обожатели Пушкина ... рассуждают так: Пушкин — великий человек, а так как наш критерий истинного величия дан в философии Ницше и требует от великого человека быть учителем жизнерадостной мудрости язычества и провозвестником нового ... культа героев, то Пушкин и был таким учителем мудрости и таким провозвестником нового культа, за что и пострадал от косной и низменной толпы» [Соловьев: 192].

Название «Клевета обожания» — это образная квинтэссенция мысли из первой части восьмой главы статьи Соловьева «Судьба Пушкина», в которой сопоставлены суждения о Пушкине Писарева и новых почитателей поэта, поклонившихся авторитету Ницше. «Обожание» в меньшиковской статье возникает из фразы Соловьева «теперешние обожатели Пушкина» [Соловьев: 192]. «Клевета» — из выражений «ложный факт», «фальшивая оценка», которыми Соловьев характеризует деятельность «новейших пушкиноманов» [Соловьев: 193]. В незадуманном Соловьевым последователе Ницше, считавшем Пушкина «учителем жизнерадостной мудрости язычества и провозвестником нового или обновленного культа героев» [Соловьев: 192], легко узнаваем Мережковский.

Свое неприятие декадентства как явления искусства Меньшиков выразил еще в 1893 г. в статье «Критическое декадентство». В ней при анализе работ критика А. Волынского¹ Меньшиков отмечал, что «ненависть к нормальному, здравому смыслу, ... приписыванье только расстроенному уму стремления к правде — характерная черта декадентов» [Меньшиков 1902: 251]. Современный исследователь так формулирует позицию Меньшикова в этой статье: «Он считал, что Волынский и другие критики-декаденты оказывают разрушительное действие не только на критику и литературу, но и на все русское общество» [Трофимова: 85]. Неприязненное отношение к декадентству-модернизму соседствовало в «Критическом декадентстве» с защитой «реальной» критики Белинского, Чернышевского, Добролюбова от нападков декадентов. В критической работе 1899 г. отторжение декадентства сохранилось, но ценностные ориентиры Меньшикова несколько сместились.

В. Д. Трофимова в единственной на сегодняшний день научной работе о статье «Клевета обожания» отмечает, что критик «ведет подлинно

¹ А. Волынский — псевдоним критика А. Л. Флексера.

научный диспут, показывая собственную эрудицию и безупречную логику рассуждения» [Трофимова: 89], он убеждает публику в том, «что критики-декаденты воссоздают искаженный образ Пушкина» [Трофимова: 89]. Исследователь, отметив субъективный метод и близкие язычеству и ницшеанству идеалы Мережковского, ограничилась тем, что привела несколько обширных и значимых цитат из статьи Меньшикова, не углубившись в ее разбор. Поэтому итоговая мысль работы Трофимовой о том, что «полемика с декадентами стала той вехой, которая означала начало особого пути Меньшикова» как патриота, державника и борца со всем, «что мешает развитию России» [Трофимова: 89], нам представляется недостаточно обоснованной.

М. О. Меньшиков в статье «Клевета обожания» не просто развил мысли Вл. С. Соловьева, но посмотрел на проблему шире и по-своему. В начале работы он обратился к вопросу понимания обожателями-потомками наследия и личности гениев. По его мнению, из двух типов забвения великих личностей — от недостатка внимания и от избытка его — худшим является второй, при котором «незначительное потомство все-таки пытается вместить в тесноту своей природы великий дух и искажает его до неузнаваемости» [Меньшиков 1902: 136]. Память о великих усиленно искажается в юбилейные годы: тогда начинается «быстрый рост лжи» [Меньшиков 1902: 137]. Не называя никого конкретно, Меньшиков отмечал: ряд работ к 100-летию А. С. Пушкина «на некоторое время совсем закутывает, подобно саранче, образ юбиляра» [Меньшиков 1902: 137]. И из-за этих работ происходит вытеснение истинного представления о великом человеке ложным, которое «несравненно больше» полного забвения [Меньшиков: 137], поскольку при рассуждении о юбиляре «почти каждый критик навязывает покойному... что-нибудь свое, ... искусственное, незначительное» [Меньшиков 1902: 138]. Такое навязывание, искажающее образ великого человека, Меньшиков образно назвал «клевета обожания» [Меньшиков 1902: 138].

Среди «множества клевет», возведенных на поэта¹ [Меньшиков 1902: 139], внимание критика привлекла та, что принадлежала та-

¹ Таких «клевет» на А. С. Пушкина (с обожанием и без) в истории русской литературной критики существует немало: от некоторых статей В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Вл. С. Соловьева до большого количества исследований, появившихся в XX–XXI вв. (работы ряда советских авторов, небезызвестная монография А. Терца

лантливому писателю Мережковскому и выразилась в его статье «А. С. Пушкин» (1896). Нам думается, значимой причиной выбора Меньшикова становится общая критическая направленность работы Мережковского против идеалов революционно-демократической критики, либерального народничества и анархического учения Л. Н. Толстого [Мережковский: 5–6]. А утверждению и защите идеалов великого Льва критик, будучи отчасти его последователем¹, в 1890-е гг. посвятил несколько статей: «Тринадцатый том сочинений графа Л. Н. Толстого» (1891), «Великое детство. По поводу 40-летия литературной деятельности гр. Л. Н. Толстого» (1892), «Работа совести. (По поводу статьи “Неделание” гр. Л. Н. Толстого)» (1893) и «Сбились с дороги (По поводу рассказа “Хозяин и работник” Л. Н. Толстого)» (1895).

Приступая к осмыслению работы Мережковского, Меньшиков отметил особенности творческой оптики критика-декадента: при большой одаренности «язвой его таланта» являлось «отсутствие чувства меры» и гиперболизация новых веяний искусства [Меньшиков 1902: 139]. Кроме этого, у Мережковского слабое «нравственное зрение», поэтому он «не замечает иногда безобразия чисто нравственного, до которого договаривается в своих писаниях» [Меньшиков 1902: 140].

Меньшиков не стал анализировать всю работу «поэта-нищеванца и символиста» [Меньшиков 1902: 140], ограничив свою задачу осмыслением одного из главных мотивов статьи, названного Мережковским «полубог (читай — А. С. Пушкин. — Н. К.) и укрощенная им стихия» [Меньшиков 1902: 140].

Значимая черта мировидения Мережковского, по мнению критика, — уничижительное отношение к христианству и превознесение языческого культа: «...слово “Талилеянин” употребляется им (Мережковским. — Н. К.) как презрительное — в противоположность “Эллину”» [Меньшиков 1902: 141]. При этом эллинизм понимался как «торжество силы и сладострастия, как культ человеческого обожествления, при котором будто бы нет добра и зла, а одна ничем не омраченная радость плоти» [Меньшиков 1902: 141]. Меньшиков отмечал, что

(А. Д. Синявского), «труды» признанного Минюстом РФ иноагентом Д. Л. Быкова и проч.).

¹ См. об этом работы Д. В. Жаворонкова [Жаворонков], Н. И. Крижановского [Крижановский], А. С. Орлова [Орлов], В. Д. Трофимовой [Трофимова] и др.

Мережковский — фанатик язычества, заменивший во многом невинное языческое поклонение красоте и силе плоти на страстную защиту грехов в язычестве: «...под видом красоты он воспекает сладострастие, а под видом силы — грубую жестокость» [Меньшиков 1902: 142]. Декадент-ницшеанец приписывал Пушкину «свои думы и проповеди», «свое язычество, свой культ насилия и сладострастия» и утверждал, «будто Пушкин ненавидел и презирал народ, будто он воспевал тех тиранов, которые не задумывались проливать кровь народную, как воду» [Меньшиков 1902: 142]. Критик констатировал: Мережковский на основании пушкинского стихотворения «Чернь» доказывал, что А. С. Пушкин — ненавистник демократии, «враг черни» и «рыцарь вечного духовного аристократизма» [Меньшиков 1902: 143], а его «величайшая заслуга» в противостоянии народу [Меньшиков 1902: 144].

Опровергая эту мысль, Меньшиков обращался к творческой биографии А. С. Пушкина и формулировке Ф. М. Достоевского о «всемирной отзывчивости» поэта, который «вмещал в себе все человеческое» [Меньшиков 1902: 144] и откликался, как эхо, на самые разные явления жизни, равно вмещающая в себе противоположные начала: «Пушкин был и истинный христианин, и грубый язычник, и народолюбец, и противник народа, и человек целомудренный, и цинический грешник» [Меньшиков 1902: 144]¹.

Значительная часть статьи «Клевета обожания» посвящена опровержению выраженного Мережковским понимания пушкинского стихотворения «Чернь». Критик обозначил три основные трактовки этого произведения. Первая — мнение С. П. Шевырева из его воспоминаний о Пушкине: стихотворение написано под влиянием философии Шеллинга, в которой провозглашалось «освобождение искусства, равноправность красоты истине и добру» [Меньшиков 1902: 145]. Вто-

¹ Спустя двенадцать лет, в 1911 г., в полемике с А. А. Столыпиным Меньшиков выразил иной подход к пониманию творчества гениального поэта: указал на эволюцию его идеалов и обозначил разницу между юношеским вольнолюбивым отрицанием крепостного «рабства» в стихотворении «Деревня» [Меньшиков 2002: 206] и зрелым, осмысленным пониманием Пушкиным жизни русского крепостного крестьянина и его преимуществ над его европейскими собратьями («...ничуть не был похож на раба, а был совсем похож на свободного человека» [Меньшиков 2002: 206]).

рая — автор «подражал в нем сатирам Шенье» [Меньшиков 1902: 145]. Третья, которую Меньшиков назвал более близкой к истине, — в стихотворении «Пушкин дал отповедь той великосветской черни, которая обвиняла его в безнравственности и лицемерно требовала, чтобы он морализировал в стихах» [Меньшиков 1902: 145].

Развивая именно третью трактовку, критик привел свои аргументы. Один из самых значимых был взят из опубликованных в 1893 г. в апрельском номере журнала «Русское обозрение» воспоминаний Шевырева: «У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельные. На одном из них пристали к Пушкину с просьбою, чтобы прочесть. В досаде он прочел “Поэт и Чернь” и, кончив, с сердцем сказал: “В другой раз не станут просить”» [Меньшиков 1902: 145]. Другим важным аргументом стала, по мнению публициста, перемена Пушкиным незадолго до смерти названия произведения с «Черни» на «Поэт и толпа», что позволило критику утверждать: «Толпа, окружавшая поэта, была не народная, — и отнюдь не простонародная. <...> Примеры “хладного и надменного” отношения к поэту Пушкин видел не среди народа, а в светской толпе...» [Меньшиков 1902: 145]. По мнению Меньшикова, доказательство того, что толпа в стихотворении не имеет отношения к народным массам, содержится и в эпиграфе из Горация, где использовано латинское слово «*profani*», а «профаны и *народ* (здесь и далее курсив автора. — Н. К.) — не одно и то же», поскольку профаны не просто невежды, а «надменные невежды, и такие и встречаются чаще в светском кругу, нежели среди народа» [Меньшиков 1902: 146].

Размышляя о «Черни», Меньшиков сформулировал ключевое возращение Мережковскому: если бы в образе Поэта Пушкин выразил «свою поэтическую веру, свое отношение к народу, то этим были бы вычеркнуты другие исповедания веры, написанные им заведомо как характеристика своего призвания» [Меньшиков 1902: 146]. Критик имел в виду прежде всего стихотворение 1836 г. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», которое не мог написать «ненавистник черни» как простого народа [Меньшиков 1902: 146]. Меньшиков считал, что в стихотворении «Чернь» Поэтом, в чертах которого Мережковский усмотрел «аристократа (по воспитанию) и эпикурейца», «мог быть стихотворец двора Августа, окруженный чернью эпохи упадка, чернью развратной и кровожадной и вовсе не кающейся» [Меньшиков

1902: 148], но не Пушкин. Таким образом, мы видим, что в статье «Клевета обожания» еще до статей Вл. С. Соловьева («Значение поэзии в стихотворениях Пушкина») и А. А. Блока («О назначении поэта») М. О. Меньшиковым впервые в русской критике была обозначена идейная близость образа черни к античной образованной толпе и ее дистанцированность от народа, а также указано существенное различие между образом Поэта и поэтическим идеалом А. С. Пушкина.

Думается, есть основание полагать, что статья Вл. С. Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»¹ — это развернутый ответ на вопросы, поставленные Меньшиковым: «...что такое истинная поэзия? Возможна ли поэзия, отрешенная от всякого содержания — религиозного, нравственного и умственного? Не есть ли наоборот, поэзия — именно какое угодно содержание, лишь бы оно было вдохновенно понято?» [Меньшиков 1902: 151]. Толкование Вл. С. Соловьевым образов толпы и Поэта из стихотворения «Чернь» во многом повторяет размышления Меньшикова. Философ и публицист отмечал, что толпа в стихотворении «вовсе не имеет, да и не может иметь, словесных или вообще социальных признаков. Это есть не общественная, а умственная, нравственная чернь, — люди формально образованные и потому могущие вкривь и вкось судить о поэзии, но по внутренним причинам не способные ценить ее истинного значения, требующие от нее рабской службы практическим целям»; «...пушкинская чернь могла набираться только из людей высшего и среднего общества» [Соловьев: 265–266]. Пушкин же, по мнению Соловьева, не мог иметь такого «беспредельного безвкусыя» и «беспредельного слабоумия», чтобы «бранить “поденщиками” действительных (курсив Вл. С. Соловьева — Н. К.) поденщиков» [Соловьев: 267]. Однако Соловьев не воспринял мысль Меньшикова о том, что Поэт в «Черни» не равен Пушкину, а понимание этого ключевого образа стихотворения поставил в зависимость от личных пристрастий толкователей-критиков. Намекая на толстовство и незлобие Меньшикова, Соловьев указал, что ему (Меньшикову) «гнусно-лицемерные слова “черни” странным образом показались “благородными”», а ответ Поэта «крайне грубым и злобным»

¹ Впервые эта статья была опубликована в декабрьском номере журнала «Вестник Европы» в 1899 г., то есть через два месяца после выхода статьи М. О. Меньшикова «Клевета обожания».

[Соловьев: 268]. Другие же критики, продолжал Соловьев, напротив, видели ответ Поэта «благородным и правдивым», понимали правду не как незлобие, а «как истинное единство любви и гнева» [Соловьев: 268]. Такое «мутное» объяснение мало что давало для прояснения смысла трактуемого произведения.

Однако Меньшиков в своей статье порой удивительным образом преодолевает собственное толстовство, доходя до сущностного в поэзии русского гения: «Пушкин понимал поэзию как стоголосое эхо, дающее отзвук сердца на все явления бытия, он едва ли согласился бы без тяжкого над ним насилия, откликаться только на самое низкое, что остается в природе вне религии, философии и морали» [Меньшиков 1902: 151]. То есть поэзия Пушкина понимается критиком как лирический отклик, не мыслимый без соотнесения с идеалами «религии, философии и морали». Итоги размышлений Соловьева в статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» несколько иные: «...все значение поэзии — в безусловно независимом от внешних целей и намерений, самозаконном вдохновении, создающем то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе» [Соловьев: 273]. Для философа-критика независимое «самозаконное вдохновение» созидает прекрасное и «нравственно доброе». Такое понимание сущности поэтического начала Пушкина далеко от неоднократно и по-разному прозвучавшей в его творчестве формулы, нашедшей наиболее ясное воплощение в строке «Веленью Божию, о муза, будь послушна...» [Пушкин 2: 386].

В 2005 г. В. М. Есипов в статье «Поэт, чернь, автор», анализируя пушкинское стихотворение «Поэт и толпа», привлек широкий литературно-критический контекст: работы В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, Вл. С. Соловьева, А. А. Блока, Вяч. И. Иванова, В. Э. Вацура, М. Вайскопфа, Б. М. Сарнова. Но при этом ученый не упомянул ни статью Мережковского, ни ответ на нее — работу Меньшикова. Повторяя мысль Меньшикова, В. М. Есипов отмечает: «Для поэта в стихотворении “Поэт и толпа” и пробуждение “чувств добрых”, и равнодушное отношение к суждениям непосвященных совершенно невозможны» [Есипов: 330]. Исследователь приходит к выводу: образ Поэта не равен Пушкину, поскольку «это способ пушкинских раздумий 1828 года о судьбе поэта вообще, это один из возможных вариантов поэтического самовоплощения» [Есипов: 331]. А чернь — «это сограждане Поэта,

собравшиеся на площади древнегреческого города послушать его стихи и высказать ему свое мнение о них», «за пределами текста стихотворения с нею может ассоциироваться вообще публика: это и мы с Вами, уважаемый читатель, и Соловьев с Блоком, и Белинский с Гоголем, и Лермонтов в стихотворении “Поэт”, и просвещенные посетители салона Зинаиды Волконской» [Есипов: 330].

Близко к меньшиковскому пониманию «Поэта и толпы» и мнение авторитетного пушкиниста В. С. Непомнящего: «толпа», «чернь» — «понятие не словное, а социально-нравственное» [Непомнящий 1: 63]; стихотворение написано «в наименее свойственной именно Пушкину интонации — гнева, ненависти, отвержения, отталкивания, личной ярости» [Непомнящий 4: 187–188].

О правоте Меньшикова, на наш взгляд, свидетельствует и дальнейшее пушкинское лирическое развитие темы «поэт и чернь». Она тревожит русского гения в 1830-е гг. и получает ясное художественное воплощение в стихотворении «Он между нами жил...» (1834). Пушкин никогда не был поэтом подлой, безнравственной черни, но таковым, по его мнению, стал его литературный собрат Адам Мицкевич, с которым поэт некогда делился «чистыми мечтами / И песнями» [Пушкин 2: 316]. В произведении показано, как ранее не испытывавший неприязни к русским братьям-поэтам изгнанник Мицкевич («...злобы / В душе своей к нам не питал, и мы / Его любили. Мирный, благосклонный / Он посещал беседы наши» [Пушкин 2: 316]), после переезда на Запад растерял высшие идеалы и настолько утратил человечность, что превратился в яркого певца злобной и буйной черни, которого легко сопоставить с князем из пушкинского «Анчара»:

Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной
Он напояет [Пушкин 2: 316].

О таком подчиненном черни и ее буйству поэте Пушкин может лишь молиться:

Боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром
И возврати ему... [Пушкин 2: 316].

Лирический герой в этом произведении как носитель русского народного и христианского духа прощает павшего друга и молится о нем. Такой финал стихотворения заставляет переосмыслить одну из ключевых фраз пушкинского творчества: «...И милость к падшим призывал» [Пушкин 2: 385]. То есть поэт призывал Бога проявить милость к тем, кто согрешил, «пал», а эпитет «падший» в зрелом творчестве Пушкина употребляется именно в значении «грешный» (см. «Отцы пустынники и жены непорочны...» [Пушкин 2: 382]). Кроме этого, мы еще раз убеждаемся в истинности мысли Меньшикова и других исследователей о том, что Пушкин не тождествен образу Поэта из «Черни».

«Клевету обожания» Меньшиков обнаруживал в стремлении Мережковского с помощью искаженной трактовки стихотворения Пушкина о Поэте и черни исключить нравственные и религиозные идеалы из области искусства [Меньшиков 1902: 149–150], в утверждении божественной природы жестокости и сладострастия, проявленных тремя поклонниками Клеопатры в «Египетских ночах» [Меньшиков 1902: 154]; в возвеличивании образа Петра I, героя поэмы «Медный всадник», где, как видел Мережковский, показана естественная «гибель слабых людей от произвола сильных» [Меньшиков 1902: 155]. Критик подчеркивал, что Мережковский не может не осознавать своего похода «против преданий если не всемирной, то всей русской литературы» [Меньшиков 1902: 156], и в подтверждение приводил цитату оппонента: «Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гигантского всадника, который над бездной “Россию вздернул на дыбы”» [Меньшиков 1902: 157].

Особый интерес для нас представляет осмысление в статье «Клевета обожания» образа Петра I в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Меньшиков оспаривал клевету Мережковского на этого персонажа, выставленного «каким-то Атиллой¹ или Тамерланом, шествующим “по костям” бесчисленных “малых”» [Меньшиков 1902: 158], каким-то

¹ Так напечатано в статье Меньшикова. — Н. К.

гневным богом, своим волеизъявлением, уничтожавшим «безумцев, дерзнувших поднять на него ропот» [Меньшиков 1902: 158].

Обратившись к реальной личности Петра, его поступкам, Меньшиков опроверг это «преувеличение, искажающее истинный образ Петра» [Меньшиков 1902: 158], и убедительно продемонстрировал, что царь в реальности, хоть и был человеком грозным, вероятно, во время наводнения 1824 г. «первый бросился бы спасти людей» [Меньшиков 1902: 158]. В этом случае, размышлял критик, «бедному Евгению... пришлось бы увидеть Петра... не в позе медного идола, а в виде хоть и могучего, но крайне участливого и простого человека» [Меньшиков 1902: 158]. По мнению Меньшикова, образ Петра в «Медном всаднике» «идолизирован» и гиперболизирован, но поэт «не дошел до того, чтобы воспеть именно жестокость Петра, как это доделал за него Мережковский» [Меньшиков 1902: 158–159].

Критик попутно проявил свое понимание личности Великого преобразователя России, особо отметив, что в «Медном всаднике» Пушкин «не говорит прямо об ошибке Петра» [Меньшиков 1902: 159], связанной с устройением центра русской жизни на неудобном и дальнем берегу Финского залива. Выбор места для новой столицы Меньшиков объяснял «рабским преклонением царя перед тогдашней границей» и вслед за Карамзиным называл «блестящею ошибкою» [Меньшиков 1902: 159], поскольку Петр не знал о ряде природных неудобств дельты Невы.

Прием сопоставления прекрасной картины Петербурга начала поэмы и щемящего сердце конца («...нашли безумца моего...») позволил Меньшикову-критику найти еще одно опровержение мысли Мережковского о «героической» нищепанской жестокости «Медного всадника»: «Пушкин мог бы возбудить в читателе презрение к своему городу, но возбуждает глубокую жалость, — ясно, что он ее сам разделял» [Меньшиков 1902: 160]. А «навязывать Пушкину... тупую жестокость — поистине клевета» [Меньшиков 1902: 160].

Меньшиков, основываясь на знании биографии А. С. Пушкина, проговаривал в статье точные его характеристики и одновременно оспаривал мнение Мережковского о русском гении: «Наводнение петербургское его (А. С. Пушкина. — Н. К.) страшно встревожило, и он в письме к друзьям просил оказать помощь пострадавшим из его “Онегинских денег”. Пушкин терпеть не мог ходулей и к страданию челове-

ческому относился просто, как и все простые люди — с состраданием» [Меньшиков 1902: 160–161]. Такое понимание личности создателя «Евгения Онегина» позволило критику утверждать, что Мережковский приписывал Пушкину «глупое презрение к человеку бедному», и, говоря о столкновении мировых начал в лице маленького чиновника и «сверхчеловеческого демона», навязывал свою «хитрость чистосердечному гению Пушкина» [Меньшиков 1902: 161]. Почти через сорок лет после выхода статьи «Клевета обожания» И. А. Ильин в работе «Пушкин в жизни. 1799–1837» выскажет о поэте мысли, глубоко созвучные меньшиковским и развивающие их: «...ему была свойственна удивительная простота..., незаметно переходящая в деликатность сердца» [Ильин: 76]; «Он вообще имел склонность скрывать свои чувства и как бы стыдился их. Был щедр, но не хотел, чтобы об этом говорили. <...> Натура, в глубоком смысле слова искренняя, прозрачная, доверчивая и чистосердечная...» [Ильин: 80].

Ницшеанская переоценка Мережковским «вечных ценностей человеческого духа», связанная с восстанием против христианства [Меньшиков 1902: 161] и с потерей им «нравственного чувства», заставляла видеть практически в каждом явлении, о котором он писал, «преувеличенные, карикатурные черты» [Меньшиков 1902: 162]. Это, например, касалось такого явления человеческой жизни, как героизм. Меньшиков отмечал, что если традиционный герой — это «носитель долга, защитник справедливости, поборник правды» (а у Пушкина он еще и человек нравственного подвига и чуткого сердца), то герой Мережковского — это «воплощение права без тени каких-нибудь обязанностей», а «человечество приглашается своими костями выстилать путь ему» [Меньшиков 1902: 162], быть жертвой и стадом гусей для хищника-орла. Меньшиков удачно сыронизировал над пониманием героя и героизма в труде Мережковского, проведя яркую образную параллель: «...прочитав г. Мережковского можно подумать, что он сам близок к тому, чтобы почувствовать себя хищной птицей, и, может быть, в качестве таковой и налетел на стадо гусей — Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Льва Толстого...» [Меньшиков 1902: 163]. Эта фраза в контексте отечественной культуры XX – XXI вв. стала пророческой: и декаденты, и пришедшие вслед за ними модернисты, и многие представители соцреализма, авангардизма, постмодернизма и т. п. стремились к отмене отечественной классики, ее ценностного национально

русского начала, запечатленного в произведениях искусства. Они же проповедовали эгоцентризм, вседозволенность, анархию, подчинение человека страстям, социальную ненависть, классовую исключительность, русофобию.

В другой раз ироничное сравнение с нападением хищной птицы на неспособных дать отпор пернатых Меньшиков использует примерно через год после выхода «Клеветы обожания» в работе «Красивый цинизм» (1900), посвященной другому поклоннику Ницше — Максиму Горькому, воспевавшему «безумство храбрых» в «Песне о Соколе»: «...в чем храбрость безумного сокола? Как известно соколы нападают на не Бог весть каких врагов — всего лишь на диких уток, гусей, куропаток и т. п. По аллегории г. Горького выходит, что утки и куропатки тиранят соколов и тем приходится отстаивать свою свободу и “жажду к свету”» [Меньшиков 1902: 25].

По логике Мережковского, героями являются только те, кто смог проявить «жестокое насилие», и к таковым относятся Тамерланы и Наполеоны. По мнению Меньшикова, «истинные герои шествовали не по костям народов, а умирали на крестах, на кострах или с чашею яда в руке...» [Меньшиков 1902: 163–164]. И бытие настоящих героев не «изнуряет человечество» огромным количеством жертв, а оставляет после себя «мысль, которая и продолжала героическое служение человечеству, и эта мысль была не за насилие, а против него» [Меньшиков 1902: 164]. Без труда можно обнаружить, что последнее утверждение Меньшикова близко концепции непротivления злу силою Л. Н. Толстого, которую публицист исповедовал в жизни¹ и защищал в статьях о Л. Н. Толстом в 1890-е гг. Однако меньшиковское понимание героизма не соотносится с пушкинским, поскольку герои Пушкина не являются непротivленцами. Прибегая при необходимости к насилию, они последовательно и активно борются со злом, стремясь к полной победе над ним. Достаточно вспомнить образ Петра I в «Полтаве» и Петра Гринева в «Капитанской дочке». То есть, отвергая ницшеанский героизм Мережковско-

¹ Яркое свидетельство этому — случай в редакции «Недели», когда разгневанный публикацией газеты и требовавший опровержения Н. Н. Жеденов выстрелил в исполнявшего обязанности редактора М. О. Меньшикова [см.: М. О. Меньшиков: pro et contra: 322–419].

го, Меньшиков провозглашал непротивленческий героизм толстовства, не замечая того, что сам удалялся от пушкинского понимания этого явления.

Критик также обратил внимание на ущербное понимание Мережковским психологии героев. Утверждение последнего о «презрении к черни» [Меньшиков 1902: 164] таких «сомнительных» героев, как Наполеон I и Робеспьер, Меньшиков отверг, поскольку эти исторические персонажи «добивались добровольного признания толпы... не жестокостью и криками “Подите прочь! Какое дело” и пр., не презрением к толпе, а напротив, — лестью и преклонением перед ней» [Меньшиков 1902: 165]. То есть Наполеоны приспособлялись к требованиям толпы, но «истинные герои», среди которых названы в первую очередь пророки и мудрецы, «не прибегали к такому подлаживанию к своей среде — и конец их был иной...» [Меньшиков 1902: 165].

В финале статьи Меньшикова опровержение мысли Мережковского о пушкинском презрении к «демократическому равенству» и народу [Меньшиков 1902: 165] соединилось с утверждением тезиса, что Пушкин — сторонник демократии, что он всегда был близок народу, «учился у него языку и поэзии», был дворянином, но презирал «светскую чернь», как бы предчувствуя, что она «пожрет его» [Меньшиков 1902: 166]. То есть, как мы видим, демократия и внимание к народной жизни для Меньшикова — тождественные явления.

При анализе темы «Пушкин и демократия» Мережковский противопоставил высокий ницшеанский «аристократизм духа» принципу «большинства в европейском обществе», опирающемуся на «подсчет голосов» [Меньшиков 1902: 166]. Меньшиков, со своей стороны, воспринимал демократическое начало, то есть парламентаризм и принцип большинства в управлении обществом, в качестве высочайшего достижения человечества. По его мнению, «этот принцип в управлении некоторых стран (как напр. Англия) в течение столетий не повел к особенно дурным результатам, не низвел эти страны на низшую ступень просвещения, богатства, творчества в науках и т. п.», кроме этого, принцип «применяется лишь в исключительной области, в сфере материальных прав», не затрагивая «вопросов искусства, науки, техники, религии, поэзии» [Меньшиков 1902: 166]. Политическая наивность этого утверждения в его первой части очевидна на фоне исторических примеров К. П. Победоносцева, показавшего в известной статье

слабости принципа парламентаризма [Победоносцев: 30–32]. Вторая часть меньшиковского рассуждения (о неприменении парламента при решении вопросов наук, религий и искусств) в комментарии, на наш взгляд, не нуждается.

В утверждении идеи устройства общества с помощью «демократического большинства» и парламентаризма Меньшиков идеалистически соединял выдающихся людей («героев») и «толпу»: «Скромная чернь охотно предоставляет вырабатывать основания законов избранному меньшинству — государственным людям, академикам и т. п. <...> Парламент охотно предоставляет себя влиянию “героев”, — и если они есть среди депутатов, каждому дано право взойти на трибуну и увлечь силою своего знания и таланта всю “чернь”» [Меньшиков 1902: 167].

Публицист и критик, апеллируя к историческим примерам, провозглашал: «Отрицать “большинство” в политике значит отрицать самые основы современного общества... <...> ...Всюду господствует принцип большинства и счета голосов» [Меньшиков 1902: 168–169]. Об эклектичности позиции Меньшикова свидетельствует то, что от большинства политического он неожиданно перешел к большинству религиозному и национальному, совершенно не отличая большинство в избирательной системе, где задача у претендента на выборное место «завоевать» публику, перетянуть на свою сторону, убедив в своей привлекательности, от большинства национального, сложившегося в определенном месте за продолжительное время: «Отрицать большинство значит отрицать не только демократию, но и такие аристократические установления, как церковь, “общество верующих”, как нация, “общество единокровных”» [Меньшиков 1902: 171].

Защищая от Мережковского идеалы великого поэта и одновременно поклоняясь парламентской демократии, Меньшиков совершенно игнорировал пушкинское отношение к принципу «демократического большинства». В 1834 г. в заметке ««История поэзии» С. П. Шевырева» А. С. Пушкин писал: «...Франция, средоточие Европы... Народ властвует в ней отвратительною властью демокрации» [Пушкин 6: 213]. А характеризуя образ правления Соединенных Штатов, поэт и публицист отмечал, что там правит «большинство, нагло притесняющее общество». Кроме того, он увидел в американском демократическом обществе важные черты: «...со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие» [Пушкин 6: 148].

То есть в отношении к демократии как к форме правления Меньшиков сделал ту же ошибку, что и Мережковский — в статье о Пушкине: внешне забыл о главном — пушкинском воззрении на предмет — и стал проповедовать свои идеалы.

Тема понимания причин смерти А. С. Пушкина, особенно остро звучавшая во второй половине 1890-х гг. в русской литературной критике и публицистике, была затронута поэтом-символистом в статье «А. С. Пушкин». По мнению Мережковского, к губительной черте Пушкина-гения вели варварская «русская действительность» («борьба гения с варварским отечеством»; «ему некуда было дальше идти, некуда расти») и чернь, осмысленная как интеллигентное общество (а не просто народье) [Мережковский: 8]. Меньшиков же, напротив, называл аристократию виновной в гибели Пушкина: как Наполеона чернь «вознесла на высоту», а «аристократия низвергла» [Меньшиков 1902: 170], так и пушкинская слава распространилась «в средних кругах публики», но пал он «жертвою аристократических интриг: “демократия” в его гибели неповинна» [Меньшиков 1902: 170].

Стремясь отделить героический идеал Пушкина от близкого Мережковскому наполеоновского идеала, Меньшиков выделяет два типа героев: «ложные герои» (Наполеон, Аттила, Цезарь) и «истинные» («как герои христианства, Сократ, Сенека, Гусс»). Но судьбу и первых, и вторых всегда определяет и «губит не чернь, а современная аристократия» [Меньшиков 1902: 171]. Развивая свою мысль, публицист создал концепцию распространения великих идей, которые приносят в мир истинные герои: сначала народ стоит в стороне, а «когда мысль героя проникает в его толщу, то народ высылает пророку лучшую свою кровь, благороднейших поклонников, которые, подняв знамя его, растоптанное меньшинством, фарисеями и первосвященниками, возносят его на мировую высоту» [Меньшиков 1902: 171].

Нетрудно увидеть в этой концепции отсылку к истории христианства. Однако последующая часть меньшиковского нарратива четко проявляет его связь с антицерковными идеями толстовства: «Великое учение орошает и животворит сердце толпы, пока не сделается аристократическим, пока не попадает в заведывание замкнутой касты...» [Меньшиков 1902: 171]. И тогда оно мертвеет, поскольку великие учения гибнут «в храмах, воздвигнутых для их бережения» [Меньшиков 1902: 171]. Аристократы, присвоив «великое учение», «отгораживают

истину от толпы», способствуя тому, что истина мертвеет и превращается в ложь [Меньшиков 1902: 171]. Настоящее же понимание учения сохраняется только в сердцах «черни» или «в отдельных гонимых аристократией “сектах”», или в «народной массе» [Меньшиков 1902: 171]. У Л. Н. Толстого подобные мысли звучали в исповедальной статье «В чем моя вера?» (1884): «...церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили» [Толстой: 439]; «Все церкви — католическая, православная и протестантская — похожи на караульчиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел...» [Толстой: 441].

Таким образом, полемизируя с Мережковским о Пушкине, Меньшиков в работе «Клевета обожания» выступил как оригинальный критик и выдвинул несколько ключевых для понимания его позиции тезисов. Во-первых, он указал на проявившуюся в критике тенденцию навязывать великому художнику слова нечто искусственное либо незначительное, возводя это в заслугу юбиляра. Во-вторых, не умаляя таланта оппонента, справедливо выделил грубые ошибки понимания символистом и декадентом Мережковским личности и творчества великого русского поэта, а именно приписывание Пушкину язычества, жестокости, эгоизма, сладострастия, цинизма и ницшеанского понимания героизма, а также противопоставление поэта русским классикам XIX в. В-третьих, Меньшиков выразил никогда ранее не звучавшую в отечественной критике мысль о нетождественности образа поэта и личности Пушкина в стихотворении «Чернь» («Поэт и толпа»), предвосхитив появившиеся в XX–XXI вв. подобные утверждения. В-четвертых, отверг ницшеанскую трактовку Мережковским центральных образов поэмы «Медный всадник» и, возражая поклоннику героизма Наполеона и Тамерлана, сформулировал представление о демократии, аристократии, толпе, героизме, церкви, близкое к идеалам Л. Н. Толстого-публициста. В-пятых, отталкиваясь от произведений А. С. Пушкина, проявил неоднозначность образа Петра I в творчестве поэта и показал ошибочность осмысления Мережковским этого пушкинского героя в качестве «право имеющего» на насилие и жестокость. В-шестых, в лучших местах статьи «Клевета обожания» Меньшиков, преодолевая толстовство, выразил мысль о воплощении в творчестве Пушкина глубинного русского национального начала, проявившегося

в искреннем и сердечном отклике поэта на события жизни и в творческом принятии высшей воли.

Статья М. О. Меньшикова «Клевета обожания» в целом соответствовала его пониманию задач критики, сложившемуся в 1890-е гг.¹ и отразила противоречивый процесс становления как критика и публициста, обретавшего свой голос в эпоху идейных столкновений. С одной стороны, в этой работе Меньшиков — критик, развивавший мысли Вл. С. Соловьева, а также последователь-апологет учения Л. Н. Толстого и либерально-демократических общественных идеалов, с другой — искренний защитник русской классики, глубокий аналитик произведений А. С. Пушкина, оригинальный литератор-полемист.

Пройдет всего пять лет после публикации «Клеветы обожания», и Меньшиков, работавший в консервативном суворинском «Новом времени» с 1901 г., в статье «Родина и герои» (1904) будет размышлять о жертвенном героизме русских солдат в войне с Японией, о Родине-России, церкви и христианстве как национальный публицист. А позже — в статье «Пушкин и крепостное право» (1911) — назовет великого русского поэта аристократом духа и консерватором.

Список литературы

Источники

Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков: переписка, дневники, воспоминания, статьи / сост., статьи, подгот. текстов и примеч. А. С. Мелковой. М.: Русский путь, 2005. 480 с.

Ильин И. А. Собр. соч. М.: Русская книга, 1996. Т. 6. Кн. II. / сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. 672 с.

Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 2. СПб.: Т-во печатн. и издат. дела «Труд», 1902. 520 с.

Меньшиков М. О. О критике // Меньшиков М. О. Великорусская идея. М.: Ин-т русской цивилизации, 2012. Т. 2. С. 268–288.

Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М.: Изд-во журнала «Москва», 2002. 560 с.

Михаил Осипович Меньшиков: pro et contra. Личность и творчество публициста в оценках современников / под ред. Н. И. Крижановского, О. А. Дорофеевой. М.: Знание-М, 2020. 532 с.

¹ В статье «О критике» М. О. Меньшиков писал: «Пусть критик будет эстетик, филолог, историк, психолог, социолог, моралист...» [Меньшиков 2012: 271].

Мережковский Д. С. А. С. Пушкин // Перцов П. П. Философские течения русской поэзии: А. С. Пушкин. Е. А. Баратынский. А. В. Кольцов. М. Ю. Лермонтов. Н. П. Огарев. Ф. И. Тютчев. Гр. А. К. Толстой. А. А. Фет. Я. П. Полонский. А. Н. Майков. А. Н. Апухтин. Гр. А. А. Голенищев-Кутузов : Избранные стихотворения и крит. ст. С. А. Андреевского, Д. С. Мережковского, Б. В. Никольского и др. / сост. П. П. Перцов. СПб.: Тип. М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), 1896. С. 1–86.

Победоносцев К. П. Великая ложь демократии // Церковь и демократия. М.: Отчий дом, 1996. С. 5–33.

Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1974.

Соловьев В. С. Литературная критика / сост. и коммент. Н. И. Цымбаева, вступ. ст. Н. И. Цымбаева и В. И. Фатющенко. М.: Современник, 1990. 422 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. М.: Худож. лит., 1957. Т. 23: Произведения 1879–1884 гг. 584 с.

Исследования

Есинов В. М. Поэт, чернь, автор. // Вопросы литературы. 2005. № 2. С. 319–331.

Жаворонков Д. В. Писатель и его критик: письма М. О. Меньшикова Л. Н. Толстому 1890-х – начала 1900-х гг. // Филология: научные исследования. 2018. № 3. С. 75–89. <https://doi.org/10.7256/2454-0749.2018.3.26881>

Крижановский Н. И. Л. Н. Толстой в зеркале записных книжек М. О. Меньшикова. К пониманию забытой публикации // Творчество В. И. Лихоносова и актуальные проблемы развития языка, литературы, журналистики, истории. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский государственный ун-т, 2020. С. 66–73.

Непомнящий В. С. Собр. трудов: в 5 т. М.: Издательский центр МГИК, 2019. Т. 1. 468 с. Т. 5. 592 с.

Орлов А. С. Творчество Л. Н. Толстого в оценках М. О. Меньшикова раннего периода (фрагменты дневников) // История: факты и символы. 2023. № 1 (34). С. 140–150.

Трофимова В. Б. Влияние на М. О. Меньшикова — литературного критика философско-публицистических работ Л. Н. Толстого периода 1880-х–1890-х гг. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2017. № 1. С. 98–104.

Трофимова В. Б. Полемика М. О. Меньшикова с А. Л. Вольнским и Д. С. Мережковским о русской литературе XIX века и критике // Вестник МГОУ. Серия: Русская филология. 2014. № 5. С. 81–91.

References

- Esipov, V. M. “Poet, chern’ avtor” [“Poet, Mob, Author”]. *Voprosy literatury*, no. 2, 2005, pp. 319–331. (In Russ.)
- Zhavoronkov, D. V. “Pisatel’ i ego kritik: pis’ma M. O. Men’shikova L. N. Tolstomu 1890-kh – nachala 1900-kh gg.” [“The Writer and his Critic: Letters from M. O. Menshikov to L. N. Tolstoy in the 1890s and Early 1900s”]. *Filologiya: nauchnye issledovaniia*, no. 3, 2018, pp. 75–89. <https://doi.org/10.7256/2454-0749.2018.3.26881> (In Russ.)
- Krizhanovskii, N. I. “L. N. Tolstoi v zerkale zapisnykh knizhek M. O. Men’shikova. K ponimaniiu zabytoi publikatsii” [“L. N. Tolstoy in the Mirror of M. O. Menshikov’s Notebooks. Towards an Understanding of a Forgotten Publication”]. *Tvorchestvo V. I. Likhonosova i aktual’nye problemy razvitiia iazyka, literatury, zhurnalistiki, istorii. Materialy IV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsi [Creativity of V. I. Likhonosov and Current Problems of the Development of Language, Literature, Journalism, History. Proceedings of the 4th All-Russian Scientific and Practical Conference]*. Krasnodar, Kuban State University Publ., 2020, pp. 66–73. (In Russ.)
- Nepomniashchii, V. S. *Sobranie trudov: v 5 t. [Collected Works: in 5 vols.]*, vol. 1; vol. 5. Moscow, Izdatel’skii tsentr MGIK Publ., 2019. 468 p.; 592 p. (In Russ.)
- Orlov, A. S. “Tvorchestvo L. N. Tolstogo v otsenkakh M. O. Men’shikova rannego perioda (fragmenty dnevnikov)” [“The Work of L. N. Tolstoy in the Assessments of M. O. Menshikov of the Early Period (Fragments of Diaries)”. *Istoriia: fakty i simvoly*, no. 1 (34), 2023, pp. 140–150. (In Russ.)
- Trofimova, V. B. “Vliianie na M. O. Men’shikova — literaturnogo kritika filosofsko-publitsisticheskikh rabot L. N. Tolstogo perioda 1880-kh–1890-kh gg.” [“Influence on M. O. Menshikov, a Literary Critic of the Philosophical and Journalistic Works of L. N. Tolstoy of the 1880s–1890s”]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaia filologiya*, no. 1, 2017, pp. 98–104. (In Russ.)
- Trofimova, V. B. “Polemika M. O. Men’shikova s A. L. Volynskim i D. S. Merezkovskim o russkoi literature XIX veka i kritike” [“Polemics of M. O. Menshikov with A. L. Volynsky and D. S. Merezkovsky about Russian Literature of the 19th Century and Criticism”]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaia filologiya*, no. 5, 2014, pp. 81–91. (In Russ.)

© 2024. М. В. Скороходов

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук,
г. Москва, Россия

Символика вишневого сада: между коммерческим проектом, усадьбой и дачей

*Исследование выполнено в ИМЛИ РАН
за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00051,
<https://rscf.ru/project/22-18-00051/>*

Аннотация: Широкое распространение в различных регионах России и в разных локациях вишневых садов (помещичьи усадьбы, крестьянские наделы, постоялые дворы, кладбища, дачи советского времени и др.) нашло отражение в художественных произведениях русских писателей, а также в их дневниковых записях и эпистолярном наследии. В статье рассматриваются произведения А. К. Толстого, Л. А. Мея, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, С. А. Есенина, М. И. Цветаевой и других авторов, благодаря которым сформировалась символика вишневого сада. Поскольку выращивание саженцев и взрослых деревьев при умелом, но не очень обременительном уходе являлось коммерчески эффективным, вишневый сад символизировал благополучие и процветание. Урожай вишни позволял хозяевам продемонстрировать радушие — они угощали гостей разными кулинарными изделиями из ягод и наливками. Благодаря Чехову вишневый сад стал одним из символов русской усадьбы, а его гибель символизировала разрушение традиционного мироустройства. Вишневые сады также свидетельствовали об окультуривании ландшафта.

Ключевые слова: сад, вишневое дерево, Чехов, традиция, усадьба, дача, русская литература, поэзия, драматургия.

Информация об авторе: Максим Владимирович Скороходов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6390-5670>

E-mail: mks2002@rambler.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 10.05.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.06.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Скороходов М. В. Символика вишневого сада: между коммерческим проектом, усадьбой и дачей // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 196–215. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-196-215>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 196–215. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 196–215. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Maxim V. Skorokhodov

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

The Symbolism of the Cherry Orchard: Between a Commercial Project, a Manor and a Dachsa

Acknowledgments: This work was carried out at IWL RAS with financial support from the Russian Science Foundation, project no. 22-18-00051, <https://rscf.ru/project/22-18-00051/>

Abstract: The widespread of cherry orchards in different regions of Russia and various locations (landowners' estates, peasants' plots, inns, cemeteries, Soviet-era dachas, etc.) was reflected in the works of fiction by Russian writers, as well as in their diary entries and epistolary heritage. The article considers the works of Alexei K. Tolstoy, Lev Mey, Anton Chekhov, Ivan Bunin, Boris Zaitsev, Sergey Esenin, Marina Tsveytaeva, and other authors who formed the symbolism of the cherry orchard. Since the cultivation of seedlings and adult trees with skillful but not very burdensome care was commercially effective, the cherry orchard symbolized prosperity and prosperity. The cherry harvest allowed the owners to show their hospitality: they treated their guests to various culinary products made of berries and liqueurs. Thanks to Chekhov, the cherry orchard became one of the symbols of the traditional Russian estate, and its death symbolized the destruction of the conservative world order. Cherry orchards testified to the domestication of the landscape.

Keywords: garden, cherry tree, Chekhov, tradition, manor, dacha, Russian literature, poetry, drama.

Information about the author: Maxim V. Skorokhodov, PhD in Philology, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6390-5670>

E-mail: msk2002@rambler.ru

Received: May 10, 2024

Approved after reviewing: June 23, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Skorokhodov, M. V. "The Symbolism of the Cherry Orchard: Between a Commercial Project, a Manor and a Dachsa." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 196–215. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-196-215>

Вишневые сады по распространенности и значимости занимали в России почетное второе место после яблоневых, что нашло отражение в произведениях русских писателей, а также в популярных во второй половине XIX в. брошюрах с практическими советами по выращиванию вишневых садов [Трусов], [Веселовский (1871)], [Веселовский (1887)], [Наставление...] и по переработке полученного урожая. Из вишни, кроме варенья, изготавливали множество других блюд. С соответствующими рецептами знакомили поваренные книги, растолковывавшие, как сделать из вишневых ягод желе, кисель, сироп, ягодную и подслащенную наливки (в сравнении с прочими, как отмечалось, «особенно хороша подслащенная наливка вишневая» [Новикова: 168]) и даже вишни в уксусе. В фотографическом деле использовался вишневый клей (см.: [Симоненко]). Замечательный «напиток, сделанный из вишневого сока со льдом» и получивший необычное название — «шерри гоблёр», изготавливал в своей усадьбе Борок вблизи Тарусы известный русский художник В. Д. Поленов [Поленова: 249]. И таких примеров можно привести множество.

Вишневые сады росли в самых разных местах — везде, где человек заботился о благоустройстве окружающего пространства и произрастанию вишни способствовали погодные условия. К тому же разведение садов с последующей продажей ягод или произведенных из нее товаров сулило немалую выгоду. На продажу порой выращивали и саженцы вишни. И неизменно различные, но всегда необычайно вкусные кушанья, изготовленные с использованием вишни, свидетельствовали о гостеприимстве и радушии хозяев, угощавших гостей вишневыми пирогами, вареньем, наливками и прочими произведениями кулинарного искусства.

О широком распространении вишневых садов свидетельствуют описания, сделанные путешественниками. Например, предпринятое в середине XIX в. путешествие во Владимир, жители которого

«занимаются с успехом садоводством, особенно же разведением вишен. При каждом почти доме есть вишневый сад. Владимирские вишни известны по всей внутренней России как лучшие. Вишни отправляются преимущественно в Москву и нередко вывозятся туда в такой степени, что Владимирские горожане принуждены бывают за ними ездить нарочно в Москву, для обратной покупки их там» [Мельников: 13–14]. Еще одно подтверждение широкого распространения вишневых садов в разных губерниях Российской империи — творческое наследие писательницы Марко Вовчок (Марии Александровны Вилинской), происходившей из обедневшей дворянской семьи и имевшей опыт усадебной жизни (детство она провела в селе Екатерининское Елецкого уезда Орловской губернии). В повести «Маруся» Марко Вовчок писала: «...известно всякому, что где поселится украинец с украинкою, там сейчас же зацветет вишневый садик около белой хатки...» [Вовчок: 2].

Из художественных произведений известно, что для Российской империи были характерны не только чисто вишневые сады, но и сочетание в саду разных растений, что создавало в период их цветения яркую и необычную картину. Как, например, в рассказе В. И. Востокова «Троицын день»: «Особенно любо смотреть на одну хатку, приютившуюся на задах в толпе душистых тополей и березок, за которою белой полоской раскинулся цветущий вишневый садик, окаймленный по краям голубой сиренью» [Востоков: 36].

В русской литературе одним из первых к образу вишневого сада обратился А. К. Толстой в стихотворении 1858 г.:

Источник за вишневым садом,
Следы голых девичьих ног,
И тут же оттиснулся рядом
Гвоздями подбитый сапог.

Все тихо на месте их встречи,
Но чует ревниво мой ум
И шепот, и страстные речи,
И ведер расплесканных шум...
<1858> [Толстой: 214].

Произведение было положено на музыку [Кириакова], что сделало его достаточно известным. Детали — босоногая девушка, старающаяся скрытно добраться до места встречи, и ее более богатый кавалер в подбитых гвоздями сапогах — свидетельствуют о социальном неравенстве влюбленных, подробности их романтических отношений не раскрываются. У Толстого, как и в целом ряде других произведений XIX в., нет прямого соотнесения вишневого сада с усадебным топосом. Это, скорее, топос деревни. Как известно, многие владельцы усадеб, отправляясь в свои владения, говорили, что едут «в деревню». Достаточно вспомнить реплики героев комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова: Чацкого («Движенья более. В деревню, в теплый край. / Будь чаще на коне. Деревня летом рай» [Грибоедов: 75] и Фамусова («В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» [Грибоедов: 120]).

У Толстого окрестности вишневого сада, точнее источник за ним — место романтических встреч, подобное тому, которое возникает за калиткой (за воротами) усадьбы или даже на отдаленных от главного усадебного дома аллеях парка. Так, у А. А. Блока прощание героев происходит «в аллее дальней» (стихотворение «Прощались мы в аллее дальней...»; 24 июля 1899 г.) [Блок 4: 88], т. е. на границе усадебного мира.

«Вишневый садик» становится местом развития лирического сюжета в стихотворение Т. Г. Шевченко «Садок вишневый коло хати...» из цикла «В казематі», в переводе Л. А. Мея — «Вишневый садик возле хаты...» (1859):

Вишневый садик возле хаты;
Жуки над вишнями гудят;
Плуг с нивы пахари тащат;
И распеваячи девчаты
Домой на вечерю спешат.

Семья их ждет, и всё готово;
Звезда вечерняя встает,
И дочка ужин подает,
А мать сказала бы ей слово,
Да соловейко не дает [Мей: 571].

Здесь вишневый сад — яркая примета деревенской жизни. Хотя время года не названо, гудящие над вишнями жуки и усердно поющий соловейко позволяют однозначно его определить. Во второй половине XIX в. это стихотворение получило широкую известность благодаря П. И. Чайковскому, положившему его на музыку [Чайковский].

Поскольку речь зашла о музыкальных сочинениях, отметим и другие популярные произведения, в которых упоминаются вишневые деревья. Среди них «Ой казали враже люди...» со словами:

Ой казали враже люди,
Що я замуж не пийду.
Посияла василечки
По вишневому саду;
И Васильки мои
И Василь при мени... [Балтийский маяк: 241].

и «Ой пид вишнею, пид черешнею...», где приведен диалог девушки с дедом:

— Пусти мне старый диду на юлицу погуляти?
— Ой я й сам не пийду и тебе не пуцу:
Хочешь мне старинького, да покинути!
Ой не кидай мене, моя голубочка!
Куплю тебе хатку еще синожатку,
И станок и млинок и вишневий садок.
— Ой не хочу хатки и не синожатки,
Ни станка, ни млинка, ни вишневого садка.
Ой, ты старый дидуга, изогнувся, яки дуга,
А я молодешенка гуляти радешенька [Балтийский маяк: 255].

Вишневый сад выступает здесь как важная составляющая крестьянского хозяйства, которая ценится наряду с домом — «хаткой». Девушка не соглашается на щедрый подарок деда, предпочитая материальным благам свободу.

Значительное внимание вишневым садам уделял и А. П. Чехов, причем на протяжении всего своего творческого пути. Он упоминает «вишневый садик» уже в повести «Степь (история одной поездки)»

(1888): «Несколько в стороне от него <степного бурьяна. — М. С.> темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи» [Чехов. С. 7: 30]. Именно этот небольшой садик из вишен привлекает путешественников на постоялом дворе Мойсея Мойсеича. «Степь» — одно из первых крупных произведений писателя, который только пробует себя в жанре повести. «От непривычки писать длинно, из постоянного, привычного страха не написать лишнее я впадаю в крайность. Все страницы выходят у меня компактными, как бы пресованными; впечатления теснятся, громоздятся, выдавливают друг друга...» [Чехов. П. 2: 173], — делился Чехов мыслями о сложностях писательского труда в письме к Д. В. Григоровичу от 12 января 1888 г. Так что и описание крошечного садика предельно краткое, но оно создает запоминающуюся картину. Вишни придают уют и другому топосу — сельскому кладбищу. Оно «уютное, зеленое», «обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев». Этот «уютный» пейзаж вызывает у героя повести Егорушки воспоминания о незабываемом, дарящем особые ощущения периоде цветения вишен: в это время белые пятна крестов и памятников «мешаются с вишневыми цветами в белое море». В период же созревания плодов «белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками» [Чехов. С. 7: 14]. Автор показывает, что рукотворные могильные сооружения, воздвигнутые в память об умерших родственниках, украшаются то белыми цветами вишни, то красным соком ее ягод. Деревца становятся стражами предков, о чем мы узнаем уже в экспозиции повести: «За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна» [Чехов. С. 7: 14]. Мысли о бабушке, неоднократно возникавшие у мальчика, были связаны именно с этими деревьями: «Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями» [Чехов. С. 7: 66]. Как видим, вишневые деревья присутствуют в повести в двух топосах и неизменно оживляют их — на постоялом дворе и на кладбище. Другие, кроме вишни, плодовые деревья в «Степи» не упоминаются (только груши как созревшие плоды, которые продает с лотка старуха). Напомним, что вишневые де-

ревья не обязательно нуждаются в тщательном уходе — они продолжают не только расти, но и цвести и плодоносить даже на заброшенных участках, что мы видим, например, в повести И. С. Шмелева «Стена» (1910), в которой упоминается одичавшая вишня в саду.

Для Чехова весенний вишневый сад — это мелкие цветы, сливающиеся в белое венчалное платье невесты, как в рассказе «Попрыгунья» (1891): «Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчалном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами» [Чехов. С. 8: 8]. А период созревания вишни ассоциируется с ароматами вишневого варенья, как в рассказе «В родном углу» (1897), молодая героиня которого, Вера, отправляется в усадьбу к тете и деду. И там вдыхает характерные для летней усадебной жизни запахи: «В саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли, но все еще в воздухе держался этот приятный, сладковатый запах» [Чехов. С. 9: 321]. Отметим, что с этим кушаньем связана сохранившаяся в записной книжке первая запись Чехова, относящаяся к этому рассказу, над которым он работал в Ницце: «Варенье. Молодая, недавно вышедшая дама варит варенье» [Чехов. С. 17: 41]. В самом рассказе варенье варит не Вера, а ее тетя — Даша.

Вишни на кладбище в зимнее время описаны в рассказе «Старость» (1885), герой которого Узелков восклицает: «Хорошенькое у нас кладбище <...>. Совсем сад!» [Чехов. С. 4: 228]. Зимнее кладбище во многом благодаря вишневым деревьям уподобляется саду, по сути — вишневому саду. В рассказе «Воры» (1890) наличие вишневого сада — одно из свидетельств крепкого крестьянского хозяйства.

Чехов, поселившись в Мелихове, завел свой вишневый сад и много потрудился для этого. В письмах он сообщал своим корреспондентам: «Когда я в лесном участке (150 дес<ятин>) построю хутор, там будет у нас проточная вода. Я заведу там пчел, 2000 кур, вишневый сад и буду жить, как старец Серафим» [Чехов. П. 5: 60].

В пьесе Чехова 1903 г. слово *вишневый* используется не только в ее заглавии, но уже в первой ремарке, характеризующей место действия — «Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты» [Чехов. С. 13: 197]. Цветение вишневых деревьев становится одним из важнейших событий весны. Неслучайно они впервые упоминаются как цветущие,

несмотря на явно не благоприятствующую их цветению погоду (см. реплику Епиходова: «Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету...» [Чехов. С. 13: 198]).

В написанном в том же 1903 г. стихотворении И. А. Бунина «Над Окой» (сопоставление названных произведений Чехова и Бунина см. в статье А. П. Кузичевой [Кузичева: 141–142]), впервые опубликованном под этим заглавием в 1904 г. (в последующем — под заглавием «Запустение»), вишневый сад («вишенник») предстает как часть осеннего пейзажа и служит развитию центральных мотивов стихотворения — запустения, тоски, умирания серого дня и осеннего умирания природы:

Я уставал, кругом все лес пестрел,
Но вот на перевале, за ложиной,
Фруктовый сад листвою закраснел,
И глянул флигель серою руиной. <...>

В тиши звенел он <самовар> чистым серебром,
А я глядел на клены у балкона,
На вишенник, красневший под бутром...
Вдали синели тучки небосклона [Бунин: 119–120].

Цветение вишни — одно из наиболее заметных событий как в крестьянском земледельческом календаре, так и в восприятии обитателей усадеб. Душистое белое покрывало, накинутое на ветви деревьев, никого не могло оставить равнодушным. Нередко окна комнат выходили в вишневый сад, как в рассказе И. А. Бунина «В поле» (1895): «Одна половина дома, окнами на двор, состоит из девичьей, лакейской и кабинета среди них; другая, окнами в вишневый сад, — из гостиной и залы» [Бунин: 337].

Обильное цветение дерева — это не только улада для глаз (как, например, цветение сирени и жасмина), но и залог будущего обильного урожая. Именно благодаря возможности практического использования, а также в силу малой трудоемкости ухода вишневые деревья росли как в помещичьих усадьбах, так и на крестьянских наделах.

Вишневый сад становится одним из важных элементов сельской идиллии. Если у Толстого он связан с любовными мотивами, то для Мея более важной является природная составляющая — сад не только

вишневый, но и соловьиный (этот мотив найдет развитие у А. А. Блока — в его поэме «Соловьиный сад» (1915) (см. подробнее: [Скороходов]). В комедии Чехова 1903 г. вишневый сад становится символом погибающего ради создания дач усадебного мира (см. об этом [Виноградова]; а также: [Катаев], [Димитров]), однако вишневые сады — характерная примета дачной жизни, во многом заместившей собой усадебную жизнь, что нашло отражение в произведениях русской словесности.

Об уникальности вишневого сада, описанного в пьесе Чехова, и его значимости свидетельствуют реплики персонажей — Любви Андреевны: «Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад»; Лопухина: «Замечательного в этом саду только то, что он очень большой»; Гаева: «И в “Энциклопедическом словаре” упоминается про этот сад» [Чехов. С. 13: 205]. Интересными представляются исследования литературоведов, в которых делается попытка установить площадь имения Раневских, в частности, вишневого сада (см.: [Русакова]). П. Н. Долженков на основе анализа текста обоснованно полагает, что площадь вишневого сада составляла около 900 гектаров [Долженков: 33], исследователь приходит к выводу о том, что это «громчайший коммерческий сад, монотонный и однообразный. Он не имеет отношения к дворянскому саду как части дворянской культуры» [Долженков: 34]. Однако отметим, что экономическая рентабельность хозяйства (в том числе усадебных садов) не противоречит традиционной дворянской культуре, в основе которой, если говорить о жизни в усадьбе, гостеприимство (внимание к приезжающим гостям — соседям, родственникам и друзьям), совместное времяпрепровождение (чтение вслух и обсуждение прочитанного, музицирование, прогулки по парку и саду), обсуждение вопросов, связанных с текущей политической обстановкой, часто — чтение газет и другой корреспонденции и проч. Рентабельность усадебного хозяйства, которой особенно сложно было достичь после отмены крепостного права, способствовала сохранению усадьбы в собственности и ее процветанию. В противном случае усадьбы постепенно приходили в упадок, их приходилось закладывать в банк и продавать.

М. Ч. Ларионова и Н. Е. Тропкина справедливо отмечают, что «символическое значение образа сада в чеховской пьесе складывается

из нескольких мифологем: дерево, вишня, сад, цветение» [Ларионова, Тропкина: 78]. Символика пьесы, которая ставится в театрах многих стран мира, в иноязычной аудитории нередко значительно расширяется, вступая во взаимодействие с традициями тех или иных народов. Так, например, японский исследователь Сасаки Тэрухиро отмечает, что пьеса Чехова «обогащается у японцев фантастическим смыслом, означающим брэнность сего мира. <...> вишня символизирует собой также и почетную гибель на войне. Идеалом для наших воинов является смерть, сходная с красивым падением вишневых лепестков» [Сасаки: 543].

В статье мы не анализируем произведения современных писателей, обращающихся к *мотивам* «Вишневого сада» Чехова. Это связано как со спецификой задач, решаемых в данной работе, так и с наличием ряда исследований на эту тему. Так, роман А. Сиповского «Мой вишневый садик» подробно рассмотрен в статье Г. Г. Рамазановой и А. А. Файзрахмановой [Рамазанова, Файзрахманова]. Это же произведение, а также пьесу Л. Улицкой «Русское варенье» анализирует К. Д. Гордович [Гордович], последний из названных текстов — также А. Н. Ярko [Ярко]. Поэтические произведения, в которых можно проследить символику чеховской пьесы, охарактеризованы в работах А. С. Бокарева [Бокарев], Н. Е. Тропкиной и М. Ч. Ларионовой [Тропкина]; [Ларионова, Тропкина], А. Г. Бондарев обращается к рассмотрению в названном ракурсе творчества Т. Кибирова [Бондарев].

Про коммерческие сады Чехов писал, кроме «Вишневого сада», и в других произведениях. Один из наиболее показательных в этом отношении текстов — «Черный монах», создание которого связано с вероятным пребыванием писателя в усадьбе С. Н. Худекова Ерлино Рязанской губернии. Даже если Чехов и не смог побывать в гостях у владельца усадьбы, в том числе не присутствовал на свадьбе его сына с дочерью А. Н. Плещеева (сохранилось приглашение Чехова на эту торжественную церемонию, состоявшуюся в Ерлине), то он многократно встречался с Худековым — как автор «Петербургской газеты» с ее издателем. Супруга Худекова — Надежда Алексеевна — отмечала, что Чехов, приобретя Мелихово, всерьез заинтересовался садоводством и, беседуя с Худековым, «спрашивал и о прививках, и про окулировки», наблюдал «дым, стелющийся по питомнику от костров, которые разводили для предохранения растений от весенних морозов»; «Чехов, как

сам говорил потом, тогда же задумал своего “Черного монаха”, полного вдохновения и жуткой красоты» [Худекова].

В «Черном монахе» вишневые деревья упоминаются лишь единожды — «Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму...» [Чехов. С. 8: 228], хотя о садах, приносящих немалую прибыль, говорится неоднократно. Усадьба Худекова была высокорентабельным хозяйством. Ее владелец известен, в частности, тем, что в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже был награжден Золотой медалью за создание оригинального усадебного комплекса с прудами и парком-дендрарием, насыщенного малыми архитектурными формами. На этой выставке Россия была представлена, среди прочего, как страна, в которой с успехом культивировались вишневые сады. Департамент земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи представил на выставке коллекцию рисунков, характеризовавших «русский плодовый яблочный и вишневый сад с промежуточной культурой овощей» [Всемирная выставка: 190]. Общая площадь усадьбы Ерлино составляла 3300 десятин (3021 гектар), там имелся «питомник плодовых деревьев»: 164 сорта яблоней и груш, разных сортов сливы и вишни» [Краткие справочные сведения...: 201], саженцы в котором выращивались на продажу.

Чехов высаживал в своих садах вишневые деревья, поэтому прекрасно знал об особенностях их цветения, развития и о возможностях коммерческого использования. Он писал 7 июня 1892 г. из Мелихова В. О. Шехтелю: «Третьего дня заказал я 50 вишневых дерев и 100 кустов сирени. Хозяйство мое мне нравится <...> После дождя у нас стало добропорядочно. Много зелени, но больше всего вишен. Вишен тьма-тьмушая» [Чехов. П. 5: 74]. И почти три года спустя, 8 мая 1895 г., Н. А. Лейкину — о проблемах, связанных с сохранностью посаженных деревьев: «В саду и на огороде у нас кипит работа. Сажаем, сеем и брашим мышей, которые у нас испортили половину вишневых деревьев» [Чехов. П. 6: 60].

В рассказе Б. К. Зайцева «Притыкино» (1929) цветущие яблоневый и вишневый сады создают особую атмосферу знакомства с усадьбой, в которую рассказчик и его отец приезжают, намереваясь ее купить:

«Был полдень, только что прошел дождь, солнце блеснуло, наша тройка влетела в усадьбу, остановилась у флигелька. Между ним и домом яблоневый и вишневый сад залит белым цветением, густой нежный запах плывет оттуда, капли падают и блестят в пестром солнце» [Зайцев: 48]. «Большой дом», в который управляющий повел приехавших покупателей, создавал совсем иное впечатление — запустенья. Однако в дом врывается цветущий жасмин. И все это весеннее цветение и благоухание в конечном счете стало определяющим при принятии решения о покупке усадьбы: «...осталось в памяти майское Притыкино. Оно прельстило нас обоих сразу — нехитрое именище, но уютная усадьба с очень милым выражением лица» [Зайцев: 48]. К этой теме Зайцев обращался и раньше — текст рассказа «Притыкино» частично совпадает с текстом рассказа писателя «Земная печаль» (1915).

В том же году, когда Зайцев в эмиграции с ностальгией вспоминал об усадьбе Притыкино, Ю. К. Олеша написал рассказ «Вишневая косточка», давший название его сборнику 1931 г. Действие произведения начинается на даче в гостях у Наташи, которая угощала своих гостей вишней. Повествователь Федор оставил вишневую косточку во рту, а затем посадил ее, надеясь, что в невидимой стране как символ любви вырастет вишневое дерево. Однако эта невидимая страна не учитывает главное — План, который должен определять все процессы: герой с говорящим именем Авель рассказывает экскурсантам о том, что на месте того пустыря, на котором закопал косточку Федор, будет расположен полукругом новый корпус, а всю внутренность двора заполнит сад. Так косточка, сохраненная и посаженная в память о неразделенной любви, может стать частью сада. Олеша рассматривает в качестве символа семя вишни, судьба которого столь же непредсказуема, как и судьба любви.

Для писателей советского времени вишневые деревья являются не только символами, но и реальными растениями, требующими внимания. Так, друживший с Олешей К. Г. Паустовский, 20 мая 1943 г. сообщая из Солотчи С. М. Навашину о работе в саду, отмечал: «В саду, несмотря на то что мы спилили на дрова высохшие яблони (они заражают сад гусеницей), уже хорошо — распускается на беседке дикий виноград, отцветают вишни, цветет райское яблоко — все очень мшистое, старенькое и трогательное» [Паустовский 9: 229]. Светлые воспоминания о вишневом саде сближали писателей, вышедших из раз-

ных сословий. Так, С. А. Есенин в маленькой поэме «Письмо к сестре» (<1925>) с грустью зафиксировал огорчившую его в свое время гибель вишневых деревьев, интересовался их судьбой:

Ну как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани? <...>
Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад [Есенин 2: 156–157].

Много позже о своем деревенском детстве в Смоленской губернии вспоминал и другой выходец из крестьян — А. Т. Твардовский. В дневниковой записи от 17 октября 1961 г. он зафиксировал «слои воспоминаний», вызванных недавней поездкой на родину, — «на месте уже ничего не узнать, не найти, кроме единственной нашей сажалки <...> да вишневого застарелого куста на бывшем дворце, которого я не помнил» [Твардовский 1: 58]. О том же — в записи от 1 октября 1966 г., сделанной на даче в Красной Пахре: от хутора почти ничего не осталось, «только одна отметка — полузаросшая сажалка, — вишня, обгрызанная и обломанная на месте двора, — мне даже не помнится, м. б., посажена уже после меня» [Твардовский 1: 480]. Связанные с родиной воспоминания воплотятся в планы: «Мысли о рассказе. — Необычные черты послевоенного пейзажа Смоленщины — остатки одичавших садов в полях — на месте бывших хуторских и деревенских усадеб, — необычная пестрота тронутых осенью красок вишневой, кленовой листвы. Зачахнувшие, обгрызенные сиреньки» (запись от 23 декабря 1963 г. [Твардовский 1: 219]). Сходные воспоминания, только связанные с жизнью в Тарусе, оставила и М. И. Цветаева в рассказе «Кирилловны» [Цветаева].

Как видим, вишневые деревья, которые даже в небольшом количестве образовывали вишневый садик, на протяжении нескольких столетий вызвали личный и творческий интерес русских писателей. Это связано с ярким весенним цветением вишневых деревьев,

распространяемым ими ароматом и обилием сочных манящих плодов летом. В художественных текстах, дневниковых записях и письмах вишневым садам уделяется усиленное внимание, что в значительной степени объясняется их широкой распространенностью — вишневые деревья росли и в помещичьей усадьбе, и на крестьянских наделах, и на постоянных дворах, и на кладбищах, и на дачах советского времени. Поскольку вишневые деревья, которые не требовали больших усилий для выращивания, могли приносить немалую прибыль и обеспечивать владельцев различными кулинарными изделиями, наличие вишневого сада становилось символом благополучия и процветания. Вишневые сады свидетельствовали об окультуривании ландшафта, символизировали его освоенность. Благодаря произведениям отечественной словесности, прежде всего чеховскому «Вишневому саду», вишневые деревья и сады стали восприниматься как один из символов русской усадебной культуры и, соответственно, их гибель — как трагическое событие, свидетельствующее о разрушении традиционного мироустройства.

Список литературы

Источники

- Балтийский маяк: Всеобщий песенник... М.: Куприянов, 1877. 371 с.
- Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М.; СПб.: Наука, 1999. Т. 4: Стихотворения, не вошедшие в основное собрание (1897–1915) / отв. ред. А. М. Грачева, Н. В. Лощинская. 622 с.
- Бунин И. А. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Воскресенье, 2006. Т. 1: Стихотворения (1888–1911); Рассказы (1892–1901). 576 с.
- Веселовский К. А. О разведении вишневых садов: сост. по многолетней практике вязниковских садоводов. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1871. 20 с.
- Веселовский К. А. О разведении вишневых садов: сост. по многолетней практике вязниковских садоводов и 20-тилетней собственной. 2-е изд., значительно переделанное и дополненное рисунками. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1887. 35 с.
- Вовчок М. Маруся / пер. с малороссийского. СПб.: С. В. Звонарев, 1872. 132 с.
- Востоков В. И. Светлое и темное: рассказы из народного быта. 3-е изд. М.: А. Д. Ступин, 1900. 80 с.
- Всемирная выставка. Русский отдел (1900; Париж). Каталог Русского отдела на Всемирной Парижской выставке 1900 г. СПб., 1900. 485 с.
- Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: в 3 т. СПб.: Нотабене, 1995. Т. 1: Горе от ума / подгот. текста и коммент. А. Л. Гришунина; науч. ред. С. А. Фомичев; ред. Д. М. Климова. 345 с.
- Есенин С. А. Полн. собр. соч.: в 7 т. М.: Наука: Голос, 1995–2002.
- Зайцев Б. К. Отблески вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М. Любомудрова. СПб.: Росток, 2018. 736 с.
- Кириакова А. М. Два романа [«Уж ласточки, кружась»: Ор. 9; «За вишневым садом»: Ор. 8]: для голоса с фортепиано / слова А. Толстого. СПб.: М. Бернгард, 1886. 7 с.
- Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах. 2-е изд. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1900. Вып. 1. 476 с.
- Мей Л. А. Сочинения. СПб., 1863. Т. 3: Лирические стихотворения. 642 с.
- Мельников П. И. Описание городов путешествия Александра II в 1858 г. по России; Вып. 1–14. [Б. м.]: [Б. и.], 1858. 172 с.
- Наставление для правильного разведения и содержания вишневых садов по усовершенствованной методе владимирских садовников, считающейся лучшею перед многими донныне известными методами, с указанием разных современных способов. СПб.: Вольф, 1858. 117 с. (Карманная хозяйственная библиотека. Серия 3. Т. 3. Кн. 1).
- Новикова Е. Новая поваренная книга: Полнейшее руководство к изучению поваренного искусства: Подарок молодым хозяйкам... М.: Е. А. Губанов, 1893. 319 с.
- Паустовский К. Г. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1981–1986.
- Поленова О. Поленовские рисовальные вечера // Тарусские страницы. Лит.-худож. илл. сб. Калуга: Калужское кн. изд-во, 1961. С. 249–251.

Симоненко П. Ф. Промышленная фотография: Применение фотографии к графическому искусству. Необходимая настольная книга... М.: Тип. Н. Н. Булгакова, 1901. 452 с.

Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009.

Толстой А. К. Полное собрание стихотворений. Драммы, поэмы, повести, баллады, баллады, притчи, песни, очерки: 1855–1875. 2-е изд., доп. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1877. 552 с.

Трусов А. Я. Разведение вишневых садов... М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1897. 20 с.

Худекова Н. Мои воспоминания о Чехове // Петербургская газета. 1914. 2 июля. № 178.

Цветаева М. И. Кирилловны // Тарусские страницы. Лит.-худож. илл. сб. Калуга: Калужское кн. изд-во, 1961. С. 252–254.

Чайковский П. И. Вечер = Steh'n höhe Bäume um die Hütte [Ноты]: «Вишневый садик возле хаты...»: для меццо-сопрано [с сопровождением фортепиано]: ор. 27, № 4 / слова Мея. М.: П. Юргенсон, 1896. 5 с.

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Письма: в 12 т. М.: Наука, 1974–1983.

Исследования

Бокарев А. С. «Вишневый сад» А. П. Чехова в русской поэзии второй половины XX – начала XXI в. // Последняя пьеса Чехова в искусстве XX–XXI вв. М.: Гос. центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 172–178.

Бондарев А. Г. Мифологема «Вишневый сад» в поэзии Т. Кибирова // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 3. № 5. С. 49–53.

Виноградова Е. Ю. Гибель символа (вишневый сад: реальность и символика) // Новый филологический вестник. 2008. № 1 (6). С. 166–175.

Гордович К. Д. Обращение современных авторов к мотивам «Вишневого сада» // Чеховские чтения в Ялте. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. Вып. 23: Изучение чеховского наследия на рубеже веков: взгляд из XXI столетия: сб. науч. тр. / под ред. О. О. Пернацкой. С. 122–131.

Димитров Л. ВСЕ-ВЫШНЕВЫЙ САД // Чеховиана. «Звук лопнувшей струны»: к 100-летию пьесы «Вишневый сад». М.: Наука, 2005. С. 391–399.

Долженков П. Н. «Как приятно играть на мандолине!»: о комедии Чехова «Вишневый сад». М.: МАКС Пресс, 2008. 184 с.

Катаев В. Б. «Вишневый сад» как элемент национальной мифологии // Чеховиана. «Звук лопнувшей струны»: к 100-летию пьесы «Вишневый сад». М.: Наука, 2005. С. 9–18.

Кузичева А. П. Отзвук «лопнувшей струны» в поэзии «серебряного века» // Чеховиана. М.: Наука, 1996. Вып. 5: Чехов и «серебряный век». С. 138–149.

Ларионова М. Ч., Тропкина Н. Е. «Чеховская декорация»: «Вишневый сад» в русской поэзии XX – начала XXI века // Slavica Debrecen. 2020. Vol. 49. P. 75–82.

Рамазанова Г. Г., Файзрахманова А. А. «Мой вишневый садик» А. Славовско-го: современная трансформация чеховской драматургии // *Филологические науки. Вопросы теории и практики.* 2020. Т. 13. Вып. 5. С. 53–56. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.5.10>

Русакова Е. А. П. Чехов. «Вишневый сад» // *Литературная учеба.* 1986. № 5. С. 165–177.

Сасаки Т. Мак и вишня в «Вишневом саду» // *Чеховиана. «Звук лопнувшей струны»: к 100-летию пьесы «Вишнёвый сад».* М.: Наука, 2005. С. 543–553.

Скороходов М. В. Сад эдемский — усадебный — дачный в русской литературной традиции // *Вестник славянских культур.* 2023. № 69. С. 248–256. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2023-69-248-256>

Тропкина Н. Е. Художественная семантика дачного топоса в русской поэзии второй половины XX в. // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета.* 2012. № 4 (68). С. 128–132.

Ярко А. Н. Судьба вишневого сада в пьесе Л. Е. Улицкой «Русское варенье» // *Последняя пьеса Чехова в искусстве XX–XXI веков: Коллективная монография.* М.: Гос. центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 166–171.

References

Bokarev, A. S. “‘Vishnevyy sad’ A. P. Chekhova v russkoi poezii vtoroi poloviny XX – nachala XXI veka” [“‘The Cherry Orchard’ by A. P. Chekhov in Russian Poetry of the Second Half of 20th – Early 21st Century”]. *Posledniaia pësa Chekhova v iskusstve XX–XXI vekov* [Chekhov's Last Play in the Art of 20th–21st Centuries]. Moscow, A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum Publ., 2016, pp. 172–178. (In Russ.)

Bondarev, A. G. “Mifologema ‘Vishnevyy sad’ v poezii Timura Kibirova” [“Mythologeme ‘The Cherry Orchard’ in the Poetry of Timur Kibirov”]. *Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniia*, vol. 3, no. 5, 2017, pp. 49–53. (In Russ.)

Vinogradova, E. Iu. “Gibel’ simvola (vishnevyy sad: real’nost’ i simbolika)” [“The Death of the Symbol (Cherry Orchard: Reality and Symbolism)”]. *Novyi filologicheskii vestnik*, no. 1 (6), 2008, pp. 166–175. (In Russ.)

Gordovich, K. D. “Obrashchenie sovremennykh avtorov k motivam ‘Vishnevoogo sada.’” [“Appeal of Modern Authors to the Motifs of ‘The Cherry Orchard.’”] *Chekhovskie chteniia v Ialte* [Chekhov Readings in Yalta], issue 23: Izuchenie chekhovskogo naslediiia na rubezhe vekov: vzgliad iz XXI stoletiiia [Study of Chekhov's Heritage at the Turn of the Century: a View from the 21st Century], ed. by O. O. Pernatskaia. Simferopol, IT “ARIAL” Publ., 2019, pp. 122–131. (In Russ.)

Dimitrov, L. “VSE-VYSHNEVYI SAD” [“ALL-CHERRY ORCHARD”]. *Chekhoviana. “Zvuk lopnuvshei struny”: k 100-letiiu pësy “Vishnevyy sad”* [Chekhoviana. “The Sound of a Burst String”: To the 100th Anniversary of the Play ‘The Cherry Orchard’]. Moscow, Nauka Publ., 2005, pp. 391–399. (In Russ.)

Dolzhenkov, P. N. “Kak priiatno igrat’ na mandoline!”: o komedii Chekhova “Vishnevyy sad” [“How Pleasant it is to Play the Mandolin!”: On Chekhov's Comedy “The Cherry Orchard”]. Moscow, MAKS Press Publ., 2008. 184 p. (In Russ.)

Kataev, V. B. “Vishnevyy sad kak element natsional’noi mifologii” [“The Cherry Orchard as an Element of National Mythology”]. *Chekhoviana. “Zvuk lopnuvshei struny”: k 100-letiiu pësy “Vishnevyy sad”* [Chekhoviana. “The Sound of a Broken String”: To the 100th Anniversary of the Play ‘The Cherry Orchard’]. Moscow, Nauka Publ., 2005, pp. 9–18. (In Russ.)

Kuzicheva, A. P. “Otzvuk ‘lopnuvshei struny’ v poezii ‘serebriianogo veka.’” [“The Echo of the ‘Broken String’ in the Poetry of the ‘Silver Age.’”] *Chekhoviana* [Chekhoviana], issue 5: Chekhov i “serebriiani vek” [Chekhov and the “Silver Age”]. Moscow, Nauka Publ., 1996, pp. 138–149. (In Russ.)

Larionova, M. Ch., and N. E. Tropkina. “‘Chekhovskaia dekoratsiia’: ‘Vishnevyy sad’ v russkoi poezii XX – nachala XXI veka” [“‘Chekhov's Scenery’: ‘The Cherry Orchard’ in Russian Poetry of the 20th – Early 21st Century”]. *Slavica Debrecen*, vol. 49, 2020, pp. 75–82. (In Russ.)

Ramazanova, G. G., and A. A. Faizrakhmanova. “Moi vishnevyy sadik’ A. Slapovskogo: sovremennaia transformatsiia chekhovskoi dramaturgii” [“My Cherry Orchard’ by A. Slapovsky: Modern Transformation of Chekhov's Dramaturgy”]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, vol. 13, issue 5, 2020, pp. 53–56. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.5.10> (In Russ.)

Rusakova, E. “A. P. Chekhov. ‘Vishnevyy sad’.” [“A. P. Chekhov. ‘Cherry Orchard’.”] *Literaturnaia ucheba*, no. 5, 1986, pp. 165–177. (In Russ.)

Sasaki, T. “Mak i vishnia v ‘Vishnevom sade’.” [“Poppy and Cherry in ‘The Cherry Orchard’.”] *Chekhoviana*. “Zvuk lopnvshei struny”: k 100-letiiu pësy “Vishnevyy sad” [Chekhoviana. “The Sound of a Burst String”: To the 100th Anniversary of the Play “The Cherry Orchard”]. Moscow, Nauka Publ., 2005, pp. 543–553. (In Russ.)

Skorokhodov, M. V. “Sad edemskii — usadebnyi — dachnyi v russkoi literaturnoi traditsii” [Garden of Eden — Estate — Dacha in the Russian Literary Tradition]. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, no. 69, 2023, pp. 248–256. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2023-69-248-256> (In Russ.)

Tropkina, N. E. “Khudozhestvennaia semantika dachnogo toposa v russkoi poezii vtoroi poloviny XX veka” [“Artistic Semantics of the Dacha Topos in Russian Poetry of the Second Half of the 20th Century”]. *Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, no. 4 (68), 2012, pp. 128–132. (In Russ.)

Iarko, A. N. “Sud’ba vishneвого sada v pëse L. E. Ulitskoi ‘Russkoe varenë’.” [“The Fate of the Cherry Orchard in the Play ‘Russian Jam’ by L. E. Ulitskaya”]. *Posledniaia pësa Chekhova v iskusstve XX–XXI vekov* [Chekhov’s Last Play in the Art of 20th–21st Centuries]. Moscow, A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum Publ., 2016, pp. 166–171. (In Russ.)

© 2024. О. А. Крашенинникова

Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук
г. Москва, Россия

К творческой истории торжественных проповедей митрополита Стефана Яворского

Аннотация: Вопросы творческой истории гомилетического наследия митрополита Стефана Яворского до сих пор остаются неисследованными. Изучение уникальной рукописи первой четверти XVIII в. и сравнение ее с более поздними списками торжественных слов позволили сделать вывод о том, что автор предпринял серьезное содержательное, стилистическое и лексическое редактирование проповедей, вошедших в сборник. Сравнительный текстологический анализ прижизненного автографа и более поздних списков проповедей позволил предположить, что авторская правка первоначального чернового варианта могла проводиться митрополитом Стефаном в период с 1711 по 1718 гг., в ходе подготовки им для печати сборника наиболее значимых викториальных слов первого десятилетия XVIII в. После кончины Яворского Гавриил Бужинский собирал и копировал похвальные проповеди Яворского, что давало исследователям основания предположить, что он и был редактором и составителем этого сборника. Однако проведенный нами текстологический анализ списков с убедительностью доказал, что Бужинский не был редактором Яворского, но опирался на уже отредактированные автором варианты текстов проповедей.

Ключевые слова: митрополит Стефан Яворский, торжественные слова, проповеди, редактирование, авторский автограф, содержательная правка, стилистическая правка, лексическая правка.

Информация об авторе: Ольга Александровна Крашенинникова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1518-7923>

E-mail: krashenninnikova.61@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 08.05.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.06.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Крашенинникова О. А. К творческой истории торжественных проповедей митрополита Стефана Яворского // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 216–239. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-216-239>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 216–239. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 216–239. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Olga A. Krasheninnikova

A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

On the Creative History of the Solemn Sermons by Metropolitan Stefan Yavorsky

Abstract: Questions of the creative history of the homiletic heritage of Metropolitan Stefan Jaworski remain unexplored. The study of the unique manuscript of the first quarter of the 18th century and its comparison with later versions of solemn tales allowed us to conclude that the author undertook a significant content, stylistic, and lexical editing of the pieces. A comparative textual analysis of the lifetime autograph and later versions of sermons suggested that the author's revision of the original draft could have been carried out by Metropolitan Stephen in the period from 1711 to 1718, during his preparation for publication of a collection of the most significant victory tales of the first decade of the 18th century. After Yavorsky's death, Gabriel Buzhinsky collected and copied Yavorsky's laudatory sermons, which gave researchers reason to assume that he was the editor and compiler of this collection. However, our textual analysis of the versions convincingly proved that Buzhinsky was not the editor of Yavorsky's work but apparently relied on the versions of the sermon texts already edited by the author.

Keywords: Metropolitan Stefan Yavorsky, solemn tales, sermons, editing, author's autograph, content editing, stylistic editing, lexical editing.

Information about the author: Olga A. Krasheninnikova, PhD in Philology, Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1518-7923>

E-mail: krasheninnikova.61@mail.ru

Received: May 08, 2024

Approved after reviewing: June 23, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Krasheninnikova, O. A. "On the Creative History of the Solemn Sermons by Metropolitan Stefan Yavorsky." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 216–239. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-216-239>

В русском гомилетическом наследии XVIII в. практически отсутствуют текстовые варианты проповедей, среди которых можно различать ранние и поздние редакции слов и, следовательно, исследовать их творческую историю, процесс их создания и последующего редактирования. Счастливым исключением представляют торжественные проповеди митр. Стефана Яворского. Немногочисленные сохранившиеся списки их XVIII в. дают уникальную возможность проникнуть в творческую лабораторию выдающегося проповедника первых лет правления Петра I.

Цикл торжественных проповедей митр. Стефана, произнесенных им по случаю побед русской армии в Северной войне в первое десятилетие XVIII в., долгое время оставался неизвестен читателям и был практически забыт. Святитель Димитрий Ростовский, друг и коллега Яворского еще по Киевской коллегии, настойчиво побуждал его отдать свои проповеди в печать. В письме от 24 февраля 1708 г. он писал: «Мало кому потребныя вещи на свет происходят, а самые нужнейшие, <...> проповеди Преосвященства вашего, богомудрые и набожные, под спудом лежат <...>. Сожаления достойно, если труды Преосвященства вашего так залежатся. Хотя бы половину изряднейших выбрав на целогодишные праздники и воскресные дни, издал в печать Преосвященство ваше <...>. И Колесница Торжественная хотела было из печати на свет выехать, но Всадник не захотел, либо не успел ее вывезти, а мы ожидали, ожидали...» [Димитрий Ростовский: 96–98]. В письме святителя был намечен проект издания трех циклов проповедей митр. Стефана: проповедей на важнейшие праздники года, на воскресные дни и похвальных слов на военные победы («Колесничный» цикл). В письме свт. Димитрия содержится указание на то, что издание торжественных проповедей все-таки готовилось к печати митрополитом Стефаном («Колесница Торжественная хотела было из печати выехать...»), но при жизни Яворского оно так и не осуществилось. И не в последнюю очередь это объясняется идейным расхождением и взаимным охлаждением

дением Петра I и митрополита, постепенно нараставшим в течение 1708–1711 гг.

Едиличные произведения «колесничного цикла» вошли в состав третьего тома раритетного ныне издания проповедей Яворского, издававшегося в Москве в 1804–1805 гг. [Проповеди блаженныя...].

Торжественные слова Яворского в достаточно полном виде были впервые опубликованы лишь в 1865, 1874–1877 гг. в отдельных выпусках Трудов Киевской Духовной Академии (ТКДА, 1865. № 12, 1874. № 7, 10, 12; 1875. № 1, 3, 5, 9, 10; 1877. № 4). Однако более известны стали нравственно-догматические слова проповедника, ранее опубликованные в первых двух томах упоминавшегося трехтомного собрания проповедей 1804–1805 гг. В этом цикле слов на подвижные праздники церковного года и дни памяти святых преобладающее значение имели схоластические традиции церковного красноречия, что давало основание многим критикам и историкам гомилетики дискредитировать все наследие Яворского-проповедника как отвлеченное, оторванное от жизни [Заведеев: 57, Архангельский: 160–161], определять его как «бесплодную игру ума» [Самарин: 360]. Этим объясняется забвение другой важнейшей части гомилетического наследия Яворского, насыщенной актуальным политическим и идеологически значимым содержанием. В последние годы, однако, эта ситуация стала меняться в лучшую сторону: появились современные переиздания торжественных проповедей и других сочинений Яворского [Яворский 2014, 2015], новые исследования его гомилетического наследия [Живов; Киселева; Крашенинникова; Попович 2022, Попович 2023].

Несмотря на огромный объем гомилетического наследия Яворского, до нашего времени дошло весьма ограниченное количество рукописных копий его проповедей. Списки эти специально никем не исследовались и не сравнивались, текстологический анализ проповедей Стефана Яворского не предпринимался. Многие вопросы творческой истории ораторского наследия Яворского до сих пор остаются без ответа. Главный из них — существовал ли особый авторский сборник торжественных проповедей устойчивого состава, в который вошли слова, отобранные самим автором? Можно ли говорить о существовании различных редакций этих проповедей, и если да, то кому принадлежит редакторская правка: самому автору или позднему редактору-составителю сборника, Гавриилу Бужинскому? Ранее нами было

высказано предположение, что составителем и редактором «викториального» цикла мог быть сам митр. Стефан [Крашенинникова: 98]. Это мнение было оспорено А. И. Поповичем [Попович 2022: 154, прим. 15]. Сегодня мы располагаем текстологическими данными, позволяющими более уверенно ответить на этот вопрос.

В основу предпринятого нами исследования была положена уникальная рукопись, являющаяся собственноручным автографом Яворского и содержащая черновики более 300 проповедей, в том числе и цикла торжественных викториальных слов.

Список РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592а, 1592б, 1592в, 1592г первой четверти XVIII в. содержит 329 слов 1690-х гг. — первой четверти XVIII вв.¹ (Скоропись, полуустав). Сборник содержит коллекцию собственноручных черновых вариантов проповедей Яворского², сгруппированных по календарно-тематическому принципу. Собрание торжественных слов и слов «на случай» помещено в конце последней части сборника — 1592 г.³ (лл. 1482-1797). Заголовки проповедей в рукописи часто пишутся по-латыни, на полях встречаются приписки на латинском языке.

Рукопись имеет непростую и довольно интересную историю. 16 декабря 1722 г. Петр I издал именной указ Св. Синоду о собирании викториальных проповедей, произнесенных за все годы Северной войны и издании их в хронологическом порядке в виде отдельного сборника: «Бывшия с начала прешедшей Шведской войны, чрез все двадцать однолетное время, предики, которые где б ни были, при присутствии Его Величества и в неприсутствии, архиереями и протчими учителями проповеданы с воспоминанием взятъя городов и полученных викторий, собрав все погодно в одну книгу и, сочиня надлежащий на них реестр и предисловие, напечатать потребное таких книг число немедленно» [Полное собрание постановлений № 937: 660]. Поводом для этого распоряжения Петра могла стать кончина митр. Стефана Яворского,

¹ В рукописи есть проповедь, датируемая 1721 г.: «Образ добродетелей добр воин <...> в похвалу виктории под Лесном полученей, всенародно показанный в Петербурхе 1721 году» (в день воспоминания той виктории — 1592 г., л. 1540-1548 об.).

² А также отдельных копий проповедей, переписанных другим почерком (полууставом).

³ РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592г. Л. 1482–1797.

которая последовала незадолго до указа — 24 ноября 1722 г. (отпевание его было совершено 20 декабря того же года). Синод поручил исполнение указа советнику школ и типографий, архимандриту Троице-Сергиева монастыря Гавриилу Бужинскому.

Через два года, в 1724 г., незадолго до своей кончины, Петр I вновь напомнил о своем распоряжении и приказал собирать все документальные свидетельства эпохи Северной войны для составлявшейся тогда «Истории Свейской войны». В указе Синоду от 2 октября 1724 г. Петр требовал «внести в Историю все поздравления и приветствия, которые чинены были во время триумфальных входов Его Величества в Москву от преосвященного резанского Стефана митрополита, тако ж от учителей Латинской и Греческой школ, о чем в 1722 году говорено троицкому архимандриту и протектору типографии отцу Гавриилу [Бужинскому], чтоб, приискав, прислал в Кабинет, но и поныне оных не прислано» [Воскресенский: 149]. В связи с этим, кабинет-секретарь Алексей Макаров просил Св. Синод «собрать и прислать в Кабинет все поздравления и приветствия, говоренныя Рязанским митрополитом Стефаном Яворским, а также учителями латинской и греческой школ Императору Петру Великому во время триумфального въезда его в Москву после Шведской войны, для внесения этих приветствий ... в историю о Шведской войне» [Описание документов 1880, т. 4 № 447/56: 459]. Московская Синодальная Канцелярия отвечала, что приветствия Стефана Яворского должны находиться у протектора архим. Гавриила, который разбирал бумаги покойного митрополита. На запрос Синода Гавриил отвечал, что в имеющихся у него бумагах нет приветствий и поздравлений, но есть «предики», которые он и собирает по именному указу [Описание документов 1880, т. 4, № 447/56: 459]. Эти «предики» ранее хранились в оставшейся после смерти митрополита Стефана библиотеке. Об этом свидетельствует собственноручный каталог библиотеки Яворского, в котором под № 158 (67) значилось: «Казаня мои и различные scripta и notata, иные и чужие примешалися, связей или тек [т. е. папок. — О. К.]¹ болших и менших числом одиннадцать» [Маслов. Приложение II: XIV]. Большая часть библиотеки Яворского после его смерти была передана в Нежинский монастырь, но «казанья» остались в Москве

¹ тека — от греч. theke — собрание, хранилище, папка.

[Маслов. Приложение VI]. Именно это собрание проповедей Яворского было вытребовано в Синод и передано для разбора архим. Гавриилу, который держал его у себя долго. Гавриил ссылаясь на то, что порученное дело выполнить ему было крайне затруднительно вследствие невозможности заниматься в одно и то же время проповедями и синодальными делами [Описание документов 1878, т. II, ч. 2, № 1253/10: 612–613]. Вследствие этого доношения архим. Гавриила, по распоряжению Синода, он был уволен от присутствия в Синоде, ему была нанята особая квартира для переписки проповедей, определены писцы, выделялась бумага и свечи. Тем не менее, порученное дело по подготовке сборника продвигалось плохо.

В марте 1726 г., когда Гавриил уже стал епископом Рязанским, Св. Синод потребовал вернуть проповеди Яворского в подлиннике назад. Гавриил по какой-то причине уклонялся от выполнения этого распоряжения, мотивируя это тем, что посылать их в Петербург из-за распутицы было «небезубыточно», «описи им учинить также нельзя, понеже множайшая часть на мелких хартийцах писаны на латинском и польском языках» и просил передать их в Московскую канцелярию Св. Синода. Гавриил также сообщал, что ранее он уже послал проповеди в Петербург в *копиях*. (Это очень важное свидетельство Бужинского!). Наконец 7 июня 1727 г. Гавриил вернул в Святейший Синод проповеди «все, что ни есть подлинные». Тогда же Св. Синод определил: «Оныя предики приняв, содержать в синодальной канцелярии в целости» [Описание документов 1878, т. II, ч. 2, № 1253/10: 614].

В 1867 г. И. А. Чистович первый исследовал синодальную рукопись и издал наиболее примечательные отрывки из нее [Чистович]. По описанию Чистовича, сборник представлял собой «два картона или две дощатых с кожаными корешками обертки, в которые вложены тетради и листы проповедей Яворского. Проповеди не перенумерованы» [Чистович: 3].

В 1906 г. архивариус архива Св. Синода А. И. Никольский вновь обратился к рукописи и подробно описал ее состав [Никольский: 381–426]. Возможно, именно Никольский сгруппировал проповеди по празднично-календарному принципу, поместив сначала проповеди на Господские, затем на Богородичные праздники, затем на дни памяти святых, а в самом конце — 14 торжественных викториальных слов (не в хронологическом порядке) и несколько слов «на случай». Он

мог также пронумеровать листы единой нумерацией. Приведем состав торжественных слов из последней части рукописи¹:

1. Слово приветствующее победы — л. 1482–1485 об.
2. *Messis Triumphalis* (Жатва торжественная) — л. 1486–1495 об.
3. *Signus bonus Cruх Sancta* (Знамение благо крест пресвятой) — л. 1496–1501.
4. Сень вторая Моисеви от Петра Созданная — л. 1502–1504 об.
5. *Tabernaculum Christo Domino* <...>. Три сени, от Петра старого созданные. Первая сень <...> — л. 1505 об. –1509 об.
6. Третья сень (*Tertium Tabernaculum*) — л. 1511–1516 об.
7. Камень, Идола Навходоносорова сокрушивший — л. 1517–1531 об.
8. *In Nomine Domini manus Christi Domini* (Рука Христова) — л. 1532–1539 об.
9. Образ добродетелей добр воин (в похвалу виктории под Лесном) — л. 1540–1548 об.
10. *Currus Triumphalis* (Колесница торжественная) — л. 1549–1557.
12. *Quadriga Ezechielis* (Колесница четырёхколёсная) — л. 1558–1565.
13. *Currus Triumphalis Duplex Via* (Торжественной колесницы путь сугубый) — л. 1566–1587 об.
- 13а. Торжественной колесницы путь сугубый (копия предыдущей проповеди, выполненная другим почерком — полууставом) — л. 1588–1634.
- <...>
14. Трость ветром колеблемая (На измену Мазепы) — л. 1725–1729 об.

При текстологическом анализе торжественных проповедей, помимо автографа Яворского, нами учитывались также три более поздних списка XVIII в.:

1. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Сер. XVIII в. 352 л. (Скоропись). Рукопись была приобретена архим. Никодимом (Белокуровым) в сер. XIX в. Он первый в 1863 г. описал ее состав и охарактеризовал содержание каждой проповеди [Никодим (Белоку-

¹ *Стефан Яворский, митр.* Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г.

ров)]. Сборник содержит 13 торжественных панегириков 1702–1711 г., расположенных в хронологическом порядке. Закрывает цикл ранняя проповедь Стефана киевского периода «Виноград Христов» (опубликована в Киеве в 1698 г.).

2. ЦАМ КДА П 297 (J 7.7.) Киевской академической библиотеки. XVIII в. Была пожертвована Киевской библиотеке в 1780 г. архиепископом ростовским Самуилом Миславским [Певницкий: 75]. В. Ф. Певницкий подробно описал состав этой рукописи. В нее вошли 14 торжественных проповедей Стефана Яворского 1702–1716 гг., расположенных в хронологическом порядке. Проповеди из этой рукописи были опубликованы Певницким в Трудах Киевской Духовной Академии: в 1865 г. (декабрь), в 1874 г. (июль, октябрь, декабрь), в 1875 г. (январь, март, май, сентябрь, октябрь) и в 1877 г. (апрель), и нам были доступны лишь печатные копии этой рукописи.

3. НИОР РГБ. Ф. 173/ П (Дополнит. Собр. МДА), № 112. Кон. XVIII в. 199 л. Без конца. Содержит 15 торжественных проповедей 1702–1716 гг. Поскольку рукопись принадлежит собранию Московской Духовной Академии, можно предположить, что она является поздним списком, восходящим к более раннему оригиналу, принадлежавшему архимандриту Троице-Сергиевого монастыря Гавриилу Бужинскому (был наместником монастыря в 1722–1726 гг.). После смерти Бужинского в 1731 г. его книги были переданы в Московскую Академию. Возможно, список воспроизводит одну из копий, сделанных писцами Бужинского по распоряжению Синода в 1722–1726 гг. В пользу этого предположения свидетельствует то, что рукопись является наиболее полной по составу, содержит, с одной стороны, чтения, наиболее точно воспроизводящие авторский оригинал (список РГИА 1592 г.), а с другой, весьма значимую содержательную правку оригинального текста.

Общее ядро торжественного цикла, вошедшее в состав более поздних рукописных сборников, составляют 13 проповедей Яворского 1702–1711 гг., расположенных в хронологическом порядке: 1. Слово приветствующее побед около Пскова и Ливонии 1702 г.; 2. Колесница торжественная, многоочитая 1703 г.; 3. Колесница четырехколесная, многоочитая, 1704 г.; 4. Жатва торжественная, 1704 г.; 5. Знамение благо крест Пресвятой 1705 г.; 6. Торжественной колесницы путь сугубый 1706 г.; 7. Три сени, от Петра святого созданныя, 1708 г.; 8. Сень вторая

1708 г.; 9. Сень третья 1708 г.; 10. Трость, ветром колеблемая 1708 г.; 11. Рука Христова, Петру Российскому простираемая 1709 г.; 12. Камень, Идола Навходоносорова сокрушивший, 1709 г.; 13. Моисей Российский 1711 г. В авторском оригинале (РГИА) все эти проповеди также присутствуют, кроме одной — «Моисей Российский» (1711 г.). Хронологический порядок слов в автографе не соблюден. Также в авторском оригинале по-разному оформлены заголовки: они отличны по тексту от более поздних редакций, и латинские заглавия перемежаются с русскими. В поздних списках проповеди характеризуются единообразным оформлением при помощи однотипных заголовков, выделения фем (тем проповедей, заданных цитатами из Священного Писания), что подчеркивает единство цикла.

Наибольшую проблему представляет вопрос, кто являлся составителем этого устойчивого и единообразного по структуре цикла. Ответ, казалось бы, лежит на поверхности: первым редактором и составителем его мог быть Гавриил Бужинский, который несколько лет (с 1722 по 1726 гг.) работал непосредственно с авторским оригиналом. В его задачу входило, в соответствии с указом царя, составить сборник проповедей, отражающих последовательную хронику побед русского оружия в Северной войне. Однако, при сравнении состава Синодальной рукописи (РГИА 1592) с составом более поздних списков, в особенности, с наиболее полным списком РГБ 112 (15 слов) становится очевидным, что авторский автограф не мог служить единственным оригиналом для последующих списков, так как в нем отсутствовали проповеди: «Моисей Российский» 1711 г. (написана накануне Прутского похода Петра против турок), «Слово благодарственное о взятии Слутельбурга в 1702 г.» и «Слово на воспоминание торжественной виктории Полтавския» 1716 г., вошедшие в более поздние списки. Таким образом, составляя сборник проповедей Яворского, Бужинский должен был воспользоваться, помимо черного авторского автографа, какими-то другими, неизвестными нам источниками.

В качестве двух основных текстов для сравнения первоначальной и отредактированной версии проповедей нами были выбраны списки РГИА и РГАДА. Пословная сверка текстов проповедей в источниках показала, что списки РГАДА, а также и РГБ, и печатный вариант ТКДА существенно отличаются от первоначального

авторского оригинала, представленного в списке РГИА. Ряд проповедей характеризуется устойчивым составом и незначительными лексическими разночтениями по спискам, другие же — и прежде всего, основные проповеди Колесничного цикла — демонстрируют довольно значительные содержательные различия. К этой второй группе проповедей относятся: «Колесница торжественная» (1703), «Колесница четырёхколёсная» (1704), «Жатва торжественная» (1704), «Торжественной колесницы путь сугубый» (1706) и некоторые другие. Среди поздних редакций проповедей киевский и московский списки продемонстрировали большую близость по составу текста, и поэтому могут быть объединены в одну группу. Список РГАДА 1029 содержит большее количество текстовых и лексических расхождений с московским и киевским вариантами и представляет собой особую и, как мы покажем, более раннюю редакцию проповедей.

Перечислим различные виды редакторской работы над первоначальным текстом проповедей, которые нам удалось обнаружить.

1. **Содержательная правка** состояла в исправлении ошибок в содержании проповедей и исключении из них определенных фрагментов текста по тем или иным идеологическим причинам. Один из наиболее ярких примеров подобной правки — устранение из окончательной редакции проповеди «Колесница торжественная» (1703 г.) пассажа с похвалой царевичу Алексею Петровичу, в котором автор предрекает ему великое будущее. Пассаж сохранился только в авторском автографе (списке РГИА) и списке РГАДА 1029: Не могу где(сь) замо(л)чати и тебе нео(т)ро(д)ное орлее племя, высокого гнезда высоки(й) пте(н)че, с̄не громов, бе(з)смертныя о(т)цов свои(х) славы дедючю и наследнику, велики(й) Г(ѿ)дрь на(ш) Ц̄р̄евич и велики(й) К̄н̄зь Алекси(й) Петрович. <...>якоже бо о(т)ц твори(т), сия и с̄н такожде твори(т). О̄п̄ труждае(т)ся в деле военно(м), с̄н такожде. О(т)ц в походе голо(д), холо(д), зно(й) солнечны(й), пы(ль), курение дымов марсовы(х), и всякие военные и подорожные тру(д)но(с)ти великодушне прете(р)певае(т), с̄н такожде. Для чоґож то та(к)? О(т)ц бо люби(т) с̄на, и вся показуе(т) ему, яже са(м) твори(т). И зрете та(й)ну: за пе(р)вы(м) си(м) походе(м) великого Г(ѿ)дря нашего Ц̄р̄евича и в: К: А: П: [великого Князя Алексея Петровича] толики(м) на(с) Г(ѿ)дь Б̄г̄ обрадова(л) веселие(м). Что вы о(т)сюду познаваете? Что убо Отроча се буде(т)? <...> Я убо про-

роче(с)твую, яко буде(т) вели(й) пре(д) Г(ѿ)де(м). А о(т)куду сие позна(т)и? Рука Г(ѿ)дня бяше с ни(м)¹.

Это место устранено в московском и киевском списках, что может указывать на идеологическую правку, произведенную после 1718 г., возможно, непосредственно самим Гавриилом Бужинским. То, что похвала Алексею сохранена в списке РГАДА 1029, наводит на мысль, что в нем, вероятно, представлена одна из ранних редакций проповедей, составленная самим автором в период с 1711 (датировка самой поздней проповеди сборника — «Моисей российский») по 1718 гг.

Еще один интересный пример содержательной правки находим в тексте проповеди «Колесница четырёхколёсная». В первоначальной авторской версии проповедник, рассуждая о солнце и луне, писал:

Не лежа(т), не стоя(т), не почиваю(т) Колеса нб(ѿ)ныя [т. е. солнце и луна], якоже нецци новьи философи ложно научаю(т), но в непрестанны(х) движения(х), в непрестанны(х) бега(х) всегда пребываю(т), а все зе(м)ли на по(л)зу².

В редакции РГАДА 1029 в этом фрагменте добавляется уточнение:

Не лежат, не стоят, не почиваю(т) колеса нб(ѿ)ныя, якоже нецци новые философи с Коперником ложно научают, но в непрестанных движениях, в непрестанных бегах всегда пребывают, а всей земли на пользу³.

В московском списке выделенные курсивом слова с указанием на планеты и на «ложное» учение Коперника опущены:

Не лежат, не стоят, не почивают, но в нерепрестанны(х) движения(х), в непостоянны(х) бегах всегда пребывают⁴.

Представляется, что это место также могло быть следом редакторской правки Бужинского, который был в курсе последних достижений науки и, в отличие от Яворского, разделял гелиоцентрическую теорию Н. Коперника.

¹ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. Л. 1555 об.

² Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1560.

³ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1 № 1029. Л. 50 об.

⁴ Стефан Яворский, митр. Проповеди. НИОР РГБ. Ф. 173/II (Дополнит. собр. МДА). № 112. Л. 49 об.

К содержательному виду исправлений можно отнести замену словосочетаний царство Московское (л. 1556) на: Государство/царство Российское: «Воспомянувши древняя времена и начало си(х) стран *московски(х)*...»¹. «Воспомянув древняя времена и начало сих стран *российских*...»² — в проповеди «Торжественной колесницы путь сугубый».

«...Великодержавному скипетру *московскому* покорившаго» (о царе Иоанне Васильевиче)³ — «...Великодержавному скипетру *российскому* покорившаго»⁴ в проповеди «Слово приветствующее победы».

«...Сие Тривенечное *царство*»⁵ — «...Сие тривенечное *Государство*»⁶ в проповеди «Колесница торжественная».

Также исправления могли касаться царского титула:

Велики(й) Г(С)дрь Црѣ и велики(й) Кнзь Петр Алексиевич, Повелите(ль) и прямы(й) Август(ст), Г(С)др(с)тва Московского⁷ — в латинском оригинале: Magnus Dux Imperator Moschovio(s) Semper Augustus Petros Alexiewiz (там же).

Великий г(С)дрь и Император *российский*, всегда август Петр Алексеевич⁸ — в проповеди «Колесница торжественная».

2. Расширительная иллюстративная правка

В поздней редакции похвальных проповедей часто производилась вставка добавочных фрагментов текста, пояснявших ту или иную

¹ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1573 об.

² Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 148.

³ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592г. Л. 1484.

⁴ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1 № 1029. Л. 8 об.; Стефан Яворский, митр. Проповеди. НИОР РГБ. Ф. 173/II (Дополнит. собр. МДА). № 112. Л. 22 об.

⁵ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592г. Л. 1551.

⁶ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 23 об.

⁷ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592г. Л. 1554.

⁸ Стефан Яворский, митр. Проповеди. НИОР РГБ. Ф. 173/II (Дополнит. собр. МДА). № 112. Л. 39.

авторскую мысль, которая определялась всецело авторской волей и творческой фантазией. В своих проповедях митр. Стефан, как правило, стремился привести не один, но целые ряды примеров из Священной истории, историков древности или жизни природы для иллюстрации своих тезисов. Особенно много подобных дополняющих фрагментов-иллюстраций содержится в окончательной редакции проповеди «Колесница торжественная». При сравнении первоначальной редакции проповеди в рукописи РГИА с полной ее версией в списке РГАДА и других мы находим не менее десятка таких добавочных фрагментов, существенно обогативших содержание проповеди. Так, например, в первой части проповеди развивается мысль о том, что все высокие имена и титулы, всякая красота и слава в мире заслуживаются только терпением и страданием. Примерами служат Иисус Христос, ветхозаветный Иаков, ученики Спасителя — св. апостолы, монархи древнего мира: Навуходоносор, Дарий, Александр Великий, Юлий Цезарь. Наконец доходит очередь до примеров из жизни природы.

Первоначальная редакция:

Возрем на самое безсловесное естество, того ж нас научает. Древо изрядныя плоды приносит, но в-первых обрезаша Его. Виноградная лоза прекрасные грозды проращает, но в-первых, о колкое терпит обрезание¹.

В расширенной редакции к процитированному фрагменту добавлены новые примеры:

Земля плодами своими не прежде нас питает и обогащает, донележе ралом утробу ея отверзеши. Семена не прежде в классы израстают, донележе сами умертвятся. Камень не прежде огонь из себе испущает, донележе от твердаго железа претерпит ударение, и моисейский он водоточный камень не прежде из себе испусти воду, дондеже дважды железом поражен бысть².

В другом месте проповедник обращается к образу триумфальной колесницы и обещает соорудить торжественную Колесницу на вход

¹ *Стефан Яворский, митр.* Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1550.

² *Стефан Яворский, митр.* Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 20 об.

российских войск в столицу. Прежде, чем толковать библейский образ колесницы у пророка Иезекииля, автор в расширенной редакции проповеди добавляет несколько примеров колесниц в древности: обычай древнего мира после военных побед вождям въезжать в столицу на украшенных драгоценными камнями колесницах; анекдот из историков Сократа и Созомена о византийском императоре Феодосии, который, возвращаясь с победой в Константинополь, на торжественную колесницу поставил иконы Спасителя и Божией Матери, а сам шел пешком перед колесницей, и, наконец, огненную колесницу, вознесшую на небо пророка Илию.

В конце проповеди, советуя царям всегда помнить свое место в мире и завоевывать славу смирением и добрыми делами, в расширенной редакции проповедник добавляет «доводы от противного» — примеры нечестивых царей, превозносившихся гордыней и мнивших себя богами: царя Навуходоносора, гордившегося своим детищем — Вавилоном, царя Ирода, о речи которого народ возглашал: «глас Божий, а не человек», и, наконец, императора Александра Македонского, возомнившего себя не сыном Филиппа, но самого бога Зевса.

Следует отметить, что расширительная правка, вставка дополнительных иллюстративных фрагментов отвечала стилистическим задачам схоластического типа проповеди, в основе структуры которой лежал принцип перечисления, «нанизывания» множества явлений, примеров из различных сфер жизни для иллюстрации выдвинутого оратором тезиса. При этом мастерство схоластической проповеди определялось эрудицией и начитанностью автора, оригинальностью, занимательностью и разнообразием приведенных им примеров.

3. Стилистическая правка

Еще один распространенный вид правки текста у Яворского — стилистическое украшение первоначального варианта. Ранняя редакция проповеди часто представляла собой текст, записанный в краткой тезисной форме. Стилистическая правка второй, расширенной редакции заключалась в амплификации: распространении, уточнении, стилистическом украшении, или же перефразировки первоначального текста с помощью дополнительных эпитетов, сравнений и т. д.

Приведем пример из проповеди «Колесница торжественная»:

Многие имаши имена и тытлы, Преславная Российская Монархия, но все титлы, все имена не чернилом, не кинобром, но кровию написана суть¹.

Многия имаши титлы, преславная российская Монархия, имена: *ово царства Казанскаго, ово царства Астраханскаго, ово царства Сибирскаго, и прочая*, но вся та имена и титло ни чернилом, ни киноварем, ни золотом, ни железным характером, ниже пером, но мечем, в крови омоченном, ниже на хартии, тлению причастно(й), но на выях неприятельских, паче же реку в книгах безсмертныя славы написана².

Пример из проповеди «Колесница четырёхколёсная»:

Так Слово в Слово началствующи людие. И сие то глаголет Христос Спаситель: хотяй быти в вас первый, будет всем раб³.

Так слово в слово и начальницы: *колеса то суть, тяготу и бремя носящи, в непрестанных движениях пребывающии, и не себе, но общей по толикой нужде и потребе служащи, саном начальницы, тяготою же работницы, по неложному словеси Христову*: хотяй быти в вас первый, да будет всем раб⁴.

О изрядная Колеснице, седалище Божие, Престоле Царя славы <...>⁵.

О изрядная колесница! О прекрасное Божие седалище! О Благолепный Царя славы престоле!⁶

Пример перефразировки из проповеди «Жатва торжественная»:

Сия убо всерадостныя класы и я собрав з первого Марсового поля, яко жа(т)ву радо(ст)ную всегда многопеча(л)ное пре(д)варяе(т) сеяние, з тех победите(л)ны(х) класов соплетая венец преславным жателе(м),

¹ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1550 об.

² Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 21 об.

³ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1559 об.

⁴ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 48.

⁵ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1564 об.

⁶ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 67 об.

подвигоположник(м) Росси(й)ски(м), а са(м) иду на другое марсовое Поле¹.

Сию убо всерадостную жатву, от слез, от потов, от крове возрастную, собрав, возлагаю на триумфальную колесницу, и с победительных класов преславным жателем, российским подвижником сплет венец, иду на второе марсовое поле².

О жа(т)во прево(ж)деленна, ко(л) радостна еси, юже многопеча(л)-ное пре(д)воряе(т) сеяние!³

О, жатво превожденная, жатво, радости преисполненна, которую многоплачевное предворяет сеяние!⁴

4. Лексическая правка

Вариативность на уровне отдельных лексем является наиболее распространенной и часто встречающейся в списках проповедей. Есть определенные группы лексем, которые более характерны: одни — для ранней, другие для расширенной редакций проповедей. Эти группы лексем позволяют определить некоторые закономерности последовательной правки автором первоначального текста.

А) замена устаревших слов на общеупотребительные: дедичный — наследственный; подвигоположник — подвижник; охочь — охотно; верховник апостол — верховный апостол; отяжил — отягчил; надобе — надобно, нужда есть; пепелный — адский; една — едина; отродится — родится; велми — весьма; тщий — пустой; род — народ; кормчий — корабля управитель; поучование — учреждение; сейба — сеяние; супостат — враг, противник; бесурманский — мусульманский; оборочатися — обращаться.

Б) устранение украинизмов и латинизмов: изрядное *Symbolum* — изрядный символ и образ; натура — природа, свойство; делом марсовым бавитесь — духом марсовым дхнете; доматор — домосед; в доме

¹ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1489.

² Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 85 об.–86.

³ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1487 об.

⁴ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 79 об.–80.

пробывающий; высокая фамилия родству — изрядное родоначалство; ма(й)стерство — художество; казание — предика, проповедь, повесть; бачка — отче; побожный — благочестивый; початок — начало; триумфует — торжествует; мовити — молвити, вымвляет — глаголет; горькую жибуру — горький алоес; пожиток — прибыль; смуток — печаль; смутный — прискорбный; желв — червь.

В) замена просторечных и общеупотребительных слов на слова высокого стиля: говорил — глаголал; кричать — гласити; когда — егда; смерть — кончина; для чего — чесо ради; глянешь — воззришь, посмотришь; приятель — ближний; нет — несмы; взял бысть — поят бысть; Гомер — Омир; духа лукава — духа лестча; рана — язва; люд — народ; жатва — жниво; похвалятся — хвалитися; светило — святилище.

Г) замена устаревших грамматических форм: станмо — станем; слушаймо — слушайте; лобизаймо — лобзаим; радумойся — радуимся; ведаймо — ведуще; моглисмо — могли мы; испилисмо — испихом; собралисте — собрали есте; читалисте — читали есте; показа — показал; бесте — бысте; бысть — был; возрете (пов. накл.) — воззрите; готовете (пов. накл.) — готовите; отверзете — отверзите; поразивши — поразив; минувши — преминув; поминаючи — вспомянувши; смотрячи — смотря; лежачи — лежа; узревши — узрев.

Д) замена личных конструкций «мы, нам» на безличные:

Ведаете, звезда утреня и денница какую има(ть) *натуру*. Роди(т) **на(м)** день, а сама *погибае(т)*. **Глянешь** в ночи пере(д) светом на восток, **увидишь** звезду утреннюю и денницу, уже (ж) *по(д)лино ведаешь*, яко бли(з)ко день е(сть). Потом *яви(т)ся* день, уже денницы **не увидишь**¹.

Весте, звезда утреня и денница какое имать *свойство*? Родит **мирови** день, а сама *угасает*. **Во(з)зрит кто** в ночи прежде света на восток и **узревши** звезду утреннюю и денницу, **ведает** совершенно, яко близ день есть. Потом *во(з)сиявшу* дню денницы уже **не узрит**².

Проведенный нами сравнительный анализ списков торжественных проповедей митр. Стефана Яворского выявил значительные содержа-

¹ Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГИА. Ф. 834 (Синода). Оп. 2. № 1592 г. Л. 1490.

² Стефан Яворский, митр. Проповеди. РГАДА. Ф. 188 (Рукописное собрание). Оп. 1. Ч. 1. № 1029. Л. 88–88 об.

тельные, стилистические и лексические расхождения между авторским автографом и позднейшими списками этих произведений. Если предполагать гипотетическую редакторскую работу Гавриила Бужинского над текстом проповедей Яворского, то следует признать, что она была бы сродни соавторству: из сырого черновикового материала, авторского текста с многочисленными поправками, зачеркнутыми местами, вставками, дополнениями, латинскими приписками на полях и т. д. нужно было создать стройный, выверенный, логично изложенный текст. При этом требовалось внести в основной текст многочисленные вставки, выстроить фрагменты проповедей в том порядке, который задумывал автор; латинские заголовки оригинала перевести на русский язык и однотипно оформить, везде выделить фемы проповедей. Наконец, самым главным было осуществить масштабную стилистическую правку. Однако разнообразный и творческий характер этой правки с полной определенностью указывает на авторство самого митр. Стефана. Нет никаких сомнений в том, что сам автор выступил в качестве художественного редактора и составителя расширенной редакции своих слов. Если авторский автограф содержал краткую редакцию, предназначенную для устного произнесения, то расширенная, дополненная и стилистически украшенная версия, возможно, могла предназначаться для чтения и являться основой готовившегося печатного варианта проповеди. Если отдельные разночтения содержательного характера, указанные выше, могли объясняться предположительной правкой редактора-составителя сборника Гавриила Бужинского, то основная их масса стилистического и лексического характера, без сомнения, являлась результатом последовательной авторской работы над редактированием, расширением и стилистическим украшением первоначального краткого варианта торжественных слов. Список РГАДА 1029 отражает, по нашему мнению, более раннюю редакцию обновленного варианта проповедей, сложившуюся в период с 1711 г. (год создания последней проповеди цикла – «Моисей Российский») до 1718 гг., так как в ней сохранен пассаж с похвалой царевичу Алексею. Рукопись содержит ядро из 13 наиболее репрезентативных слов, которое было отобрано самим автором, то есть митр. Стефаном Яворским, и вошло затем в состав последующих списков. В результате редактирования чернового варианта текст проповедей приобрел свою полную и законченную форму: в него внесены в нужных местах все вставки, приписки и маргиналии

и в то же время опущены многочисленные зачеркнутые места. Раскрыты сокращения цитат, латинские термины переведены на славянский язык. Заголовки проповедей приобрели единообразную форму. Однако в списке РГАДА 1029 — по-видимому, вследствие невнимательности писца, — встречаются отдельные неправильные чтения, опiski, ошибки и пропуски, и он, к сожалению, не может считаться образцовой копией авторского оригинала.

Черты более позднего этапа редактирования слов (после 1718 г.) характерны для двух других списков проповедей: киевского ЦАМ КДА П 297 и московского РГБ 112, в которых был, в частности, опущен фрагмент о царевиче Алексее. Эта правка может отражать редакцию 1722–1726 гг., проводившуюся под руководством Гавриила Бужинского. Подчеркнем, что при копировании проповедей Яворского Гавриил опирался не на авторский автограф, а на сборник проповедей, уже отредактированных самим автором и содержащий распространенную редакцию торжественных слов. Подтверждением этого служит тот факт, что на сегодняшний день в рукописной традиции XVIII в. не существует ни одного списка проповедей, отражающего ранний авторский автограф. Таким образом, версия о ведущей роли Гавриила Бужинского в редактировании сборника торжественных слов Стефана Яворского представляется нам ошибочной.

Подводя итог нашим наблюдениям, отметим, что работа Гавриила над текстами проповедей Яворского не являлась его инициативой и проводилась всецело по указу Петра I и Св. Синода. Работа эта велась Бужинским неохотно и чисто формально, что и понятно, если учитывать тот факт, что Гавриил никогда не был духовно близок к покойному митр. Стефану и не разделял его идей (как, например, издавший «Камень веры» Феофилакт Лопатинский). Более того, будучи единомышленником и соратником Феофана Прокоповича, Бужинский, вследствие своих симпатий к протестантам, был идейным противником и принципиальным оппонентом Яворского. В своем противоположном трактате «Камень веры» митр. Стефан разоблачал комплекс представлений, характерных именно для мировоззрения Бужинского, издавшего в 1720 г. свой перевод так называемого «Лютеранского хронографа» — книги протестантского богослова В. Стратемана «Феатрон, или позор исторический», в котором превозносился М. Лютер и популяризовались его идеи. Вот почему, по нашему мнению, Бужинский,

при всей его образованности, был совсем не тем человеком, который мог бы поддержать идеи Яворского и стать равноправным соавтором и редактором-составителем сборника его проповедей.

Список литературы

Источники

Димитрий Ростовский, свт. Дневные записки святого чудотворца Димитрия митрополита Ростовского. М.: Унив. тип. у Н. Новикова. 1781. 112 с.

Никодим (Белокуров), архим. Неизданные проповеди местоблюстителя патриаршего престола Рязанского митрополита Стефана Яворского. М.: [Б. и.], 1863. 22 с.

Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего правительствующего Синода. СПб.: В Синод. тип., 1878. Т. II: 1722 г. Ч. 2. 746 с.

Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб.: В Синод. тип., 1880. Т. 4: 1724 г. 1130 с.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. СПб.: Синод. тип., 1872. Т. II: 1722 г. 685 с.

Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // *Самарин Ю. Ф.* Сочинения: в 12 т. М.: Тип. А. И. Мамонтова и К^о, 1880. Т. 5. 463 с.

Стефан Яворский, митр. Проповеди блаженных памяти Стефана Яворского, преосвященного митрополита Рязанского и Муромского, бывшего местоблюстителя престола Патриаршего, высоким учением знаменитого и ревностно по благочестию преславного. М.: В Синод. тип., 1804–1805. Ч. 1–3.

Стефан Яворский, митр. Сочинения / публ., вступ. ст., словарь терминов и указ. имен Н. Н. Бородкиной. Саратов: Научная книга, 2014. 510 с.

Стефан Яворский, митр. Похвальные и торжественные слова, переписка / публ., вступ. ст., словарь терминов и указ. имен Н. Н. Бородкиной. Саратов: Научная книга, 2015. 560 с.

Исследования

Архангельский А. Духовное образование и духовная литература в России при Петре Великом. Казань: Тип. Императорского ун-та, 1883. 212 с.

Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I: Акты о высших государственных установлениях / под ред. и с предисл. Б. И. Сыромятникова. М.; Л.: АН СССР, 1945. Т. 1. 602 с.

Живов В. М. Стратегии пророчества: Проповедь Стефана Яворского на память Алексея Человека Божия // Стих, язык, поэзия: Памяти М. Л. Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. С. 201–210.

Заведеев П. История русского проповедничества от XVII века до настоящего времени. Тула: Тип. Н. И. Соколова, 1879. 263 с.

Киселева М. С. Имперские темы в барочных проповедях Стефана Яворского: «Царство как колесница четырёхколёсная» // *Киселева М. С.* Интеллектуальный вы-

бор России второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 342–359.

Крашенинникова О. А. Проповеди митрополита Стефана Яворского как публицистические сочинения // Очерки истории русской публицистики XVIII века. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 96–156.

Маслов С. И. Библиотека Стефана Яворского. Историко-библиографическое исследование. Киев: Тип. Мейнандера, 1914. 66 с.

Никольский А. Описание рукописей, хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб.: Синод. тип., 1906. Т. II. Вып. 1. 547 с.

П[евницкий] В. Ф. Слова Стефана Яворского, митрополита Рязанского и Муромского // Труды Киевской Духовной Академии. 1874. Июль. С. 72–84.

Попович А. И. Неизвестная проповедь митрополита Стефана (Яворского) о немом и глухом духе // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2022. № 1 (17). С. 151–171.

Попович А. И. Смерть и жизнь «на общую пользу» в петровскую эпоху: две проповеди Стефана Яворского // Герменевтика древнерусской литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2023. Сб. 22. С. 83–138. <https://doi.org/10.22455/HORL.1607-6192-2023-22-83-138>

Чистович И. А. Неизданные проповеди Стефана Яворского. СПб.: Тип. Деп. уделов, 1867. 112 с.

References

Arkhangel'skii, A. *Dukhovnoe obrazovanie i dukhovnaia literatura v Rossii pri Petre Velikom* [Spiritual Education and Spiritual Literature in Russia Under Peter the Great]. Kazan, Tipografiia Imperatorskogo universiteta Publ., 1883. 212 p. (In Russ.)

Voskresenskii, N. A. *Zakonodatel'nye akty Petra I: Akty o vysshikh gosudarstvennykh ustanovleniakh* [Legislative Acts of Peter I: Acts on the Highest State Institutions], vol. 1, ed. and preface by B. I. Syromiatnikov. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1945. 602 p. (In Russ.)

Zhivov, V. M. "Strategii prorochestva: Propoved' Stefana Iavorskogo na pamiat' Alekseia Cheloveka Bozhii" ["Strategies of Prophecy: Sermon of Stefan Yavorsky in Memory of Alexei the Man of God"]. *Stikh, iazyk, poezii: Pamiati M. L. Gasparova* [Verse, Language, Poetry: In Memory of M. L. Gasparov]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 2006, pp. 201–210. (In Russ.)

Zavedeev, P. *Istoriia russkogo propovednichestva ot XVII veka do nastoiashchego vremeni* [History of Russian Preaching from the 17th Century to the Present]. Tula, Tipografiia N. I. Sokolova Publ., 1879. 263 p. (In Russ.)

Kiseleva, M. S. "Imperskie temy v barochnykh propovediakh Stefana Iavorskogo: 'Tsarstvo kak kolesnitsa chetyrekolesnaia.'" ["Imperial Themes in the Baroque Sermons of Stefan Yavorsky: 'The Kingdom as a Four-Wheeled Chariot.'"] Kiseleva, M. S. *Intellektual'nyi vybor Rossii vtoroi poloviny XVII – nachala XVIII veka: ot drevnerusskoi knizhnosti k evropeiskoi uchenosti* [Russia's Intellectual Choice in the Second Half of the 17th – Early 18th Century: From Old Russian Literature to European Scholarship]. Moscow, Progress-Traditsiia Publ., 2011, pp. 342–359. (In Russ.)

Krasheninnikova, O. A. "Propovedi mitropolita Stefana Iavorskogo kak publitsisticheskie sochineniia" ["Sermons of Metropolitan Stefan Yavorsky as Publicistic Works"]. *Ocherki istorii russkoi publitsistiki XVIII veka* [Essays on the History of Russian Journalism of the 18th Century]. Moscow, IWL RAS Publ., 2017, pp. 96–156. (In Russ.)

Maslov, S. I. *Biblioteka Stefana Iavorskago. Istoriko-bibliograficheskoe issledovanie* [Stefan Yavorsky's Library. Historical and Bibliographical Study]. Kyiv, Tipografiia Meinandera Publ., 1914. 66 p. (In Russ.)

Nikol'skii, A. *Opisanie rukopisei, khраниashchikhsia v Arkhive Sviateishogo Pravitel'stviushchego Sinoda* [Description of the Manuscripts Stored in the Archives of the Holy Governing Synod], vol. 2, issue 1. St. Petersburg, Sinodal'naia tipografiia Publ., 1906. 547 p. (In Russ.)

P[evnitskii], V. F. "Slova Stefana Iavorskago, mitropolita Riazanskago i Muromskago" ["Words of Stefan Yavorsky, Metropolitan of Ryazan and Murom"]. *Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii*, July, 1874, pp. 72–84. (In Russ.)

Popovich, A. I. "Neizvestnaia propoved' mitropolita Stefana (Iavorskogo) o nemom i glukhom dukhe" ["Unknown Sermon of Metropolitan Stefan (Yavorsky) on the Dumb and Deaf Spirit"]. *Paleososiia. Drevniaia Rus': vo vremeni, v lichnostiakh, v ideiakh*, no. 1 (17), 2022, pp. 151–171. (In Russ.)

Popovich, A. I. "Smert' i zhizn' 'na obshchuiu pol'zu' v petrovskuiu epokhu: dve propovedi Stefana Iavorskogo" ["Death and Life 'for the Common Good' in the Era

of Peter the Great: Two Sermons of Stefan Yavorsky”]. *Germenevtika drevnerusskoi literatury* [*Hermeneutics of Old Russian Literature*], issue 22, 2023, pp. 83–138. <https://doi.org/10.22455/HORL.1607-6192-2023-22-83-138> (In Russ.)

Chistovich, I. A. *Neizdannye propovedi Stefana Iavorskogo* [*Unpublished Sermons of Stefan Yavorsky*]. St. Petersburg, Tipografia Departamenta Udelov Publ., 1867, 112 p. (In Russ.)

© 2024. С. Н. Сатарова

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
г. Санкт-Петербург, Россия

Лесков и Екклесиаст: источниковедческий аспект проблемы

Аннотация: В статье впервые предпринимается попытка выявить источники знаний Н. С. Лескова о библейской книге Екклесиаста. На основе работ по исагогике и экзегетике указывается, что в России ко второй половине XIX в. широкое распространение получают проблемы атрибуции и интерпретации Екклесиаста. С 1860-х гг. в периодических изданиях появляются переводы книги на русский язык. Сопоставление текстов Лескова, в которых обнаружены заимствования из Екклесиаста, с существовавшими ко времени их написания переводами книги позволило установить, что писатель последовательно обращался к наиболее распространенным и современным переводам: художественному переложению «Опытная Соломонова Мудрость, или Мысли, выбранные из Экклесиаста» Н. М. Карамзина и Синодальному переводу. Исследуется фикциональное, публицистическое и эпистолярное наследие Лескова, определяется уровень знаний писателя об актуальных вопросах богословской науки, об истории и специфике текста Екклесиаста. Отмечаются типологические сходства между творчеством Лескова и ветхозаветной книгой, выявляется связь доминант поэтики писателя с особенностями библейского текста.

Ключевые слова: классическая литература, Библия, Н. С. Лесков, Екклесиаст, историко-культурный контекст, источники знаний.

Информация об авторе: Сатарова Софья Николаевна, аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки, д. 48, 191186 г. Санкт-Петербург, Россия.
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4716-8102>

E-mail: satarovasn@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 11.04.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 23.05.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Сатарова С. Н. Н. С. Лесков и Екклесиаст: источники знаний писателя о ветхозаветной книге // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 240–255. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-240-255>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 240–255. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 240–255. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2024. Sofia N. Satarova

Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint-Petersburg, Russia

N. S. Leskov and Ecclesiastes: Sources of the Writer's Knowledge About the Old Testament Book

Abstract: The article is the first attempt to reveal the sources of N. S. Leskov's knowledge about the book of Ecclesiastes. The works on isagogics and exegetics demonstrate that in Russia, by the second half of the 19th century, the problems of attribution and interpretation of Ecclesiastes were widespread. Since the 1860s, translations of the book into Russian have appeared in periodicals. A comparison of borrowings from Ecclesiastes from Leskov's texts with the translations of the book that existed at the time of their writing allowed us to establish that the writer consistently turned to the most common and modern translations: the artistic arrangement of N. M. Karamzin's "Experienced Solomon's Wisdom, or Thoughts Selected from Ecclesiastes" and the Synodal Translation. The article examines Leskov's fictional, journalistic, and epistolary heritage, which determines the level of the writer's knowledge about topical issues of theological science, particularly the history and specifics of the text of Ecclesiastes. The research reveals the typological similarities between Leskov's work and the Old Testament book and the connection of the writer's dominant poetics with the peculiarities of the biblical text.

Keywords: classical literature, the Bible, N. S. Leskov, Ecclesiastes, historical and cultural context, sources of knowledge.

Information about the author: Sofia N. Satarova, PhD Student, Herzen State Pedagogical University of Russia, Moika Emb., 48, 191186 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4716-8102>

E-mail: satarovasn@mail.ru

Received: April 11, 2024

Approved after reviewing: May 23, 2024

Published: September 25, 2024

For citation: Satarova, S. N. "N. S. Leskov and Ecclesiastes: Sources of the Writer's Knowledge About the Old Testament Book." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 240–255. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-240-255>

В последние годы одной из основных задач науки о Н. С. Лескове является изучение генезиса его уникального стиля, в связи с чем особое значение приобретает разработка источниковедческого аспекта исследования поэтики писателя. Его «тайнопись» включает в себе широкий спектр «приемов», а отмечавшееся еще критиками XIX в. «многознание» Лескова отразилось «не только в содержательных мотивах произведений, но и при создании художественной формы» [Петрова: 3]. Установление источников знаний писателя прежде всего о текстах Священного Писания, реминисценции которых наиболее часто¹ встречаются в его творческом наследии, а также о современном Лескову уровне богословских исследований актуально при изучении доминант его поэтики [Федотова]. Вследствие этого представляется важным рассмотреть упоминания и цитацию в произведениях писателя книги Екклесиаста — памятника древнееврейской словесности, входящего в состав Священного Писания иудеев (ТаНаХа) и христиан (Ветхого Завета). Екклесиаст (он же: Когелет, книга Проповедника) принадлежит к числу учительных книг Ветхого Завета и располагается в александрийском каноне² между книгами Притчей и Песни Песней, приписываемых израильскому царю Соломону. Лесков активно обращался к тексту книги на протяжении всего творческого пути. Ученые анализировали соответствующие цитаты и реминисценции в произведениях «Обойденные» (1865), «Захудалый род» (1874), «Дневник Меркула Праотцева» (1874), «На краю света» (1875–1876), «Томленье духа» (1890), «Чертовы куклы» (1890) [Озерова], [Сатарова], [Шелаева]. Изу-

¹ «... книгой, процитируемой больше всех других и которую он, по-видимому, знал лучше всех других, была Библия, и Ветхий и Новый Завет, включая и некоторые апокрифические рассказы» [Еекман: 298].

² Александрийский канон — канон книг Священного Писания иудеев, устанавливающий корпус и расположение текстов и положенный в основу христианского канона Ветхого Завета.

чив опубликованные тексты Лескова и комментарии к ним в наиболее авторитетных собраниях сочинений [Лесков 1996–2021; Лесков 1989], продолжим список произведений, в которых писатель явно или скрыто отсылает к книге Проповедника: «Божедомы» (Эпизоды из неоконченного романа «Чающие движения воды»; 1868), «На ножах» (1870–1871), «Смех и горе» (1871), «Штопальщик» (1882), «Печерские антики» (1883), «Совместители» (1884), «Интересные мужчины» (1885), «Антука» (1888), «Юдоль» (1892), «Заячий ремиз» (написан в 1894, впервые опублик. 1917). Цитация Екклесиаста обнаружена и в нефикциональной прозе Лескова: в «Русских общественных заметках» (от 03.08.1869), «Наблюдениях и заметках» (от 12.12.1871), статьях «Карикатурный идеал. Утопия из церковно-бытовой жизни» (1877), «О куфельном мужике и проч.» (1886), письмах И. С. Аксакову (от 01.01.1875), А. С. Суворину (от 29.09.1886), Л. Н. Толстому (от 20.06.1891).

Обратимся к истории изучения Екклесиаста, чтобы определить основные особенности книги и обозначить исследовательские подходы, сложившиеся ко второй половине XIX в. С XVIII – начала XIX в. в Европе, а впоследствии и в России среди религиозных критиков и богословов стал широко обсуждаться вопрос происхождения Екклесиаста [Олесницкий], [Поспелов], [Якимов]. Ученые указали на то, что пессимистический тон книги, ее диалектический характер, лингвистические особенности и прорывающий культурный и исторический фон делают невозможным атрибутирование Когелета X в. до н. э. Была поставлена под сомнение и традиционная концепция авторства книги, которая предполагала ее создателем царя Соломона. Обозначим существовавшие к середине XIX в. подходы к проблеме авторства на основе капитальных трудов М. А. Олесницкого [Олесницкий] и М. И. Рижского [Рижский]:

1. Когелет составлен из отрывков, написанных разными авторами, вследствие чего в нем выражены несходные, зачастую противоположные взгляды (Г. Гроций, И.-Х. Дедерлейн, Н. Павлюс, Р. Нахтигаль, Г. В. фон Герстенберг);

2. автором книги является один человек, однако впоследствии текст подвергся серьезной редакторской правке (Л. Бертольд, А. Кнобель, Ф. Умбрейт, Э. Герцфельд, Ф. Делич, П. Хаупт);

3. автор — один, а лексическое, тематическое, стилевое разнообразие книги объясняется:

3.1. продолжительностью работы над ее написанием (У. Уистон, К. Шмидт и др.);

3.2. родовый спецификой книги: она тяготеет к драматическому роду литературы, представляя собой диалог (Григорий Великий (Двоеслов), М. Пул, И. Г. Гердер, И. Эйхгорн и др.);

4. Екклесиаст написан одним автором и является гармоническим целым, а его «пестрота» является приемом, направленным на раскрытие глубины идеи, заложенной в книгу (М. А. Олесницкий, Г. Л. Гинсберг, А. Г. Райт).

В библеистике XIX в. не раз затрагивалась проблема канонического достоинства книги Проповедника [Дагаев], [Олесницкий]. Отмечалось, что некоторые раввины усматривали в книге интенцию к еретичеству: ими критиковалась противоречивость ее высказываний, несогласованность с притчами царя Давида, отца Соломона, черты саддукейского учения, среди которых наслаждение земными благами (Еккл 3:12, 8:15, 10:9), отрицание вечной жизни (Еккл 3:19, 3:22) и др. Тем не менее Екклесиаст вошел в состав ТаНаХа — это решение подкреплялось не только авторитетом имени Соломона, но и высокой оценкой мудрости, изложенной в книге [Ядаим: 625–627].

До XIX в. книга Екклесиаста переводилась для церковного и домашнего чтения на церковнославянский язык — традиционный язык богослужения Русской Православной Церкви. В начале XIX в. мысль о переводе Библии на общедоступный русский язык не только перестала казаться святотатственной, но и представлялась необходимой для распространения Священного Писания, поэтому были предприняты попытки частных переводов Библии на русский [Алексеев: 9–28]. Однако переводы книги Проповедника в то время или остались незавершенными, или не были изданы. Оживление ситуации произошло в 1860-е гг., когда были опубликованы переводы И. П. Максимовича [Екклесиаст 1861] и архим. Макария [Екклесиаст 1863], а в начале 1870-х — перевод Д. А. Хвольсона [Екклесиаст 1871]. Эти труды издавались в журналах «Христианское чтение» и «Православное обозрение». Тогда же в России появлялись объемные критические и богословские работы относительно происхождения, толкования и переводов книги. В 1873 г. вышел в свет труд М. А. Олесницкого «Книга Екклесиаст. Опыт критико-эзегетического исследования» [Олесницкий], в котором автор знакомил читателей с различными гипотезами происхож-

дения Когелета, многовековой историей его толкований, а также с собственной интерпретацией текста. В том же году была опубликована книга И. А. Чистовича «История перевода Библии на русский язык», несколько фрагментов которой были посвящены проблеме канонизации Екклесиаста [Чистович]. В 1887 г. в «Христианском чтении» вышла статья библеиста И. С. Якимова, посвященная происхождению, интерпретации и переводам Когелета [Якимов].

Установим источники, по которым Лесков цитировал книгу Екклесиаста. В романе «Обойденные» (1865) и статье «Русские общественные заметки» (1869) Лесков пишет: «Ничто не ново под луною» [Лесков 1998. 5: 278] [Лесков 1998. 8: 106]. Это выражение было распространено в интеллектуальной среде XIX в. На русском языке оно впервые появилось в художественном переложении Екклесиаста, сделанном Н. М. Карамзиным — «Опытная Соломонова Мудрость, или Мысли, выбранные из Экклесиаста» (1796), — где он писал: «Ничто не ново под луною: / Что есть, то было, будет ввек...» [Карамзин: 201]. В основе произведения лежит перевод Вольтера «*Precis de l'Ecclésiaste*» [Вендитти: 130–157]. Для современников главного русского сентименталиста образ луны был нов и вызывал непонимание¹: С. Н. Глинка писал: «Случилось мне читать Озерецковскому перевод Карамзина Вольтерова Экклесиаста. При чтении стихов “Ничто не ново под луною” он вспыхнул от досады и проворчал: “Неправда, не под луною, а под солнцем. На что так срамить землю?”» [Глинка: 99]. Этим произведением Карамзин начинал прижизненные собрания сочинений, что не могло пройти бесследно для литературного процесса: выражение стало частью культурного фона. В 1830-е гг. эту цитату приводит в ряде своих статей В. Г. Белинский [Белинский 1: 150; 2: 7, 9: 12], хотя критик не упоминает имени поэта, в рецензии на сказку «Конек-Горбунок» он заимствует две строки из карамзинского переложения Екклесиаста. В 1860-е гг., в преддверии столетнего юбилея поэта, фразу «ничто не ново под луной» цитируют М. Е. Салтыков-Щедрин [Салтыков-Щедрин: 228] и Н. Г. Чернышевский [Чернышевский: 883], последний не

¹ В прочих существовавших к 1860-м гг. переводах и художественных переложениях Екклесиаста (Еккл. 1: 9) образ луны не встречался. Ср.: «В подсолнечной премены нет» [Херасков: 8], «нѣтъ ничего новаго подь солнцемъ» [Екклесиаст 1861: 3]; «нѣтъ ничего новаго подь этимъ солнцемъ» [Екклесиаст 1863: 17].

ограничивается ей и, как ранее Белинский, приводит несколько строк сочинения Карамзина. В это же время ее *буквально точно* воспроизводит и Лесков.

Трудно допустить, что такой книжник, как Лесков, цитируя Екклесиаст по Карамзину, не подозревал источник цитаты. Косвенным подтверждением того, что при обращении к строке «ничто не ново под луною» в романе «Обойденные» писатель помнил о ее карамзинском происхождении, свидетельствует «сентименталистский» контекст, в который Лесков ее погружает. В романе эта цитата является частью монолога Долинского — главного героя произведения — в котором он старается принять смерть своей возлюбленной Доры. Обнаруживаются сближения между этим эпизодом («Настала ночь. <...> Что умерло, то спит и не придет повернуть рукой забытую страницу») и поэзией Карамзина. Лесковский текст ритмически организован и глубоко лиричен, в нем распознаются главные черты сентиментализма — сочетание мотивов юности, (преждевременной) смерти и воспоминания, ночной хронотоп, меланхолическое настроение, «пейзаж души». Все это сопутствует размышлениям героя о суете и скоротечности жизни — главных темах книги Екклесиаста. Не сходит с уст Долинского имя царя Соломона, и воспоминание о судьбе библейского царя ставится в параллель судьбе Доры, самого героя и далее — любого человека: «Где Соломон, где эта савская царица, которая так рабски шла, чтоб положить свою дань благоговения к ногам царя и исполина мысли?.. Неужто исчезли оба — и этот царь, и эта савская царица исчезли!.. Точно так исчезли, как дуралей какой-нибудь, который разгрызал лесной орех с гораздо большим размышлением, чем повторял понаслыху, что “ничто не ново под луною”? Не может быть. Приходило ли этому дураку в голову, какой страшный смысл, какая ужасная загадка положена в этих пяти словах, которые болтал его язык? <...> Козявки нет — летает мотылек; умерший Соломон не нов был под луною и каждый так... Быть может, я уж жил когда-то? <...> Быть может, что Картуш шнырял когда-нибудь лисицей прежде, иль волком рыщет нынче Пугачев; Иуда в кардинальской шапке, а Каин в обществе моравских братьев, и на одной ноге в лесу стоит Ньютон дервишем...» [Лесков 1998. 5: 278]. Другим маркером, подчеркивающим возможность сопоставления текстов Лескова и Карамзина, является связь мотивно-тематического комплекса Екклесиаста с обра-

зом луны:¹ у Лескова он появляется сначала в виде месяца и лунного света, который предвворяет монолог Долинского, затем — в сравнении краткости жизни Доры с жизнью мотылька, которому «та же самая луна ему совсем иной показалась, когда, дней пять назад, под листочком он спал бескрылою козявкой» [Лесков 1998. 5: 277].

С 1870-х гг. писатель расширяет диапазон цитируемых сентенций. Образ луны в них больше не встречается, за исключением фельетона «Вечная память на короткий срок» (1882), в котором писатель обращается к Екклесиасту вновь через посредство рассмотренного выражения.

Установление источника, по которому Лесков цитирует ветхозаветную книгу в большинстве произведений 1870–1880-х гг., представляет собой серьезную проблему. Лесков редко приводит цитаты дословно; как правило, они или являются неточными (могут опускаться, заменяться или переставляться слова) или представляют собой пересказ. Кроме того, большая часть личной библиотеки писателя была утрачена. В дошедшей до нас части найдены две книги, содержащие в себе полный или частичный перевод Ветхого Завета: «Сто двадцать четыре священные истории, из Ветхого и Нового завета» и «Книги Священного Писания Ветхого Завета» [Афонин: 130–158], однако оба текста не могут являться источниками, поскольку в первом отсутствует перевод Екклесиаста, а во втором отметим существенные несовпадения с цитатами в произведениях Лескова. Так, строка (Еккл. 1: 4) в эпиграфе хроники «Захудалый род» записана как «Род проходит и род приходит, земля же вовек пребывает» [Лесков 2016. 13: 7], тогда как в «Книгах Священного Писания Ветхого Завета»: «Одно поколение отходит, другое поколение приходит; а земля во веки пребывает» [Книги Священного Писания: 2, 3]. Цитата, приведенная Лесковым в хронике, практически идентична соответствующей строке Синодального перевода: «Родъ проходитъ, и родъ приходитъ, а земля пребываетъ вѣки» (Еккл. 1: 4) — однако издание полного текста этого перевода датируется 1876 г., т. е. двумя годами позднее публикации хроники. Приходим к выводу, что в этом случае писатель читал и использовал перевод учительных книг (в том числе Екклесиаста), вышедший из печати в 1872 г. — во время работы Лескова над «Заху-

¹ О важности образа луны в поэтической системе романа «Обойденные» уже писали исследователи [Евдокимова, Самойлова: 73–79].

далым родом» — и позднее ставший частью Синодального перевода [Чистович: 322–323].

В произведениях Лескова 1880-х гг. обнаруживаем еврейскую номинацию книги Екклесиаста — *Когелет*. Так, в рассказе «Штопальщик» читаем: «...мы завели речи на царственные темы Когелета о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете» [Лесков 1958. 7: 96]. Это напрямую связано с особенностями Синодального перевода Библии, одним из достоинств которого библеисты называют стремление к сохранению в нем характерных черт масоретского текста (т. е. древнееврейского текста ТаНаХа) при учете Септуагинты — греческого перевода Ветхого Завета [Алексеев].

В 1890-е гг. писатель цитировал Екклесиаст по Синодальному переводу. В рассказе «Томленье духа» эпитафией является строка «Все это томленье духа» [Лесков 1989: 392], которая практически совпадает с соответствующим местом Синодального перевода — «...все — суета и томление духа!» (Еккл. 1: 14). В других переводах Екклесиаста на церковнославянский и русский языки словосочетание «томленье духа» не встречается.

Обозначим причины, по которым Лескову могла быть известна современная ему богословская повестка, а именно вопросы перевода, атрибуции и толкования книги Проповедника. Он активно сотрудничал с журналами «Христианское чтение», «Православное обозрение» и «Церковно-общественный вестник», где в то же время публиковались переводы Екклесиаста и материалы о нем. В произведении «Интересные мужчины», в котором писатель вольно воспроизвел одну из сентенций Екклесиаста, он упомянул профессора Г. П. Павского, одного из переводчиков книги Проповедника. Исходя из переписки, опубликованной в собрании сочинений писателя в одиннадцати томах, видно, что Лесков уделял внимание критико-богословскому наследию еп. Филарета (Филаретова),¹ автора объемной работы, которая была посвящена вопросам происхождения и толкования Екклесиаста, в том числе обзору современных концепций западных богословов относительно этих вопросов. Кроме того, в статье «Таинственные книги» (1873) Ле-

¹ См. письма И. С. Аксакову [Лесков 1958. 10: 361, 374, 376], Ф. А. Терновскому [Лесков 1958. 11: 259], С. Н. Шубинскому [Лесков 1958. 11: 262] и др.

сков встал на защиту диссертации еп. Филарета «О происхождении книги Иова», не допущенной «на диспут», поскольку «киевский ректор доказывает-де, что никакого Иова никогда в действительности не было; что Иов есть лицо вымышленное, а вся книга его имени не иное что как философская беседа, как, например, известные беседы Сократа и Платона» [Лесков 2014. 12: 329]¹. Писатель поддерживал связь с некоторыми профессорами Киевской и Петербургской духовной академии (С. П. Алферьевым, А. И. Предтеченским, И. Ф. Нильским, М. О. Кояловичем и др.). Все это указывает на то, что писатель мог читать обширный труд М. А. Олесницкого «Книга Екклесиаст...», изданный за год до первой публикации хроники «Захудалый род». Из более ранних толкований Екклесиаста писатель мог знать труды Оригена и М. Лютера в силу того, что их упоминания встречаются в текстах Лескова².

Таким образом, многочисленные обращения Лескова к книге Екклесиаста — цитаты и упоминания обнаруженные в шестнадцати художественных произведениях — свидетельствуют об интересе писателя к ветхозаветной книге. Установлено, что в России XIX в. широко освещался ряд проблем, связанных с атрибуцией, вхождением в канон, переводами и интерпретацией Когелета. Активная переводческая деятельность и появление ряда критико-богословских трудов, посвященных изучению и толкованию ветхозаветной книги, стали источниками знания Лескова о ней. Предпринятое сопоставление сентенций Екклесиаста с соответствующими им цитатами в фикциональном наследии писателя позволило установить переводы Священного Писания, которыми пользовался автор. В раннем творчестве Лесков цитировал ветхозаветную книгу, в точности воспроизводя строку переложения Карамзина (роман «Обойденные»). В период 1870-х гг., когда активно издавались переводы книги на русский язык, Лесков обращался к тексту, ставшему впоследствии частью Синодального перевода (хроника «Захудалый род»). В поздний же период Лесков использовал сам Синодальный перевод (рассказ «Томленья духа»).

¹ Имя еп. Филарета (Филаретова) появляется и в текстах Лескова 1880-х годов: «Борьба за преобладание» (1882), «Печерские антики» (1883).

² Например, в письмах И. С. Аксакову [Лесков 1958. 10: 370], В. Г. Черткову [Лесков 1958. 11: 328]; в произведениях «Скоморох Памфалон» [Лесков 1958. 8: 178] «Зимний день» [Лесков 1958. 9: 409]. По теме «Лесков и Ориген» см.: [Максимкин].

Изучение источниковедческого аспекта поэтики Лескова, в особенности в контексте его обращения к книге Екклесиаста, является одним из медиаторов для дальнейших исследований, поскольку позволяет углубить понимание эстетических основ творчества писателя. На основе сделанных открытий обозначим перспективные линии изучения. Отмечавшаяся богословами содержательная «пестрота» притч Екклесиаста соотносится с лесковской «мозаикой», в которой соприносятся разные, иногда противоречащие друг другу элементы: учеными установлены связи его поэтики, как с живописью Нового времени, так и с иконописью, как с драматическим искусством, так и с искусством литургии, как с «сократическим диалогом», так и с древнерусской литературой [Евдокимова], [Животягина], [Макаревич], [Петрова], [Столярова], [Уртминцева]. Яркий язык Лескова с его неологизмами, окказионализмами, заимствованиями и устаревшей лексикой также может быть соотнесен со стилистическим разнообразием книги Екклесиаста: библеисты находили в тексте следы влияния греческой культуры, большое количество заимствований из персидского, арамейского и греческого языков.

Лесков уделял особое внимание эстетике и метафизике сакрального слова: слово и изображение в его произведениях испытывают влияние законов библейского дискурса, восходят к особенностям восточной словесности. Вопросы генезиса лесковского стиля относятся к проблемному полю диалога «литературы» и «словесности» [Аверинцев: 13–75], объединяющего разнородные элементы поэтики писателя.

Список литературы

Источники

- Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: АН СССР, 1953–1959.
- Глинка С. Н.* Записки. СПб.: Русская старина, 1895. 380 с.
- Дагаев Н. К.* История ветхозаветного канона. СПб.: Тов-во «Печатня С. П. Яковлева», 1908. 273 с.
- Екклесиаст, или Проповедник / пер. архим. Макарий (Глухарев) // Православное обозрение. 1863. Т. 10. № 2. С. 17–34.
- Екклесиаст, или Проповедник: пер. И. П. Максимович // Христианское чтение. 1861. Т. 1. № 4. С. 3–28.
- Екклесиаст, или Проповедник: пер. с еврейского текста // Христианское чтение. 1871. Ч. 1. URL: http://biblia.russportal.ru/index.php?id=masor.spb.ekkl_sp01 (дата обращения: 10.03.2024).
- Карамзин Н. М.* Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклесиаста // *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. С. 201.
- Книги Священного Писания Ветхого Завета / пер. с евр. текста и изд. Обществом распространения Библии в Британии и в других странах. Лондон, 1875.
- Лесков Н. С.* Письмо Л. Н. Толстому. 8 апреля 1894 года // *Толстой Л. Н.* Переписка с русскими писателями: в 2 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 2. С. 301.
- Лесков Н. С.* Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Терра, Книговек, 1996–2021.
- Лесков Н. С.* Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1957.
- Лесков Н. С.* Собр. соч.: в 12 т. М.: Правда, 1989.
- Олесницкий М.* Книга Екклесиаст. Опыт критико-экзегетического исследования. Киев, 1873. 396 с.
- Поспелов И.* О рус. переводе книги Екклесиаст // Прибавление к изданию творений Святых Отцов в русском переводе. 1863. № 22. С. 637–673.
- Салтыков-Щедрин М. Е.* Наша общественная жизнь. <VIII. Январь 1864 года // *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: в 20 т. М.: Худож. лит., 1968. Т. 6. С. 224–256.
- Херасков М. М.* Почерпнутые мысли из Экклесиаста. М.: Университетская тип. Н. Новикова, 1786. 24 с.
- Чернышевский Н. Г.* Не начало ли перемены? // *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: ГИХЛ, 1950. Т. 7. С. 855–889.
- Чистович И. А.* История перевода Библии на русский язык. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. 347 с.
- Ядаим // Талмуд. Мишна и Тосефта / пер. и комм. Н. Переферковича: в 7 т. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1904. Т. 6. С. 625–627.
- Якимов И. С.* О происхождении книги Екклесиаст // Христианское чтение. 1887. № 3–4. С. 197–216.

Исследования

- Алексеев А. А.* Библейские исследования в России в XIX и XX вв. // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2014. №1 (36). С. 9–28. <https://doi.org/10.15382/sturIII201436.9-28>

Афонин Л. Н. Книги из библиотеки Лескова в Государственном музее И. С. Тургенева // Из истории русской литературы и общественной мысли. 1860–1890-е гг. / под ред. А. Н. Дубовиков, С. А. Макашин. Л.: Наука, 1977. С. 130–158.

Венитти М. Истолкование мотивов из Экклезиаста в XVIII веке: Вольтер в переводах Хераскова и Карамзина // XVIII век. СПб.: Наука, 2008. Сб. 25. С. 130–157.

Данилова Н. Ю. Творчество Н. С. Лескова в оценке русской церковной критики XIX – начала XX вв. // Культура и история: Материалы межвузовских научных конференций «Культура и история» (2004–2007) / под ред. Ю. К. Руденко, А. А. Шелаевой, В. В. Горячих, М. А. Шибаева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. С. 210–225.

Дмитриев А. П. Н. С. Лесков и Н. П. Гиляров-Платонов: моменты единомыслия и разногласий в публицистике современников // Вестник Костромского государственного университета. 2018. Т. 24. № 2. С. 111–115.

Душенко К. В. Хорошо забытое старое, или ничто не ново под луной // Литературоведческий журнал. 2021. № 1 (51). С. 64–76.

Евдокимова О. В., Самойлова Е. П. Основы и доминанты поэтики Н. С. Лескова // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2021. № 5. С. 73–79. <https://doi.org/10.20339/PhS.5-21.073>

Животягина С. А. Феномен визуализации и его художественные функции в романе-хронике Н. С. Лескова «Захудалый род» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2009. № 1. С. 35–38.

Макаревич О. В. Ритмы и вариации: еще раз о поэтике «Византийских легенд» Н. С. Лескова // Русская литература. 2022. № 4. С. 153–162. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2022-4-153-162>

Максимкин В. А. Н. С. Лесков и Ориген: к реконструкции опыта взаимодействия и отгалкивания // Уральский филологический вестник. Серия: Драфт: молодая наука. 2014. № 5. С. 6–33.

Н. С. Лесков в контекстах истории культуры: коллективная монография / отв. ред. О. В. Евдокимова. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 334 с.

Неизданный Лесков: в 2 кн. / отв. ред. К. П. Богаевская, О. Е. Майорова, Л. М. Розенблюм. М.: Наследие, 1997. Кн. 1. 654 с.

Озерова Н. И. Мудрое смирение: влияние книги Екклесиаста на концепцию смысла бытия в хронике Н. С. Лескова «Захудалый род» // Проблемы исторической поэтики. 2005. № 7. С. 381–399.

Петрова А. Л. Диалог в творчестве Н. С. Лескова: контекст и поэтика: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2014. 25 с.

Рижский М. И. Книга Экклезиаста: В поисках смысла жизни. Новосибирск: Наука, 1995. 224 с.

Сатарова С. Н. Темы и образы книги Екклесиаста в творчестве Н. С. Лескова // Студент — исследователь — учитель. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. С. 1573–1579.

Столярова И. В. На пути к преображению: человек в прозе Н. С. Лескова. СПб.: СПбГУ, 2012. 332 с.

Уртминцева М. Г., Шавлюк О. Ю. Древнерусский Пролог и особенности его интерпретации в языке Н. С. Лескова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2022. № 4. С. 198–203. https://doi.org/10.52452/19931778_2022_4_198

Федотова А. А. «Блаженны алчущие и жаждущие правды»: библейские аллюзии в повести Н. С. Лескова «Юдоль» // Два века русской классики. 2022. Т. 4, № 2. С. 134–149. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-2-134-149>

Шелаева А. А. «Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия...» (концепт «старость» в хронике Николая Лескова «Захудалый род» и романе Юзефа Игнация Крашевского «Графиня Козель») // Slavica Wratislaviensia. 2016. Т. 163. № 12. С. 105–117.

Екман Т. Об источниках и типах стиля Н. С. Лескова // Revue des etudes slaves. 1986. Т. 58. Ф. 3. Р. 293–306.

References

Alekseev, A. A. “Bibleiskie issledovaniia v Rossii v XIX i XX vv.” [“Biblical Studies in Russia in the 19th and 20th Centuries”]. *Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia III: Filologiya*, no. 1 (36), 2014, pp. 9–28. <https://doi.org/10.15382/sturIII201436.9-28> (In Russ.)

Afonin, L. N. “Knigi iz biblioteki Leskova v Gosudarstvennom muzee I. S. Turgeneva” [“The Books of Leskov’s Library in the State Museum of Turgenev”]. Dubovikov, A. N., and S. A. Makashin, editors. *Iz istorii russkoi literatury i obshchestvennoi mysli. 1860–1890-e gg. [From the History of Russian Literature and Social Thought. 1860–1890s]*, vol. 87. Leningrad, Nauka Publ., 1977, pp. 130–158. (In Russ.)

Venditti, M. “Istolkovanie motivov iz Ekkleziasta v XVIII veke: Vol’ter v perevodakh Kheraskova i Karamzina” [“Interpretation of Ecclesiastical Motifs in the 18th Century: Voltaire in the Translations by Kheraskov and Karamzin”]. *XVIII vek [18th Century]*, issue 25. St. Petersburg, Nauka Publ., 2008, pp. 130–157. (In Russ.)

Danilova, N. Iu. “Tvorchestvo N. S. Leskova v otsenke russkoi tserkovnoi kritiki XIX – nachala XX vv.” [“N. S. Leskov’s Work in the Evaluation of Russian Church Criticism of the 19th – Early 20th Centuries”]. Rudenko, Iu. K., A. A. Shelaeva, V. V. Goriachikh, and M. A. Shibaev, editors. *Kul’tura i istoriia: Materialy mezhvuzovskikh nauchnykh konferentsii “Kul’tura i istoriia” (2004–2007) [Culture and History: Materials of Interuniversity Scientific Conferences “Culture and History” (2004–2007)]*. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2009, pp. 210–225. (In Russ.)

Dmitriev, A. P. “N. S. Leskov i N. P. Giliarov-Platonov: momenty edinomyслиa i raznoglasii v publitsistike sovremennikov” [“N. S. Leskov and N. P. Gilyarov-Platonov: Moments of Unanimity and Disagreement in the Journalism of Contemporaries”]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*, vol. 24, no. 2, 2018, pp. 111–115. (In Russ.)

Dushenko, K. V. “Khorosho zabytoe staroe, ili nictio ne novo pod lunoi” [“Well-Forgotten Old, or Nothing New Under the Moon”]. *Literaturovedcheskii zhurnal*, no. 1 (51), 2021, pp. 64–76. (In Russ.)

Evdokimova, O. V., and E. P. Samoiloova. “Osnovy i dominanty poetiki N. S. Leskova” [“Fundamentals and Dominants of Poetics by N. S. Leskov”]. *Filologicheskie nauki*.

Nauchnye doklady vysshei shkoly, no. 5, 2021, pp. 73–79. <https://doi.org/10.20339/PhS.5-21.073> (In Russ.)

Zhivotiagina, S. A. “Fenomen vizualizatsii i ego khudozhestvennye funktsii v romane-khronike N. S. Leskova ‘Zakhudalyi rod.’” [“The Phenomenon of Visualization and Its Artistic Functions in the Chronicle Novel by N. S. Leskov ‘A Run-down Family’.”] *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika*, no. 1, 2009, pp. 35–38. (In Russ.)

Makarevich, O. V. “Ritmy i variatsii: eshche raz o poetike ‘Vizantiiskikh legendakh’ N. S. Leskova” [“Rhythms and Variations: Once Again About the Poetics of ‘Byzantine Legends’ by N. S. Leskov”]. *Russkaia literatura*, no. 4, 2022, pp. 153–162. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2022-4-153-162> (In Russ.)

Maksimkin, V. A. “N. S. Leskov i Origen: k rekonstruktsii opyta vzaimodeistviia i ottalkivaniia” [“N. S. Leskov and Origen: Towards the Reconstruction of the Experience of Interaction and Repulsion”]. *Uralskii filologicheskii vestnik. Seriya: Draft: molodaia nauka*, no. 5, 2014, pp. 26–33. (In Russ.)

Evdokimova, O. V., editor. *N. S. Leskov v kontekstakh istorii kul'tury: kollektivnaia monografiia* [N. S. Leskov in the Context of Cultural History: Collective Monograph]. St. Petersburg, Herzen State Pedagogical University Publ., 2021. 334 p. (In Russ.)

Bogaevskaia, K. P., O. E. Maiorova, and L. M. Rozenblium, editors. *Neizdannyi Leskov: v 2 kn.* [Unpublished Leskov: in 2 books], book 1. Moscow, Nasledie Publ., 1997. 654 p. (In Russ.)

Ozerova, N. I. “Mudroe smirenie: vliianie knigi Ekklesiasta na kontseptsiiu smysla bytiia v khronike N. S. Leskova ‘Zakhudalyi rod.’” [“Wise Humility: The Influence of the Book of Ecclesiastes on the Concept of the Meaning of Being in the Chronicle of N. S. Leskov ‘A Run-Down Family’.”] *Problemy istoricheskoi poetiki*, no. 7, 2005, pp. 381–399. (In Russ.)

Petrova, A. L. *Dialog v tvorchestve N. S. Leskova: kontekst i poetika* [Dialogue in the Works of N. S. Leskov: Context and Poetics: PhD Thesis, Summary]. St. Petersburg, 2014. 25 p. (In Russ.)

Rizhskii, M. I. *Kniga Ekkleziasta: V poiskakh smysla zhizni* [The Book of Ecclesiastes: In Search of the Meaning of Life]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1995. 224 p. (In Russ.)

Satarova, S. N. “Temy i obrazy knigi Ekklesiasta v tvorchestve N. S. Leskova” [“Themes and Images of the Book of Ecclesiastes in the Works of N. S. Leskov”]. *Student — issledovatel' — uchitel'*. St. Petersburg, Herzen State Pedagogical University Publ., 2021, pp. 1573–1579. (In Russ.)

Stoliarova, I. V. *Na puti k preobrazheniiu: chelovek v proze N. S. Leskova* [On the Path to Transformation: Man in the Prose of N. S. Leskov]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2012. 332 p. (In Russ.)

Urtmintseva, M. G., and O. Iu. Shavliuk. “Drevnerusskii Prolog i osobennosti ego interpretatsii v iazyke N. S. Leskova” [“Old Russian Prologue and Features of Its Interpretation in the Language of N. S. Leskov”]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*, no. 4, 2022, pp. 198–203. https://doi.org/10.52452/19931778_2022_4_198 (In Russ.)

Текстология. Источниковедение
С. Н. Сатарова. Лесков и Екклесиаст:
источниковедческий аспект проблемы

Fedotova, A. A. “Blazhenny alchushchie i zhazhdushchie pravdy’: bibleiskie alliuzii v povesti N. S. Leskova ‘Iudol’.” [“‘Blessed Are Those Who Hunger and Thirst for Truth’: Biblical Allusions in N. S. Leskov’s Novella ‘The Vale.’”] *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 134–149. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-2-134-149> (In Russ.)

Shelaeva, A. A. “‘Prishli gody, v kotorykh net mne bol’she udovol’stviia...’ (koncept ‘starost’ v khronike Nikolaia Leskova ‘Zakhudalyi rod’ i romane Iuzefa Ignatsiia Krashevskogo ‘Grafinia Kozel’)” [“‘The Years Have Come in Which I Have no More Pleasure...’ (the Concept of ‘Old Age’ in the Chronicle of Nikolai Leskov’s ‘A Run-Down Family’ and the Novel by Jozef Ignacy Kraszewski ‘Countess Kozel’)”]. *Slavica Wratislaviensia*, vol. 163, no. 12, 2016, pp. 105–117. (In Russ.)

Eekman, T. “Ob istochnikakh i tipakh stilia N. S. Leskova” [“About the Sources and Types of N. S. Leskov’s Style”]. *Revue des etudes slaves*, vol. 58, f. 3, 1986, pp. 293–306. (In Russ.)

© 2024. А. Л. Казин

Российский институт истории искусств
г. Санкт-Петербург, Россия

Открытая самобытность как преодоление нигилизма¹

Аннотация: Статья представляет рецензию на монографию доктора филологических наук Капиталины Антоновны Кокшениевой, посвященную культурно-философским аспектам наследия Н. Н. Страхова. Рецензируемая книга является инновационным исследованием, в котором связываются проблемы нигилизма и деградации идеи личности, кризиса рациональности в европейской философской культуре последней трети XIX в. В монографии впервые рассмотрено наследие К. С. Станиславского в контексте теории «органического искусства». Исследование характеризуют как новые подходы, так и междисциплинарная основательность. Опираясь на концепции понимания человека, национальной природы души, созданные русскими философами второй половины XIX в., автор определяет тот круг национальных идеалов, который выработал Н. Н. Страхов в «Борьбе с Западом в нашей литературе», и который является фундаментальным, вечно актуальным для русской культуры. Исследование К. А. Кокшениевой убедительно доказывает, что только метафизический метод позволяет понять культурологию Н. Н. Страхова и близкий ему круг художников-творцов и мыслителей-творцов.

Ключевые слова: Н. Н. Страхов, Ап. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, К. С. Станиславский, П. Я. Чаадаев, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, нигилизм, национальные идеалы, самосознание, цивилизация.

Информация об авторе: Александр Леонидович Казин, доктор филологических наук, профессор, Российский институт истории искусств, Исаакиевская пл., д. 5. 190000 г. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: spb@artcenter.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 02.04.2024

Дата одобрения статьи рецензентами: 27.06.2024

Дата публикации статьи: 25.09.2024

Для цитирования: Казин А. Л. Открытая самобытность как преодоление нигилизма // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 3. С. 256–267. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-256-267>

¹ Рецензия на книгу: Кокшениева К. А. Культурологическая парадигма в наследии Н. Н. Страхова: идеалы и внутренние кризисы культуры. М.: Институт Наследия, 2024. 368 с.



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 256–267. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 6, no. 3, 2024, pp. 256–267. ISSN 2686-7494

Book Review

© 2024. Alexander L. Kazin
Russian Institute of Art History
St. Petersburg, Russia

Open Originality as Overcoming Nihilism¹

Abstract: The article reviews the monograph by Kapitalina Antonovna Koksheneva, DSc in Philology, dedicated to the cultural and philosophical aspects of N. N. Strakhov's legacy. The book under review is an innovative study that links the problems of nihilism and devaluing of the idea of personality, and the crisis of rationality in the European philosophical culture of the last third of the 19th century. The monograph examines the legacy of K. S. Stanislavsky in the context of the theory of "organic art." The study is characterized by both new approaches and interdisciplinary thoroughness. Based on the concepts of understanding man and the national nature of the soul, created by Russian philosophers of the second half of the 19th century, the author defines the range of national ideals that N. N. Strakhov developed in "The Struggle with the West in Our Literature," and which is fundamental, eternally relevant for Russian culture. The research of K. A. Koksheneva convincingly proves that only the metaphysical method allows us to understand the cultural studies of N. N. Strakhov and the circle of artists-creators and thinkers-creators close to him.

Keywords: N. N. Strakhov, Ap. A. Grigoriev, F. M. Dostoevsky, K. S. Stanislavsky, P. Ya. Chaadaev, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy, nihilism, national ideals, self-awareness, civilization.

Information about the author: Alexander L. Kazin, DSc in Philosophy, Professor, Russian Institute of Art History, Isaakiyevskaya Sq., 5, 190000 St. Petersburg, Russia.

E-mail: spb@artcenter.ru

Received: April 02, 2024

Approved after reviewing: June 27, 2024

Published: September 25, 2024

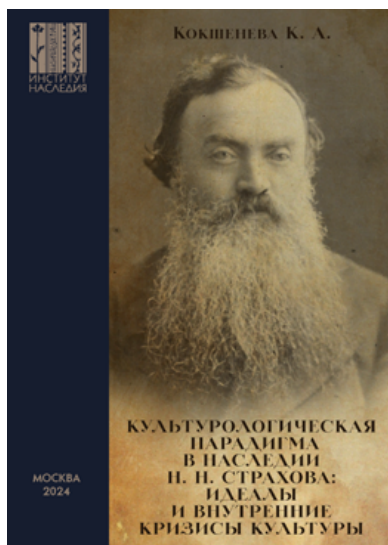
For citation: Kazin, A. L. "Open Originality as Overcoming Nihilism." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 6, no. 3, 2024, pp. 256–267. (In Russ.)
<https://doi.org/10.22455/2686-7494-2024-6-3-256-267>

¹ Book review: Koksheneva, K. A. Cultural Paradigm in the Legacy of N. N. Strakhov: Ideals and Internal Crises of Culture. Moscow, Institute of Heritage Publ., 2004. 368 p. (In Russ.)

В последние два десятилетия наследие одного из самых глубоких философов и культур-критиков «века классиков» Николая Николаевича Стрехова (1828–1896) привлекает устойчивое внимание филологов и историков русской культуры, публицистов и культурологов. Гуманитарный контекст уже нашего времени делает многие идеи Стрехова чрезвычайно актуальными. Автор рецензируемой монографии — Капиталина Антоновна Кокшенева — является «действующим лицом» современной культуры: как арт-критик она пишет о театре, литературе, кино, и ее понимание актуальности наследия Стрехова не является только данью исследовательской традиции. Вопрос о самопознании, понимании «себя», «своего», «отеческого», истоком которого является *вера в Россию* — существенная часть размышлений философа-классика Стрехова, которые исследуются автором монографии в широком литературном и философском контексте 1860–1880-х гг., названных Стреховым «нигилистической эпохой» (со своей историей нигилистических учений и разными ее периодами — от власти теорий до террора — «практического нигилизма»).

«...Эти мысли, — писал о Н. Н. Стрехове его младший современник В. В. Розанов, — отличаются чрезвычайною сложностью и тонкостью, они трудно усвоимы — и это несмотря на совершенную прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно выражены, но сами по себе, именно как мысли» [Розанов: 7]. Сегодня стреховские задачи — *правильно поставить вопрос* и вывести мысль к свету ясного сознания — по-прежнему являются актуальными, поскольку современная эпоха «мысли ясной благодать» ценит не больше, чем многие современники-оппоненты Стрехова.

Структура работы К. А. Кокшеневой, в которой рассматриваются такие блоки вопросов как «Творчество Н. Н. Стрехова в русской интеллектуальной истории второй половины XIX века (проблема экспансии нигилизма и деградации идеи личности)», «Органическое искусство»



как центральная парадигма русской культуры XIX века: Ап. А. Григорьев, Н. Н. Страхов, К. С. Станиславский», «Н. Н. Страхов и национальная метафизика: культурный идеал и подлинность человеческого существования» — сама структура позволяет увидеть научный масштаб работы и ее оригинальность.

В центре всех культур-философских рассуждений Страхова (будь то работы по физиологии и философии или публицистика с литературной критикой) стоит *вопрос о человеке*, и более того — постижение собственно «человеческого в человеке». «Страховский метод, — считает исследователь, — всегда опирался на верное понимание проблемы, но его понимание носило лично-национальный характер, что свойственно в принципе для философской культуры “века классиков”. Носители современных культурных практик как раз и утратили эти навыки» [Кокшенева: 30]. Мы утратили такие *страховские доминанты* как понимание «мира как целого»; утратили личный взгляд, укорененный в народности; утратили умный рационализм, художественно-эстетические и метафизические рефлексии, заменив их «энергиями», дешевой мистикой и холодом инферно.

Внимание к человеку для Страхова, настаивает исследователь, означало рационально-интуитивное понимание вопроса личностной и

национальной сущности человека (художника), внешнего и внутреннего в нем, его движения к пониманию «своего» или влияния на него новейших модных тенденций, среди которых Страхов-критик выделял нигилизм. Автор исследования доказывает, что проблема нигилизма во всей ее полноте в истории отечественной и современной мысли не была лучше поставлена и не была глубже Страхова разрешена: «Нигилизм как кризисное явление, безусловно, может обладать разной исторической “физиономией”, но при этом он сохраняет свое “неделимое ядро”, которое увидел и понял именно Н. Н. Страхов» [Кокшенева: 30, 31], в частности, в «Письмах о нигилизме» 1881 г. он первым объяснил природу «практического нигилизма» — террора.

Экспансия нигилизма в русскую мысль и культуру стала наиболее активна в «шестидесятые годы» XIX в., — годы возникновения непримиримых культурно-философских пространств. Автор отмечает, что в нашей интеллектуальной истории Страхов и Григорьев закладывали фундамент русского типа философствования и культурного самосознания; они считали своей программной задачей *понимание Россией самой себя*. Со стороны их оппонентов, в частности, Д. И. Писарева и иных критиков-демократов заметны другие интеллектуальные усилия: они были нацелены на «всё человечество», «мировые задачи», на опрощение реальности и подчинение культуры задачам социальным. Первый тип задач К. А. Кокшенева называет *метафизическим*, второй — *нигилистическим* и *утилитарным*: «Борьба между ними надолго, но в сущности навсегда, определила характер и особенности историко-культурной жизни в России» [Кокшенева: 38, 279]. И та, и другой (метафизика и нигилизм) характеризуют особенный тип философского мышления, не являясь философскими учениями. И. В. Киреевский стоял у истоков метафизики, П. Я. Чаадаев дал начала нигилизму (в «Философических письмах»).

Очень внимательно и подробно (с привлечением широкого культурного контекста) исследователь рассматривает понимание Н. Н. Страховым нигилизма, который одновременно и порождает культурный кризис, и сам по своему существу, проходя разные этапы своего развития, скатывается в кризис (в нигилистический взрыв террора). Страхов показал обширность нигилизма. Он может быть философским, историческим, культурным (литературным) и религиозным. Размышляя о философском нигилизме, Страхов говорит о кризисе европейского

рационализма; он доказывает, что нигилизм здесь представляет собой угрозу человеческому достоинству. «В обращении человека в ничто, в презрении к нему и к его достоинству и есть самая сущность и тайный смысл всего нигилизма», — утверждал русский философ и единомышленник Страхова П. А. Бакунин [Бакунин: 122].

В работе «Значение гегелевской философии в настоящее время» (напечатана в 1860 г.) Страхов пишет о популярной то время философии Бюхнера и Молешотта, о Гербарте, новошеллингианцах, неокантианцах и неофейербахянцах. «Все это *философское разнообразие* русский мыслитель оценивает как *проявление кризисности*, — пишет К. А. Кокшенева. — И сам кризис европейской философии, и источник кризиса Страхов видит именно *в отказе от философии Гегеля*, кроме того, говорит прямо, что все новые течения есть *результат разложения* философской системы Гегеля» [Кокшенева: 40]. Страховский призыв «вернуться к Гегелю» означал намерение двигаться и развиваться в духе философской *науки*, подлинной рациональности (ведь реальность *упорядочена*, значит, познается разумом и интуицией, в самом же мышлении содержится *рациональный компонент*). В это время из европейской культуры как раз и уходит господство рационализма, с ним борются — «эта вражда упорно ведется всеми: спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами. Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли» [Страхов 2007: 68]. Важнейший урок Страхова, актуальный и для современности, исследователь видит в том, что подлинный рационализм является фундаментальной культурной ценностью.

Критика Страховым материализма неизбежна, так как в основании ее лежит иное по отношению к его умозрению понимание человека. В книге «Мир как целое», рассматривая эволюционные процессы, он указывает на биологическое совершенство человека. Но отмечает, что этим человек не ограничивается, — философ говорит о биологическом совершенстве как *существенном, но и недостаточном принципе* понимания человека. Страхов доказывает связь биологического совершенства с духовным осознанием человеком себя самого. Снова Страхов видит метафизические причины в естественных науках (что было важно тогда и не менее значимо сейчас) и на *их основании* критикует материализм. Писаревскому «мыслящему реалисту» противостоит страховский «мыслящий человек», в котором все живет и все развивается

только в индивидуально-личном и через личное. В монографии особенно подчеркивается, что страховский *мыслящий человек* как субъект развития принадлежит не «мировой культуре», не «человечеству вообще», но «культуре конкретной и конкретному народу» [Кокшенева: 44, 45, 285]. Таким образом, Страхов критикует позитивизм, материализм, коллективизм и фальшивый универсализм как части нигилистического миропонимания и мировосприятия.

Научный, исторический и культурный нигилизм Страхов рассматривал на протяжении двух десятилетий (1860–1880-е гг.). С именем П. Я. Чаадаева связывает автор монографии проблему исторического нигилизма (отмечая ее актуальность и сегодня). В работе говорится, что «для Чаадаева у России нет настоящей истории, кроме “пустоты наших летописей”, — это его главная историко-нигилистическая мысль, которая в “Апологии” вывернута так, что именно жизнь русских *вне истории* является огромным преимуществом» [Кокшенева: 151]. «... Большая часть мира, — пишет Чаадаев, — подавлена своими традициями и воспоминаниями», мы же «пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, их заблуждения и суеверия» [Чаадаев 1991а: 150–151]. Чаадаевская Россия, представленная в цитате автором исследования — полное историческое, культурное и бытовое *ничто*, доказательством чего служат мысли Чаадаева и в его «Философических письмах», в которых он утверждает, что исторический опыт как «опыт времен» для нас не существует: «Поколения и века протекли без пользы для нас <...>. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничего у мира не взяли; мы не внесли в массу идей человеческих ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали прогрессу человеческого разума <...>; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины» [Чаадаев 1991b: 330].

Суть исторического нигилизма, подчеркивает автор монографии, всегда одна: клевета на Россию и русский народ. Но эта клевета будет восприниматься как указание на «ужасную правду» частью общества — она будет подхвачена «мыслящими реалистами» в 1860-е гг., а начале XX в. ее «революционно разовьет» Горький, говорящий в повести «Детство» о «свинцовых мерзостях дикой русской жизни», ставших распространенным *общим местом* отношения не только к «старой России».

И здесь также для исследователя важен урок Страхова, который смотрел на нашу историю с противоположной Чаадаеву позиции: как на дело «постепенного развития нашей самобытности» [Страхов 1883: 11]. Историческому нигилизму, по Страхову, может противостоять только устойчивая и твердая вера в Россию, она же, и как вера в себя, утверждает метафизическую реальность как таковую (которая конечно, отличается от наличной или сконструированной и «предъявленной действительности» нигилистов).

О культурном и научном нигилизме Страхов пишет в статьях сборника «Из истории литературного нигилизма», в книгах «Борьба с Западом в нашей литературе», «Дарвин» и «Мир как целое». В предисловии к первому выпуску «Борьбы с Западом» он утверждает: «Может быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения; но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу; от нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и животворных» [Страхов 1996: 30]. То есть здесь речь идет о духе, что веет с Запада, и если он нами будет усвоен, — то даст «примеры безумия». Что ему может противостоять? Только «другие начала», собственные, «свой дух». Автор монографии цитирует нашего современника Н. П. Ильина (1947–2023), который называл эти слова Н. Н. Страхова «программой национального самосохранения», которая дана им в трех книжках «Борьбы с Западом» [Ильин].

Страховская концепция культуры отнесена автором исследования к «органической», то есть в основании ее лежит тезис о том, что культуры «человечества вообще» как органического целого не существует. Органическое всегда национально. Сюда же входит и *культура мышления*. «Русский ум» у Страхова входит в систему национальных идеалов и служит конкретной задаче — «пониманию России», понимание и раскрытию своего типа рациональности (этот тип и принято называть «русским умом», как есть «ум немецкий» и пр.). Страховская культур-философия, публицистика и литературная критика, доказывает К. А. Кокшенева, были *конкретным воплощением его философии*, а философское понимание последовательно и ясно связано с вопросами национального самопонимания и идеей личности как они проявлялись в культуре (литературе). Для Страхова Пушкин «один есть полный образ русской души» [Страхов 1902: 356]. «Органическая критика

Григорьева и Страхова, — делает вывод автор исследования, — росла от пушкинского корня» [Кокшенева: 168].

Безусловная новизна главы об «органическом искусстве» состоит в рассмотрении «системы Станиславского» в контексте сложного *единства разнообразия*: от Ап. Григорьева с его *разнообразием местностей* до Страхова с его *множеством национальных миров* [Кокшенева: 147]. Всех троих объединяет и общая (национальная) природа творческого мышления, поскольку творчество культур-философов и творчество художника имеют общий корень.

Страховский вопрос о *самопонимании* автор исследования акцентирует как крайне важный для любого исторического периода национального бытия и говорит о самопонимании во всех трех главах с разных сторон. Причем *самопонимание* важно для страховской культур-философии как для отдельного человека (личности), так и для *понимания себя Россией*. В предисловии 1882 г. к первому изданию «Борьбы с Западом в нашей литературе» Страхов со всей ясностью говорит о проблеме «нашей духовной самобытности»: «Без сомнения, коренное зло состоит в том, что мы не умеем жить своим умом, что вся духовная работа, какая у нас совершается, лишена главного качества: прямой связи с нашей жизнью, с нашими собственными духовными инстинктами» [Страхов 1996: 30].

Впервые о *самопонимании* Страхов написал в 1863 г., поместив в журнал Ф. М. Достоевского «Время» статью «Роковой вопрос». Автор монографии подробно останавливается на анализе и самой статьи, и той «истории непонимания» современниками, которая привела к закрытию журнала Ф. М. Достоевского. Однако наиболее важной в логике исследования представляется страховская мысль, что польский вопрос (как «роковой вопрос») выявляет для нас важнейшую (духовную и культурную) «борьбу цивилизаций». Поляки считают себя *носителями европейской цивилизации*, а своей культурной миссией полагают борьбу с «русским варварством». На самом-то деле, русскому философу-классику уже тогда было понятны цивилизационные различия между Западом и Россией. Реальное знание о том, что говорят и думают о русских и России поляки, Страхов считает важным, но намного важнее, полагает он, «что мы сами думаем о себе»: «Наша история совершалась отдельно; мы не разделяли с Европою ни ее судеб, ни ее развития» [Страхов 2010: 39].

Полнота изучения «культурологической парадигмы Страхова» требовала от исследователя показать его культур-философский значимый масштаб как со стороны «отрицательной задачи» (критики всех типов нигилизма), так и «положительной». Автор убедительно доказал, что Страхов последовательно развивал и отстаивал идею «нашей самобытности» и «наших идеалов», «среди которых “русский ум” ... есть существенная часть идеала личности», а собственной национальной культуре, за ходом которой он внимательно всю жизнь следил, Страховым всегда отдавался приоритет [Кокшенева: 32, 268].

Литературная критика Страхова содержала в себе образец русского ума и духа — «приемы его литературных разборов пронизаны метафизическим духом национальной критики с ее доминирующим вниманием к истории души человеческой» [Кокшенева: 241]. Опорой для критики Страхова стала современная ему литература — от Пушкина до Тургенева, Достоевского и Толстого. Художественный мир Л. Н. Толстого, глубоко продуманный Страховым, стал для критика основанием, позволившим проявить собственный метафизический дух творчества и назвать «простоту, добро и правду» существенными и определяющими для системы наших идеалов.

Рассматривая «кризисы и идеалы», опираясь на философские работы до сих пор малоизвестных русских философов — современников Страхова (П. Астафьева, Л. Лопатина, П. Бакунина, нашего современника Н. П. Ильина) — К. А. Кокшенева ставит проблему национального идеала как задачу *личную* и для наших современников. Русская философия и русская культура накопили огромный потенциал «правды о русском человеке», востребованность которой в наше «неклассическое время» не очевидна. Цитируя Страхова, автор книги отмечает, что без веры в Россию, «без веры в себя невозможно никакое развитие» [Страхов 2010: 32]. И продолжает: «Наследие Страхова по-прежнему ожидает углубленного прочтения. В наше неклассическое время вкус к его классическому мышлению нужно специально воспитывать. Сегодня неклассичность проявляется как бесчеловечность в размышлении о человеке. Сегодня неклассичность поддерживается и новым нигилизмом с его “принудительным невежеством” (трансгуманизмом), отменяющим (искажающим) достоинство человека, основанное на его сверхприродности» [Кокшенева: 323]. Глубинная связь идеи личности с идеей народности сегодня обретает свою новую жизнь, а потому

страховская глубокая аргументация в понимании важности развития этой связи, может стать прочным фундаментом для дальнейшего изучения современными исследователями.

Список литературы

Источники

Бакунин П. А. Запоздалый голос сороковых годов. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1881. 458 с.

Розанов В. В. Литературные изгнанники. London: Overseas Publ. Interchange, 1992. 547 с.

Страхов Н. Н. Роковой вопрос // *Страхов Н. Н.* Борьба с Западом. М.: Ин-т русской цивилизации, 2010. С. 37–49 .

Страхов Н. Н. Мир как целое. Черты из наук о природе. М.: Айрис-пресс: Айрис-Дидактика, 2007. 570 с.

Страхов Н. Н. Предисловие 1882 г. // Русское самосознание. Философско-исторический журнал. 1996. № 3. С. 30–32.

Страхов Н. Н. Аполлон Александрович Григорьев // *Страхов Н. Н.* Критические статьи. Киев: Изд. И. П. Матченко, 1902. Т. 2: 1861–1894. 452 с.

Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: исторические и критические очерки: в 3 кн. СПб.: Тип. С. Добродеева, 1883. Кн. 2. 272 с.

Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // *Чаадаев П. Я.* Россия глазами русского. СПб.: Наука, 1991а. 361 с.

Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: в 2 т. М.: Наука, 1991б. Т. 1. 802 с.

Исследования

Ильин Н. П. Отравленная льдина. Очерк жизни и мысли П. Я. Чаадаева. URL: https://rkuban.ru/archive/rubric/na-perekrestkah-istorii/na-perekrestkah-istorii_3497.html (дата обращения: 01.04.2024).

Кокшинева К. А. Культурологическая парадигма в наследии Н. Н. Страбова: идеалы и внутренние кризисы культуры. М.: Ин-т Наследия, 2024. 368 с.

References

Il'in, N. P. *Otravlennaia ldina. Ocherk zhizni i mysli P. Ia. Chaadaeva* [*Poisoned Ice Floe. Essay on the Life and Thought of P. Ya. Chaadaev*]. Available at: https://rkuban.ru/archive/rubric/na-perekrestkah-istorii/na-perekrestkah-istorii_3497.html (Accessed 01 April 2024). (In Russ.)

Koksheneva, K. A. *Kul'turologicheskaja paradigma v nasledii N. N. Strakhova: idealy i vnutrennie krizisy kul'tury* [*Culturological Paradigm in the Legacy of N. N. Strakhov: Ideals and Internal Crises of Culture*]. Moscow, Institut Nasledii Publ., 2024. 368 p. (In Russ.)

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

Научный журнал
Два века русской классики / Two centuries of the Russian classics



2024 — Т. 6 — № 3

Учредитель и издатель
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук

Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна
доктор филологических наук, профессор,
заведующая научно-исследовательским центром
«Русская литература и христианская традиция» ИМЛИ РАН

Дизайн обложки и макет журнала **Компьютерная верстка**
Д. К. Бернштейн А. З. Бернштейн

Корректор

В. Г. Андреева

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации: ПИ № Эл 77-76366 от 02.08.2019 г.

Адрес учредителя, редакции и издателя:

121069, Москва, ул. Поварская, 25А, стр. 1

Тел.: (495)690-50-30

E-mail: red@rusklassika.ru

journal_ork@mail.ru

Сайт журнала: www.rusklassika.ru

Дата размещения сетевого издания в сети Интернет
на официальном сайте <http://rusklassika.ru> 25.09.2024 г.

При перепечатке ссылка обязательна

16+

Ученым
мировой инте-
ранульви
им.

А.М. Топького
РАИ
Москва